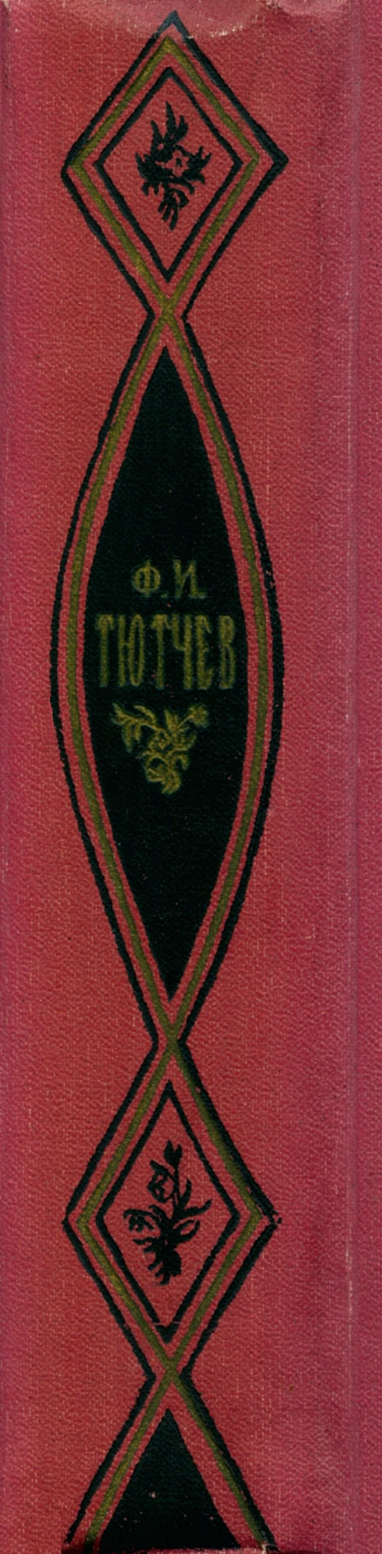




Ф. Тютчев





Ф. И. ТЮТЧЕВ

Фотография С. Левицкого
конец 1860-х гг.

Ф. И. ТЮТЧЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПИСЬМА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1957

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
К. В. ПИГАРЕВА

Ф. И. ТЮТЧЕВ

Более ста лет тому назад Н. А. Некрасов назвал лирику Тютчева одним из «немногих блестящих явлений» русской поэзии. «Тютчев может сказать себе, что он... создал речи, которым не суждено умереть»,— писал тогда же И. С. Тургенев[1]. Эти поэтические речи в разное время оказывали самое живое, непосредственное воздействие на читателя.

Современники вспоминали о том «изумлении и восторге», с каким Пушкин отзывался о стихах Тютчева. Л. Н. Толстой утверждал, что без книжки стихотворений Тютчева «нельзя жить». Находясь в каземате Петропавловской крепости, Чернышевский просил А. Н. Пыпина прислать ему ряд книг, в том числе «Тютчева (если можно достать)». Менделеев любил повторять особенно запомнившиеся ему тютчевские стихи. Максим Горький рассказывал, что в тяжелые годы пребывания «в людях» — годы нужды и борьбы за жизнь — стихотворения Тютчева, наряду с некоторыми другими, впервые им прочитанными произведениями русских писателей, «вымыли» ему «душу, очистив ее от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности» и научили его понимать, «что такое хорошая книга»[2]. Высоко ценил поэзию Тютчева В. И. Ленин[3]. В рабочем кабинете великого основателя Советского государства находилось не только полное

---

[1] Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. IX, М. 1950, стр. 205; Тургенев И. С., Собр. соч., т. X, М. 1949, стр. 448.

[2] «Звенья», кн. 2, М.—Л. 1933, стр. 259; «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. Гослитиздат, 1955, стр. 43; Чернышевский Н. Г., Полн. собр. соч., т. XIV, М. 1949, стр. 488; Горький А. М., Собр. соч., т. 13, М. 1951, стр. 357—358.

[3] Лепешинский П. Н., На повороте, М. 1955, стр. 112; Бонч-Бруевич В. Д., Ленин о художественной литературе — «30 дней», 1934, № 11, стр. 15.

собрание сочинений поэта, но и такое, рассчитанное на узкий круг специалистов-литературоведов издание, как «Тютчевиана», — выпущенный в 1922 году сборник эпиграмм, афоризмов и острот поэта[1].

Тютчев прожил почти семьдесят лет. Он был современником крупнейших исторических событий, начиная с Отечественной войны 1812 года и кончая Парижской Коммуной. Его первые стихотворные опыты увидели свет в ту пору, когда господствующие позиции в русской литературе завоевывал романтизм; его зрелые и поздние произведения создавались тогда, когда в ней прочно утвердился реализм. Сложность и противоречивость поэзии Тютчева были обусловлены сложностью и противоречивостью его отношения к окружающей действительности.

Федор Иванович Тютчев родился 23 ноября (5 декабря) 1803 года, в усадьбе Овстуг Орловской губернии Брянского уезда. Он принадлежал к стародворянской среднепоместной семье. Детские годы Тютчева протекли в Овстуге; юношеские годы были тесно связаны с Москвой.

Три человека оказали преимущественное влияние на умственное и нравственное развитие будущего поэта: мать, Е. Л. Тютчева, урожденная Толстая, — женщина, обладавшая недюжинным умом и «фантазией, развитою до болезненности»[2], дядька Н. А. Хлопов, отпущенный на волю крепостной Татищевых, в течение многих лет нежно опекавший своего «друга Федора Ивановича», и молодой поэт-переводчик С. Е. Раич, домашний учитель Тютчева, готовивший его к поступлению в университет. Начало плодотворной работы Раича над переводами латинских и итальянских поэтов относится ко времени его пребывания в доме Тютчевых. Юный Тютчев являлся для него «не учеником, а товарищем». Раич знакомил своего питомца с произведениями русской и мировой поэзии и поощрял его первые стихотворные опыты. Соревнуясь с учителем, Тютчев на тринадцатом году сам уже «с замечательным успехом» переводил Горация[3]. Одно его подражание Горацию — ода «На новый 1816 год» — было прочитано 22 февраля 1818 года критиком и поэтом, профессором Московского университета А. Ф. Мерзляковым в Обществе любителей российской словесности. 30 марта того же года четырнадцатилетний поэт избирается сотрудником Общества, а через год появляется в печати тютчевское вольное переложение «Послания Горация к Меценату».

---

[1] Этой справкой я обязан Центральному музею В. И. Ленина.

[2] Аксаков И. С., Биография Ф. И. Тютчева, М. 1886, стр. 9.

[3] Автобиография Раича — «Русский библиофил», 1913, вып. VIII, стр. 25.

Осенью 1819 года Тютчев поступил на словесное отделение Московского университета. Дневник его университетского товарища М. П. Погодина и записки Тютчева к нему свидетельствуют о том, что в эти годы литературные интересы находились в центре внимания Тютчева. Он беседует с Погодиным «о немецкой, русской, французской литературе», предлагает ему перевести на латинский язык «Слово о полку Игореве». Его живо занимают проблемы развития литературы в России. Однажды Погодин заносит в дневник такую запись: «Мерзляков должен, — сказал Тютчев, — показать нам историю русской словесности, должен показать, какое влияние каждый писатель наш имел на ход ее, чем именно способствовал к улучшению языка, чем отличается от другого...» Тютчев и Погодин небезучастно относятся к современному состоянию русской культуры вообще; они толкуют «о препятствиях у нас к просвещению», о «будущем просвещении у нас». Молодые приятели пересылают друг другу книги и обмениваются впечатлениями по поводу прочитанного. В дневнике Погодина отмечены беседы с Тютчевым «о новой поэме «Руслан и Людмила», «о молодом Пушкине, об оде его «Вольность», «о свободном, благородном духе мыслей», распространяющемся в русском обществе. Среди имен авторов, произведения которых читает Тютчев, можно назвать имена Горация, Виланда, Тика, Жуковского, Мерзлякова, Паскаля, Руссо. Только что закончив чтение «Новой Элоизы», Тютчев принимается за «Исповедь», которая производит на него очень сильное впечатление[1].

Для уяснения идейной атмосферы, окружавшей Тютчева в эти годы, небезынтересно отметить, что его учитель С. Е. Раич и двоюродный брат А. В. Шереметев состояли членами одного из первых тайных обществ — Союза благоденствия, хотя их политическое свободомыслие и носило в достаточной степени умеренный характер. То же можно сказать и о вольнодумстве Тютчева, не оставшегося вовсе чуждым свободному духу времени. Под впечатлением оды «Вольность» он пишет стихотворное послание Пушкину («К оде Пушкина на вольность»), образно и стилистически близкое русской гражданской лирике конца десятых—начала двадцатых годов. Однако, приветствуя Пушкина как обличителя «тиранов закоснелых», Тютчев одновременно предостерегает поэта: «Но граждан не смущай покою //и блеска не мрачи

[1] Дневник М. П. Погодина, Записи под 9 августа, 6, 13, 15 октября, 1 ноября, 2 и 6 декабря 1820 г. — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (частично приведены в издании Н. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. 1, Спб. 1888). Записки Тютчева к Погодину см. в журнале «Красный архив», т. IV, 1923, стр. 386—391.

венца...»; «великий удел» глашатая «святых истин» сводится Тютчевым лишь к «смягчению сердец».

В ноябре 1821 года Тютчев окончил университет со степенью кандидата словесных наук, а в начале 1822 года поступил на службу в государственную коллегию иностранных дел. Через несколько месяцев он был назначен сверхштатным чиновником при русской дипломатической миссии в Мюнхене. В течение первых шести лет пребывания за границей поэт и числился «сверх штата» при русской миссии и лишь в 1828 году получил место младшего секретаря. Эту должность он занимал вплоть до 1837 года. Однажды, в письме к родителям, Тютчев иронизировал над тем, что «пережил» всех своих старших товарищей по службе, а сам не получил никакого повышения. Но поэт, как он сам признавался, «не умел» служить, — иначе сказать, выслуживаться.

На чужбине Тютчев провел двадцать два года, из них двадцать лет в Мюнхене. Здесь он женился на вдове русского дипломата Элеоноре Петерсон (1826), баварке по происхождению; здесь же познакомился с философом Шеллингом и подружился с Генрихом Гейне (1828). Дом Тютчевых в Мюнхене Гейне называл «прекрасным оазисом», а самого поэта — своим «лучшим» тогдашним другом[1]. Тютчев первым из русских поэтов начал переводить стихи Гейне на русский язык.

Однако переводами из Гейне не ограничивалась довольно интенсивная переводческая деятельность Тютчева этих лет. Именно к этому времени относится его перевод «Песни радости» Шиллера, превосходные переводы баллад Гете «Приветствие духа» и «Певец», стихотворения Уланда «Весеннее успокоение» и др. Большое внимание Тютчева привлекает «Фауст» Гете (он перевел ряд отрывков из первой части и весь первый акт второй части, перевод которого не сохранился).

И. С. Аксаков писал в «Биографии Ф. И. Тютчева» о полном отрыве поэта от родины в этот период его жизни. Позднее В. Я. Брюсов указывал, что такое представление о Тютчеве ошибочно, ибо связи его с Россией не порывались и на чужбине[2]. Действительно, в Мюнхене поэт общался с приезжавшими туда братьями Киреевскими и близким к их кругу Н. М. Рожалиным, слушавшими лекции в тамошнем университете; переписывался с Раичем; печатал свои стихи в русских журналах и альманахах; наконец, четыре раза на несколько месяцев приезжал в Россию. И тем не менее сам Тютчев остро ощущал свой отрыв от родной стихии. В одном из писем к родителям он признается, что его тяготит «существование человека без родины». Повидимому, глубоко

---

[1] Heine H., Briefwechsel, B. I, München und Berlin, 1914, S. 508.
[2] См. Брюсов В. Я., Легенда о Тютчеве — «Новый путь», 1903, ноябрь, стр. 16—30.

не случайны мотивы одиночества и скитальчества в лирике Тютчева заграничного периода. Несмотря на то что недостатка в обществе у Тютчева в это время не было, бросается в глаза почти полное отсутствие в его стихах (за исключением стихов самых ранних лет) темы дружбы.

Стихотворения Тютчева, печатавшиеся на протяжении двадцатых— начала тридцатых годов в московских журналах и альманахах («Урания» Погодина, «Северная лира» Ознобишина, «Галатея» Раича и других), не принесли ему широкой известности в читательских и литературных кругах. Между тем среди этих стихов были и такие художественно зрелые произведения, как «Весенняя гроза» (в первой редакции), «Бессонница», «Летний вечер», «Цицерон», «Весенние воды» и многие другие. Из немногочисленных критических высказываний о Тютчеве за это время заслуживает внимания отзыв Н. А. Полевого, отнесшего его в одном из своих обзоров к числу поэтов, которые «подают блестящие надежды»[1].

Свое настоящее признание поэзия Тютчева впервые получила в 1836 году. Весной этого года копии тютчевских стихотворений через Вяземского и Жуковского попали в руки Пушкина. «Мне рассказывали очевидцы, в какой восторг пришел Пушкин, когда он в первый раз увидал собрание рукописное его стихов. Он носился с ними целую неделю...» — вспоминал впоследствии Ю. Ф. Самарин[2]. Пушкин и его друзья предполагали выпустить стихи Тютчева отдельным сборником. Это издание осуществлено не было, но в третьем томе пушкинского «Современника» за 1836 год появилось шестнадцать стихотворений Тютчева под общим заглавием «Стихотворения, присланные из Германии» и с подписью «Ф. Т.». Восемь стихотворений с теми же заглавием и подписью помещены в четвертом томе журнала. На страницах «Современника» стихи Тютчева продолжали печататься и после смерти Пушкина, вплоть до 1840 года (с 1838 г. они подписывались «Ф.Т--в»); за немногими исключениями, это были стихи, отобранные, повидимому, еще самим Пушкиным.

В 1837 году Тютчев был назначен старшим секретарем русской миссии в Турине и почти одновременно — поверенным в делах. Здесь довелось поэту пережить первую в его жизни тяжелую утрату: 27 августа 1838 года умерла его жена. «Есть ужасные годины в существовании человеческом,— писал Тютчев В.А. Жуковскому.—Пережить все, чем мы *жили* — жили в продолжении целых двенадцати лет... Что обыкновеннее этой судьбы — и что ужаснее? Все пережить и все-таки жить...»

---

[1] «Московский телеграф», 1825, ч. 1, стр. 75. Этот неучтенный в тютчевской библиографии отзыв указан мне А. В. Звенигородским.

[2] «Звенья», кн. 2, М.—Л. 1933, стр. 259.

Вскоре после смерти жены Тютчев встретился за границей с Жуковским. Тогдашнее состояние поэта Жуковский определил в двух словах: «Горе и воображение». Однако душевные переживания Тютчева не до конца были понятны Жуковскому. Цельный по своему внутреннему складу, он не без удивления заносит в свой дневник такую запись о Тютчеве: «Он горюет о жене... а говорят, что он влюблен в Мюнхене» [1].

Действительно, еще в последние годы своего пребывания в Баварии Тютчев испытал глубокое чувство к молодой вдове Эрнестине Дёрнберг, внучатной племяннице известного немецкого баснописца К. Пфеффеля. 17 июля 1839 года поэт вступил с нею в брак. Служебный проступок, совершенный Тютчевым (самовольный отъезд в Швейцарию для венчания со второй женой), кладет конец его дипломатическому поприщу. Вынужденный подать в отставку, он с осени 1839 года снова поселяется в Мюнхене. Однако дальнейшее пребывание на чужбине, не обусловленное служебным положением, становится все более и более тягостным для поэта. Он настойчиво ищет путей возвращения на службу. В 1844 году Тютчев с семьей переезжает в Россию, а через полгода вновь зачисляется в ведомство министерства иностранных дел[2].

Дипломатическая служба и связанное с нею длительное пребывание за границей оказали серьезное воздействие на выработку политического мировоззрения Тютчева.

В истории Европы это был период, когда так называемый «Священный союз», возникший после низложения Наполеона, объединял феодально-монархические правительства в их борьбе с национально-освободительным и буржуазно-революционным движением.

По своим политическим взглядам Тютчев был монархистом. Но это не мешало ему порою с большой остротой осознавать несоответствие между его представлением о монархии и ее конкретным воплощением в русском самодержавном строе. «В России канцелярия и казарма», «Все движется около кнута и чина», «Мы знали афишку, но не знали действия»,[3] — в таких саркастических афоризмах выразил

---

[1] Дневники В. А. Жуковского, Спб. 1903, стр. 430.

[2] До 1846 г., числясь чиновником министерства, Тютчев определенной должности не имел. 15 февраля 1846 г. он был назначен чиновником особых поручений при государственном канцлере, а 1 февраля 1848 г.— старшим цензором при министерстве иностранных дел.

[3] Дневник М. П. Погодина, Запись от 20—25 июня 1825 г.— Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина (ср. Барсуков Н., Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1, Спб. 1888, стр. 310).

Тютчев свои впечатления от аракчеевского режима последних лет царствования Александра I.

К концу двадцатых годов относится тютчевское стихотворное переложение одной из глав прозаических «Путевых картин» Гейне — о грядущем «прекрасном дне», когда воссияет «свободы солнце». Примечательно оно тем более, что обычно Тютчев переводил только произведения, которые были чем-либо созвучны его думам и настроениям.

К «самовластью» Тютчев относился отрицательно, но вместе с тем не допускал мысли о возможности насильственного изменения русского самодержавного строя. Это явствует из его стихотворного отклика на восстание декабристов («14-ое декабря 1825»). «Самовластье» отождествляется поэтом с «вечным полюсом», «железной зимой», но зато и выступление декабристов тут же расценивается как результат «безрассудной мысли».

В 1831 году, в связи с подавлением польского восстания, Тютчев, подобно Пушкину, дает отповедь зарубежным «клеветникам России», причем «роковой удар», нанесенный «одноплеменному орлу», оправдывает не «кораном самодержавия», а некоей «таинственной метой», которая должна привести русский и польский народы к «общей свободе». («Как дочь родную на закланье...») Сколь бы ни было туманно это понятие «общей свободы», ясно, что «кнут и чин», «зверство янычар», «чревобесие меча» претили сознанию поэта.

Июльская революция 1830 года во Франции была в глазах Тютчева свидетельством «наступления для Европы революционной эры»[1]. Предчувствие, что Европа стоит на пороге грандиозных социальных потрясений, с этого времени составляет характерную черту тютчевского мироощущения.

В последние годы жизни Тютчева за границей его политические взгляды приобретают значительную близость к доктрине славянофилов. За несколько месяцев до своего возвращения на родину Тютчев выпускает в Мюнхене брошюру на французском языке «Письмо к г-ну доктору Густаву Кольбу» (впоследствии перепечатывалась под заглавием «Россия и Германия»). Посвященная взаимоотношениям царской России с германскими государствами, статья эта по существу является попыткой идеологического обоснования и оправдания ветшающей системы Священного союза. Но уже в этой статье Тютчев в противовес Западной Европе выдвигает Европу Восточную, как особый мир, живущий своей самобытной исторической жизнью, и где «Россия во все времена служила душою и двигательной силою».

---

[1] Ср. Аксаков И. С., Биография Ф. И. Тютчева, М. 1886, стр. 65.

Под впечатлением западноевропейских революционных событий 1848 года Тютчев задумывает большой философско-публицистический трактат «Россия и Запад». Сохранились лишь общий план этого трактата, две главы, обработанные в виде самостоятельных статей на французском языке («Россия и революция» — 1849 г., «Папство и римский вопрос» — 1850 г.)[1], и конспективные наброски остальных глав.

Как показывают эти статьи, Тютчеву стало ясно, что «Европа трактатов 1815 года» к этому времени уже перестала существовать, что ей не удалось «подавить революцию конституционными заклинаниями», ибо «революционное начало» слишком глубоко «проникло в общественную кровь». Ошибочно видя в революции только стихию разрушения, Тютчев ищет исход тому кризису, который колеблет мир, в глубоко реакционной утопии панславизма. При всем субъективном отвращении поэта к «кнуту и чину», николаевская империя представляется ему «святым ковчегом» спасения посреди бурь, потрясающих западноевропейские страны (статья «Россия и революция»), незыблемым «утесом», о который расшибаются «волны» революционного Запада (стихотворение «Море и Утес» — 1848). Противопоставляя Россию Революции (он пишет слово «революция» с большой буквы), Тютчев подводит под это противопоставление религиозно-мистическое обоснование. Особенностью «нравственной природы» русского народа он считает его «способность к самоотвержению и самопожертвованию»; в силу этого свойства, а не только в силу господствующей в ней религии, Россия «прежде всего христианская империя». Наоборот, определяющей чертой исторического развития западноевропейского буржуазного общества является, по мнению Тютчева, «апофеоз человеческого *я*». Воплощение этого «антихристианского» принципа Тютчев видит как в католицизме с его обожествлением власти папы, так и в революции. Отсюда им делается вывод о неизбежности столкновения между Россией и Западом и конечного торжества «России будущего». Эту «Россию будущего» Тютчев представляет себе в виде «всеславянской» империи. Реальная историческая действительность развеяла, как карточный домик, всю эту реакционную политическую фантасмагорию.

Конец сороковых годов, когда Тютчев, казалось, был весь захвачен событиями политической жизни, ознаменован подъемом его лирического творчества. Именно к этому времени относятся такие изу-

---

[1] Перепечатаны в «Сочинениях Ф. И. Тютчева» (Спб. 1886; Спб. 1900) и в «Полн. собр. соч. Ф. И. Тютчева», изд. А. Ф. Маркса. Наброски «Россия и Запад» приведены в книге И. С. Аксакова «Биография Ф. И. Тютчева», М. 1886, стр. 199—227.

мительные образцы его поэзии, как «Неохотно и несмело...», «Когда в кругу убийственных забот...», «Слезы людские, о слезы людские...», «Русской женщине» и многие другие. Лишенный авторского честолюбия, Тютчев и не думал их печатать, тем более что литературные отношения поэта были в ту пору еще довольно ограничены, а светская среда, его окружавшая, ценила в нем салонного остроумца, но не придавала серьезного значения его поэтическому дарованию.

Первым после Пушкина горячим ценителем поэзии Тютчева и пропагандистом ее среди читателей выступил крупнейший из русских поэтов второй половины XIX века — Некрасов. В январском номере «Современника» за 1850 год Некрасов поместил статью «Русские второстепенные поэты», в которой подверг обстоятельному разбору стихотворения, напечатанные некогда в «Современнике» 1836—1840 годов и подписанные инициалами «Ф. Т.» и «Ф.Т- -в». «Мы решительно относим талант г. Ф.Т-ва к русским первостепенным поэтическим талантам»,— писал Некрасов[1]. В своей статье он полностью перепечатал двадцать два стихотворения поэта.

Вслед за появлением некрасовской статьи ряд новых стихотворений Тютчева был напечатан в «Москвитянине» Погодина, «Киевлянине» Максимовича и «Рауте» Сушкова. В «Рауте» даже помещено было извещение о предстоящем выходе в свет отдельного издания стихов Тютчева. Издание это не осуществилось. Лишь в 1854 году в приложении к мартовскому выпуску «Современника» вышел первый сборник стихотворений Тютчева, а в майской книжке того же журнала появилось еще восемнадцать стихотворений. В том же году стихи Тютчева были выпущены редакцией «Современника» отдельным изданием. Редактором этого сборника был Тургенев, напечатавший в апрельском номере «Современника» статью «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева». Этой статьей Тургенев продолжал начатое Некрасовым открытие Тютчева — «одного из самых замечательных наших поэтов, как бы завещанного нам приветом и одобрением Пушкина»[2].

Кроме стихотворений, перепечатанных из «Современника» 1836—1840 годов, в первом издании стихов Тютчева были помещены и ранее опубликованные оригинальные и переводные произведения поэта, а также около пятидесяти стихотворений конца сороковых — начала пятидесятых годов. Впервые был напечатан в издании 1854 года замечательный по своей психологической глубине цикл стихотворений,

---

[1] Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. IX, М. 1950, стр. 220.

[2] Тургенев И. С., Собр. соч., т. X, М. 1949, стр. 445.

представляющий как бы лирическую повесть о любви поэта к Елене Александровне Денисьевой. Их «беззаконные» в глазах света отношения продолжались в течение четырнадцати лет. В 1864 году Денисьева умерла от чахотки. Не сумев оградить любимую женщину от «суда людского», Тютчев в страданиях, причиненных ей двусмысленным ее положением в обществе, винит прежде всего самого себя; к себе самому обращает он горький упрек:

Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла.

Художественно-поэтическим выражением этой душевной драмы и является любовная лирика Тютчева пятидесятых—шестидесятых годов. Сам поэт, как видно по его стихам и письмам, сочетал в своем сердце эту «последнюю любовь» с привязанностью к жене, которую он называл своим «земным провидением».

Выход в свет в 1854 году первого издания стихотворений Тютчева был несомненно крупным событием тогдашней литературной жизни. Недаром Чернышевский собирался написать об этих «прекрасных» стихах отдельную статью[1]. Сам поэт, однако, отнесся к своему литературному успеху в достаточной мере безучастно. Появление сборника совпало с грозными днями Крымской войны.

Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное! —

писал Тютчев, поглощенный тревожными думами о будущем России.

Крымская война 1853—1856 гг. в полной мере обнаружила «гнилость и бессилие крепостной России»[2]. Болезненно переживая дипломатические и военные поражения, понесенные в это время его родиной, поэт убеждается в том, насколько пагубна была для государственных интересов России вся внутренняя и внешняя политика царского правительства — та самая политика, которой он в конечном счете служил как дипломат и публицист. Еще недавно Тютчев обольщал себя мыслью, что самодержавная Россия — это «великан — и великан, хорошо сложенный»[3]. Теперь он не может отделаться от ощущения человека, запертого в карете, которая «катится по все более и более

[1] Чернышевский Н. Г., Полн. собр. соч., т. XVI, М. 1953, стр. 28.
[2] Ленин В. И., Сочинения, том 17, стр. 95.
[3] Письмо Тютчева к С. С. Уварову от 20 августа 1851 г. См. «Литературное наследство», вып. 19—21, 1935, стр. 582—583.

наклонной плоскости», и вдруг замечающего, что «на козлах нет кучера». Тютчев потрясен «глупостью, подлостью, низостью и нелепостью» правительственных кругов, их несостоятельностью перед лицом испытания, постигшего страну. Он негодует на антипатриотическую беспечность петербургского общества, на его настойчивое стремление быть «изнанкой» Запада. Склонный ранее идеализировать личность Николая I, поэт провожает его в могилу гневной эпиграммой-эпитафией, в которой дает резкую оценку его деятельности. («Не богу ты служил и не России...») Тупости и бездарности высшего военного командования Тютчев с нескрываемым восхищением противопоставляет героизм, «воодушевление и самопожертвование» простых солдат»[1].

Осознать жестокий опыт Крымской войны, извлечь из него необходимые уроки для будущего Тютчев не раз пытался и впоследствии.

В 1858 году он был назначен председателем Комитета цензуры иностранной. Незадолго до своего назначения Тютчев подал министру иностранных дел кн. А. М. Горчакову «Записку о цензуре в России»[2]. Оглядываясь на недавнее прошлое, на цензурный гнет николаевского царствования, он писал: «...Нам было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнет без существенного вреда для всего общественного организма». В правительственных кругах, по мнению Тютчева, всегда существовало «какое-то предвзятое чувство сомнения и нерасположения» к писателям. Между тем Тютчев ставит в заслугу русской художественной литературе пятидесятых годов то, что «к живому сознанию современной действительности и часто к весьма замечательному таланту в ее изображении она присоединила не менее искреннюю заботливость о всех положительных нуждах, о всех интересах, о всех язвах русского общества». В создавшихся условиях, как полагал Тютчев, задачи правительства должны заключаться не в подавлении, а в направлении печати. Реальная действительность, однако, не замедлила показать поэту, что для правительства Александра II, как и для правительства Николая I, единственно приемлемым методом «направления» печати был метод полицейского преследования. Тютчев однажды очень образно определил сущность этого метода, сказав по поводу запрещения «Современника», что такой способ

---

[1] Письмо Тютчева к жене от 11/23 декабря 1853 г.—«Старина и новизна», кн. 18, Пгр. 1914, стр. 62 (ошибочно соединено с письмом от 24 ноября 1853 г.).

[2] Помещена в «Сочинениях Ф. И. Тютчева» (Спб. 1886; Спб. 1890) и в «Полн. собр. соч. Ф. И. Тютчева», изд. А. Ф. Маркса. Написана на французском языке.

расправы напоминает ему «лечение зубной боли посредством удара кулаком»[1]. Поэт не раз имел возможность убедиться в том, что, кроме явно официозных изданий, все органы печати, даже печати консервативной, не были гарантированы от подобных методов лечения.

Занимая до конца своих дней должность председателя Комитета цензуры иностранной, Тютчев стремился, «не выходя из пределов закона ...постоянно соображаться с разумом закона, требованиями века и общества»[2]. Отчеты Тютчева свидетельствуют о постепенном из года в год сокращении числа запрещенных книг. Конечно, в понятие «требование века и общества» поэт вкладывал свое содержание. И тем не менее деятельность Тютчева-цензора (еще недостаточно изученная исследователями), принимая во внимание те условия, в которых она протекала, оправдывает характеристику, данную поэтом себе и своим сослуживцам, «державшим» при мысли «не *арестантский*, а *почетный* караул» («Веленью высшему покорны...»)

Пользуясь своим положением (в качестве председателя Комитета Тютчев являлся членом Совета Главного управления по делам печати) и связями (главным образом дружескими отношениями с Горчаковым), он не раз выступал в роли заступника изданий, подвергнутых цензурной каре или находившихся под угрозой преследования. Правда, издания, за которые ратовал поэт, были органами охранительного лагеря, но для поэта не было сомнения в том, что царская цензура вообще представляет собою не что иное, как «лицемерно-насильственный произвол». И борьба с ним не раз приводила его к открытым столкновениям с начальством. Вот почему, несмотря на то что вся общественно-политическая деятельность поэта отнюдь не была направлена на потрясение основ самодержавного строя, в правительственных кругах он пользовался репутацией фрондера и «либерала». Еще во время Крымской войны гр. Д. К. Нессельроде, сын канцлера, в разговоре с братом жены поэта осуждал Тютчева за «оппозицию правительству». Позднее, когда министр народного просвещения Е. П. Ковалевский предложил Александру II назначить в Комитет по делам книгопечатания Тютчева, Тургенева и нескольких других литературных деятелей, царь отклонил это предложение словами: «Что твои литераторы? Ни на одного из них нельзя положиться»[3].

---

[1] Письмо Тютчева к А. И. Георгиевскому (без даты)—Центральный государственный архив литературы и искусства.

[2] Отчет Комитета цензуры иностранной за 1866 г.—«Литературное наследство», вып. 19—21, 1935, стр. 568.

[3] Чулков Георгий, Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева, М.—Л. 1933, стр. 106; «Мурановский сборник», вып. 1, 1928, стр. 113.

И если Александр II терпел «литераторов» в рядах цензоров, так это потому, что он мог вполне «положиться» на следивших за ними Тимашевых и Шуваловых.

Сам Тютчев порою задыхался в окружавшей его придворно-бюрократической и светской среде. Л. Н. Толстой был прав, говоря о поэте, что он «хотя и был придворным (поэт имел звание камергера — *К. П.*), но презирал придворную жизнь». В этом нетрудно убедиться, прочитав в настоящем издании те письма поэта, в которых он с нескрываемой иронией отзывается о своих обязанностях придворного. Э. Ф. Тютчева, жена поэта, писала впоследствии его биографу И. С. Аксакову, что, несмотря на кажущуюся любовь Тютчева к светскому образу жизни, «он все же никогда не был светским человеком в точном значении этого слова». В письмах поэт не раз жалуется на пустоту той жизни, которую он ведет. Однажды, с чувством горькой иронии, он признается: «... Третьего дня был вечер у княгини Юсуповой, где все, в том числе и я сам, разогорчили меня избытком невероятной глупости»[1].

Зоркий наблюдатель окружающей действительности, Тютчев остро ощущал гнилость и нравственную растленность старого мира. «...Если бы для государств и для отдельных личностей можно было ставить одинаковый диагноз, — пишет он в одном из писем, — то следовало бы опасаться, судя по некоторым симптомам изнуряющей нас болезни, что это начало размягчения мозга»[2]. Характеризуя придворно-аристократические круги как «накипь русского общества», как «подделку под истинный народ», поэт неизменно противопоставлял им «настоящий народ». Он верил в то, что русский народ, несущий на своем теле многовековые «рубцы насилий и обид», таит в себе могучие нравственные силы — залог великого будущего.

Тютчев принадлежал к числу тех русских писателей, которых, при всем их различии между собой, объединяло, по словам Горького, «одно упорное стремление — понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе ее народа, об ее роли на земле»[3]. Но, пытаясь представить себе это будущее, он глубоко ошибался в своих исторических прогнозах. Слабость Тютчева заключалась еще и в том,

---

[1] «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников»,т. II., Гослитиздат, 1955, стр. 221; письмо Э. Ф. Тютчевой к И. С. Аксакову от 20 апреля 1874 г. — собр. К. В. Пигарева; письмо Тютчева к жене от 17 июля 1854 г. — «Старина и новизна», кн. 19, Пгр. 1915, стр. 124— перевод с французского.

[2] Письмо Тютчева к Е. Ф. Тютчевой от 23 ноября 1868 г.—Центральный государственный архив литературы и искусства — перевод с французского.

[3] Горький А. М., Собр. соч., т. 24, М. 1953, стр. 66.

что он не пробовал искать для себя «животворной, воодушевляющей среды»[1] за пределами презираемого им самим общества.

В творчестве Тютчева шестидесятых—начала семидесятых годов преобладают политические стихотворения и мелкие стихотворения «на случай». Как бы иронически ни отзывался порою поэт о «бесполезном и смешном пережевывании общих мест»[2] панславизма, его политические стихотворения попрежнему носят реакционно-славянофильский характер, чем и определяется их весьма относительное литературное значение. Исключением являются несколько стихотворений, объективный смысл которых шире вызвавшего их повода. Так, например, в стихотворном обращении к Вяземскому «Когда дряхлеющие силы...» (1866) Тютчев по-своему откликается на острую в то время проблему «отцов и детей». Из его поздних политических стихов одно — «Славянам» («Они кричат, они грозятся...» — 1867) — не случайно цитировалось и перепечатывалось в годы Великой отечественной войны: в нем поэт выражает уверенность в том, что братские славянские народы во главе с Россией смогут оказать отпор растущему германскому милитаризму. В этот же период Тютчевым создан был и ряд превосходных лирических стихотворений: «Как хорошо ты, о море ночное...» (1865), «Ночное небо так угрюмо...» (1865), «Как неожиданно и ярко...» (1865), «От жизни той, что бушевала здесь...» (1871), принадлежащих к числу поэтических шедевров поэта.

Последние годы жизни Тютчева были омрачены тяжелыми утратами. В 1870 году умерли его старший сын Дмитрий и брат Николай, в 1872 году — младшая дочь Мария. Физические силы самого Тютчева слабели с каждым годом. Но вопреки его собственному горькому признанию: «Живая жизнь давно уж позади», — не угасал в нем острый интерес к окружающей действительности.

События, совершающиеся в Западной Европе (франко-прусская война, объединение Германии, гражданская война 1871 года во Франции), привлекали к себе пристальное внимание поэта. С таким же интересом относился он и к русской общественно-политической жизни. В 1872 году Тютчев целыми днями просиживал на так называемом «нечаевском» процессе. Весной следующего года, прикованный к постели тяжелым предсмертным недугом, он диктовал пространные письма на политические темы. «Сделайте так, чтобы я хоть немного

---

[1] Выражение из письма Тютчева к И. С. Аксакову от 13 марта 1870 г. — Аксаков И. С., Биография Ф. И. Тютчева, М. 1886, стр. 185.

[2] Письмо Тютчева к жене от 9 октября 1870 г. — «Старина и новизна», кн. 22, Пгр. 1917, стр. 267.

чувствовал жизнь вокруг себя» — с такими словами обращался поэт к своим близким, когда уже не дни, а часы его были сочтены[1].

Умер Тютчев 15 (27) июля 1873 года в Царском Селе и похоронен в Петербурге на кладбище Новодевичьего монастыря.

Узнав о смерти Тютчева, Тургенев писал Фету: «Милый, умный, как день умный Федор Иванович, прости — прощай!»[2]

Внешне жизнь Тютчева казалась мало связанной с литературной жизнью его времени. Не примыкая ни к какому литературному течению, он, видимо, гораздо больше интересовался вопросами политики, чем вопросами литературы. Однако было бы ошибочным думать, что судьбы русской литературы были ему чужды. Ведь по собственному его признанию он одинаково горячо любил «отечество и поэзию».

По свидетельству Мюнхенского сослуживца Тютчева И. С. Гагарина за границей поэт часто беседовал с ним о Пушкине и его месте в русской поэзии. В сознании Тютчева Пушкин был лучшим выразителем «русского ума», стоящим «намного выше всех современных ему французских поэтов». Смерть Пушкина он пережил как общественное, народное горе («И осененный опочил, хоругвью горести народной») и в чеканном и образном афоризме запечатлел не только свое, но и наше отношение к великому национальному поэту:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..
(«29-ое января 1837»)

Насколько дороги были Тютчеву судьбы русского просвещения вообще, можно судить и по его стихотворению «Памяти М. В. Ломоносова» (1865). В Ломоносове поэт чтил самоотверженного борца за национальную самобытность русской культуры.

Отлично владевший французским языком, который в значительной степени был для него, как и для многих представителей светско-аристократического круга, бытовым, домашним языком, — Тютчев в то же время умел понимать и ценить богатые возможности своего родного языка. Однажды, обращая внимание жены на стихи Вяземского «Ночь в Венеции», поэт писал: «Своей нежностью и мелодичностью они напоминают движение гондолы. Что это за язык — русский язык!» «Чуткостью к русскому языку» поразил Тютчев молодого Л. Н. Толстого, разговаривая с ним в 1856 году о только что вышедших «Севастополь-

---

[1] Аксаков И. С., Биография Ф. И. Тютчева, М. 1886, стр. 316.
[2] Фет А. А., Мои воспоминания, ч. II, М. 1890, стр. 279.

ских рассказах»[1]. Та же чуткость к многообразным оттенкам родной речи сказывается в тех поправках, подчас незначительных на первый взгляд, которые Тютчев вносил в собственные стихи.

Дошедшие до нас отзывы Тютчева о литературных произведениях немногочисленны, но и эти немногие высказывания Тютчева-читателя далеко не безразличны для понимания Тютчева-поэта.

Особенный интерес в этом отношении представляют оценки Тютчевым «Трех повестей» Н. Ф. Павлова и «Записок охотника» И. С. Тургенева. При всей художественной несоизмеримости этих книг, обе носили ярко выраженный антикрепостнический характер. И в обоих случаях общественная направленность этих литературных произведений была сочувственно отмечена поэтом наряду с их художественными достоинствами. «Возмужалость, совершеннолетие русской мысли», сразившейся с «роковыми общественными вопросами», и «художественный талант», «художественное беспристрастие» — вот что привлекает его в «Трех повестях» Павлова. О книге Тургенева Тютчев писал жене: «Полнота жизни и мощь таланта в ней поразительны. Редко встречаешь в такой мере и в таком полном равновесии сочетание двух начал: чувства художественности и чувства глубокой человечности. С другой стороны, не менее поразительно сочетание реальности в изображении человеческой жизни со всем, что в ней есть сокровенного, и сокровенного природы со всей ее поэзией»[2].

Конечно, приведенные высказывания Тютчева еще не складываются в цельную систему литературно-эстетических взглядов, но недооценивать их нельзя. Они вносят существенное уточнение и в широко распространенное долгое время неверное представление о Тютчеве как о приверженце теории «чистого искусства». Это представление находится в противоречии с фактами творческой биографии поэта и основано на одностороннем понимании отдельных мотивов его творчества.

Глубоко знаменательно, что в своей борьбе с этой реакционной теорией великие революционно-демократические критики Чернышевский и Добролюбов никогда не относили Тютчева к числу представителей «чистой» поэзии. Мало того: «чистому» лирику Фету Добролюбов противопоставлял именно Тютчева как поэта, чей талант не раскрывается лишь в «уловлении мимолетных впечатлений от тихих явлений природы», но которому «доступны, кроме того, и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, возбуждаемая

---

[1] Письмо Тютчева к жене от 16/28 ноября 1853 г. — «Старина и новизна», кн. 18, П. 1914, стр. 58 — перевод с французского; Гольденвейзер А. Б., Вблизи Толстого, т. I, М. 1922, стр. 182—183.

[2] Письмо Тютчева к жене от 10 декабря 1852 г. — «Старина и новизна», кн. 18, П. 1914, стр. 44—перевод с французского.

не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни»[1].

В этой оценке тютчевского творчества Добролюбов подчеркнул основное, что отличало Тютчева от ревнителей теории искусства для искусства, — чувство исторической действительности, пронизывающее его раздумья, склонность к философским обобщениям, тонкий психологизм и лирический пафос.

В 1836 году Тютчев писал о стихах Бенедиктова: «В них есть вдохновение и, что служит хорошим предзнаменованием будущего, наряду с сильно выраженным идеалистическим началом, наклонность к положительному, вещественному и даже чувственному. Беды в этом нет... Чтобы поэзия процветала, она должна иметь корни в земле» [2].

Эти строки важны для нас не оценкой творчества поэта, значение которого Тютчев явно преувеличивал, а выраженной в них мыслью о том, что составляло в его глазах основную сущность поэзии, залог ее роста и процветания.

Поэзия самого Тютчева, раскрывающая «целый мир» мыслей и чувств, корнями своими связана с «землей» — и в этом ее сила. Тютчев недаром называл себя «верным сыном» «матери-Земли» и в пламенных стихах высказывал свою любовь к ней. («Нет, моего к тебе пристрастья...») Эта любовь к жизни, любовь к «настоящему» прошла через всю жизнь и через все творчество поэта. Ему были ведомы минуты «земного самозабвения», почти физическое ощущение «преизбытка» жизни. Не случайно так много стихов — и притом самых радостных, самых жизнеутверждающих из всего им написанного — посвятил он весне. Таково проникнутое бодрым, мажорным настроением «весеннее приветствие стихотворцам» — «Любовь земли и прелесть года...», таковы с детства знакомые каждому из нас ликующие строфы «Весенней грозы» и «Весенних вод», поэтическое описание пробуждения природы и одновременного пробуждения души человека в стихотворении «Еще земли печален вид...», изображение победы весны над зимою, нового над старым, жизни над смертью — в стихотворении «Зима недаром злится...», такова торжественная ода «Весна» («Как ни гнетет рука судьбины...»)

Но ни в одном из стихотворений Тютчева «жизни преизбыток» не нашел, пожалуй, такого ясного и светлого выражения, как в стихо-

---

[1] Добролюбов Н. А., Собр. соч. в трех томах, т. 2, М. 1952, стр. 176 — перевод с французского.

[2] Письмо к И. С. Гагарину от 3 мая 1836 г.—«Русский архив», 1879, вып. 5, стр. 120 — перевод с французского.

творении «Я помню время золотое...» На нем лежит яркий отблеск того молодого, быть может впервые пробудившегося чувства, под влиянием которого чистый облик возлюбленной поэта совершенно естественно приобретает в его воображении воздушные черты «младой феи». Стихи проникнуты большой психологической и художественной правдой. Впечатления от внешнего мира органически слиты в них с душевными ощущениями лирических героев:

И солнце *медлило*, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.

То, что вспоминается в этом стихотворении, происходит весной, когда яблони осыпаны цветом, когда день долог, а ночи коротки. Но поэту кажется, что солнце нарочно «медлит» зайти, чтобы дать себе время налюбоваться на юную красавицу.

Все стихотворение дышит «настоящим», «счастливым днем», не затуманенным мыслью о будущем. Даже упоминание в последних строках о скоротечности жизни не омрачает общей безмятежной настроенности этих стихов:

И *сладко* жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

Тот же образ — жизнь-тень — возникает впоследствии в другом стихотворении Тютчева, но уже лишается прежней, ничем не нарушаемой беззаботности:

Как дымный столп светлеет в вышине!
Как тень внизу скользит неуловима!..
«Вот наша жизнь, — промолвила ты мне, —
Не светлый дым, блестящий при луне,
А эта тень, бегущая от дыма...»

И, сколь ни парадоксальным может показаться такое утверждение, — чем сильнее испытывал поэт любовь к «матери-Земле», тем острее и мучительнее осознавалась им мимолетность человеческого бытия.

Сам поэт настолько любил «землю», что ему хотелось бы остановить время: «О время, погоди!» («Так в жизни есть мгновения...») Для романтика Жуковского и поэтов его школы воспоминание было источником сладостных душевных переживаний, заменой утраченного. Иным было воспоминание для Тютчева:

Усопших образ *тем страшней*,
Чем в жизни *был милей* для нас.

Надежда на «лучший, неизменный свет», на свиданье «там» с теми, кого потерял «здесь», примиряла Жуковского с жизненными несчастиями. Не таков был Тютчев. В душе поэта, по собственному его образному выражению, клокотал настоящий «бунт против смерти». «Ах,

она мне на земле нужна, а не там где-то», — писал он после смерти Е. А. Денисьевой. Страшнее всего кажется поэту то, что самые дорогие воспоминания постепенно теряют свою остроту, «вымирают» в душе:

Минувшее не веет легкой тенью,
А под землей, как труп, лежит оно.

Тютчев знает: жизнь торжествует над увяданием, над старостью, над смертью. Даже в минуты сокрушающего его горя, у постели умирающей любимой женщины («Весь день она лежала в забытьи, //и всю ее уж тени покрывали...»), «убитый, но живой», он различает за окном «веселый» (не унылый, а именно «веселый») шум летнего дождя:

Лил теплый летний дождь — его струи
По листьям *весело* звучали.

Среди стихотворений Тютчева заграничного периода есть одно, которое представляет собою как бы поэтическую зарисовку с натуры — «И гроб опущен уж в могилу...» В этом стихотворении раскрытой могиле, «пристойной» речи «сановитого» пастора, толпе, «различно» занятой происходящим, поэт противопоставляет голубую бездну неба и «голосистый» хор птиц, славящих жизнь.

В сравнении с мимолетностью человеческого существования единственной живой реальностью представлялась Тютчеву природа —«великая мать». Каждая новая весна так же молода, как и ее предшественница; «бессмертием взор ее сияет // и ни морщины на челе». Перед лицом этого постоянно обновляющегося внешнего мира человек, на каждом шагу своего бытия сталкивающийся с непреложным законом времени, не более как «злак земной», «мыслящий тростник», «беспомощное дитя», «греза природы». Эти настроения звучат не только в стихах Тютчева, но и в его письмах, порою как бы объединяя их общностью тона.

Поэт не раз признается своим близким, что его неотвязно преследуют и стали для него «привычными» ощущения «внутренней тревоги» и «чувство тоски и ужаса». Время, кладущее неизгладимые морщины на любимые черты, пространство, разделяющее людей и отдающее их во власть времени, и, наконец, смерть — равно могущественные и враждебные человеку силы в глазах Тютчева. Именно они заставляют его «с такой болезненной живостью и настойчивостью» испытывать «сознание непрочности и хрупкости всего в жизни». Это возраставшее с годами ощущение скоротечности бытия сочеталось у поэта с отчетливым сознанием обреченности действительности, чреватой потрясениями и бурями. Бросается в глаза близость образов, которыми в своих стихах и письмах пользуется Тютчев для передачи подобных настроений (бездна, пропасть, вулкан, оторванная от берега льдина и т.п.).

Поэтическое творчество Тютчева отражает «страшное раздвоение» человека, посетившего «сей мир в его минуты роковые». При этом тревожное, мятущееся мироощущение поэта как бы противостоит его консервативному мировоззрению. «Минуты роковые» истории — его стихия. Недаром они отражались в его поэзии резкими творческими взлетами. Так было и в 1830 и в 1848—1849 годах. И речь здесь идет не о непосредственных откликах Тютчева на политические события этих лет, но о том, что именно грозы современности вызывали в нем творческий подъем.

«Обломок старых поколений», обреченный уступить дорогу «новому младому племени», поэт не испытывает малодушного желания бежать от «бурь гражданских и тревоги». Наоборот, когда прежняя «твердая и непоколебимая почва» содрогается от гула социальных землетрясений, он — говоря его же словами —

...чутким ухом
Припав к растреснутой земле,
Чему-то внемлет жадным слухом...

(«Безумие»)

И острота этого слуха позволяет ему издалека улавливать кипение подземных ключей истории. Страстным влечением к ее «высоким зрелищам» проникнуто признание поэта:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир:
Он их высоких зрелищ зритель...

(«Цицерон»)

Но это чувство истории не мешало поэту переживать настроения человека, идеологически еще крепко связанного со старым миром, не мешало ему сознавать самого себя человеком «заката», не избавляло его от щемящих мук сиротства и одиночества. С предельной прямотой раскрывает Тютчев, почему именно тягостны и «ненавистны» ему «багровые» лучи «младого пламенного дня»:

Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..

(«Как птичка раннею зарей...»)

Но, как бы ни было тягостно сознавать себя «полусонной тенью», поэт предостерегает себя и своих сверстников

От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;

От желчи горького сознанья,
Что нас поток уж не несет
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперед.

(«Когда дряхлеющие силы...»)

Своеобразным отражением социально-исторического мировосприятия поэта, отчетливого ощущения непрочности окружающей действительности, колеблемой «бурями» и «тревогами», и двойственного отношения к ней — притяжения и отталкивания — являются космические темы и образы тютчевской философской лирики.

В основе мироздания, по глубокому убеждению Тютчева, лежит «древний хаос». «Внешний мир» — это только «златотканный покров», накинутый на «безыменную бездну». Ночь, являющаяся в глазах Тютчева разоблачением хаоса, одновременно и страшит и манит к себе поэта. Подобно тому как в «минуты роковые» истории он напряженным взором старается уловить сокровенный смысл ее «высоких зрелищ», так ночью, когда ему кажется, что он стоит «на краю земли», «немощен и гол, лицом к лицу пред пропастию темной», он стремится заглянуть в бездонные тайники космической жизни. И, как пушкинский Вальсингам, Тютчев умел обретать «неизъяснимы наслажденья» в безумных сетованиях полночного ветра, «в одичалой бездне вод», «среди громов, среди огней,// среди клокочущих страстей // в стихийном пламенном раздоре» — всюду, где оживал, «шевелился» и рвался наружу «родимый хаос». В этом влечении Тютчева к изображению «стихийных споров» в природе и в человеческой душе — одна из отличительных особенностей его лирики, обусловленная все той же привычной для мироощущения поэта «внутренней тревогой».

Много писалось об идеалистичности взгляда поэта на мир, о романтичности его философского восприятия природы. Гораздо важнее, однако, та художественная правда, с которой передавал поэт свои впечатления и переживания.

В сознании широкого читателя Тютчев прежде всего — певец природы. С его «Весенних вод» и «Весенней грозы» каждый из нас начинал свое знакомство с русской поэзией. Но не только на этих стихах основывается такое представление о Тютчеве. Он был действительно поэтом, в творчестве которого природа в своих многообразных проявлениях занимала такое исключительное место. Воспринимаемая как

некое живое существо («В ней есть душа, в ней есть свобода,// в ней есть любовь, в ней есть язык»), природа изображается поэтом в ее движении, изменениях, переходных состояниях («Зима недаром злится...», «Еще земли печален вид...», «День и ночь», «Первый лист», «Декабрьское утро», «Молчит сомнительно Восток...»), что и составляет глубоко оригинальную особенность тютчевской лирики.

Некрасов поставил в особую заслугу Тютчеву «живое, грациозное, пластически верное изображение» внешнего мира и указал на умение поэта подмечать в нем «именно те черты, по которым в воображении читателя может возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина»[1]. Достигает этого Тютчев различными художественными средствами.

Зоркость художника поэт обнаруживает уже в стихах заграничного периода. Зрительное впечатление от сгущающихся сумерек очень точно передается им в строках:

И *сосен*, по дороге, *тени*
Уже в одну слилися тень.
(«Песок сыпучий по колени...»)

Но в неменьшей степени обладал он и тонкостью слуха. По мере того как потухает день, отчетливей становятся звуки природы, и поэт подчеркивает это, говоря:

День догорал; *звучнее* пела
Река в померкших берегах.
(«Я помню время золотое...»)

С годами эта чуткость к конкретным деталям заметно усиливается в лирике Тютчева, отражая общее движение русской поэзии от романтизма к реализму. Наблюдая летнюю бурю, поэт не только видит, как гнутся «лесные исполины», но подмечает и «первый желтый лист», который «крутясь, слетает на дорогу» («Как весел грохот летних бурь...») В жаркий августовский день улавливает «медовый» запах, доносящийся с «белеющих полей» гречихи («В небе тают облака...») В «короткую, но дивную пору» наступающей осени любуется блестящим на сжатой полосе «тонким волосом» паутины («Есть в осени первоначальной...») Поздней осенью, когда небо становится «бледнее», а долы «пасмурнее», ощущает дуновение «теплого и сырого» ветра, напоминающего о весне («Когда в кругу убийственных забот...»)

Усиление внимания поэта к конкретно-зрительной передаче впечатлений от картин и явлений природы с большой наглядностью явствует из следующего примера. У Тютчева есть два стихотворения,

---

[1] Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. IX, М. 1950, стр. 205.

в которых описывается надвигающаяся гроза: «В душном воздуха молчанье...» и «Неохотно и несмело...» Первое относится к 1830-м годам, второе — к 1849 году. В обоих упоминается о молнии. Но в первом стихотворении она в сущности только называется («Небо молнией летучей// опоясалось кругом»), а во втором поэт находит для нее очень меткое цветовое определение:

Вот пробилась из-за тучи
Синей молнии струя —
Пламень *белый* и летучий
Окаймил ее края.

Такое усиление внимания к передаче не только внешней, но и звуковой стороны явления природы может быть прослежено на примере творческой работы поэта над текстом одного из самых прославленных его стихотворений — «Весенняя гроза».

Написано оно в конце двадцатых годов и тогда же напечатано в такой редакции:

Люблю грозу в начале мая:
Как весело весенний гром
Из края до другого края
Грохочет в небе голубом!

С горы бежит ручей проворный,
В лесу не молкнет птичий гам;
И говор птиц и ключ нагорный —
Всё вторит радостно громам!

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

Через двадцать лет Тютчев подвергает это стихотворение существенной переработке.

Введение в третьей строке окончательного текста метафоры «Как бы резвяся и играя» сделало ненужным в предыдущей строке эпитет «весело», и поэт устраняет его («Когда весенний первый гром»). Большое значение имеет и такая, казалось бы незначительная, деталь, как замена двоеточия запятой после первого стиха. Создавая паузу, двоеточие замедляет чтение и невольно придает всей строфе, несмотря на восклицательный знак в конце, спокойно описательный характер.

После первой строфы Тютчев вставляет отсутствовавшие в первоначальной редакции четыре строки:

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

Эти строки обогатили картину грозы теми зрительно-конкретными образами, которых в ней недоставало.

В третьей строфе переработка сводится к уточнению ряда образов, к придаче им большей обобщенности, к подчеркиванию повторами отдельных слов и звуков стремительности ритмического движения строфы:

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный —
Все вторит весело громам.

Тютчев по справедливости считается мастером «пейзажа в стихах». Но сравнительно редко пейзаж дается поэтом сам по себе. Поэту в высокой степени доступна передача эмоционального ощущения, вызываемого в человеке явлениями внешнего мира. Именно поэтому каждую весну Л. Н. Толстой повторял тютчевские строфы: «Как ни гнетет рука судьбины...», а Некрасов писал по поводу стихотворения «Весенние воды»: «Читая их, чувствуешь весну, когда сам не знаешь, почему делается весело и легко на душе, как будто несколько лет свалилось долой с плеч...»[1]

Гораздо чаще образы природы служат поэту средством раскрытия дум о человеке. Нередко двойной смысл стихотворения — прямой, связанный с миром природы, и переносный, иносказательный, связанный с внутренним миром человека,— подчеркивается самой композицией. Так, например, в стихотворении «Поток сгустился и тускнеет...» образ застывшего «под твердым льдом» потока, на дне которого продолжает журчать ключ, переносится во второй строфе на «убитую хладом бытия» человеческую душу, «подо льдистою корой» которой попрежнему бьются жизненные силы. Совершенно так же, в виде своего рода композиционно-смысловой параллели, построены такие стихотворения, как «Еще земли печален вид...», «Фонтан», «Как неожиданно и ярко...» В других стихотворениях оба плана настолько слиты друг с другом, что составляют единое целое («В душном воздуха молчанье...», «Как дымный столп светлеет в вышине...», «Волна и дума»). В некоторых же случаях, когда, на первый взгляд, Тютчев дает только эмоционально окрашенный «пейзаж в стихах» («Что ты клонишь над водами...», «Обвеян вещею дремотой...»), аналогии с человеком невольно возникают в сознании читателя. При этом в стихотворении «Обвеян вещею дремотой...» сам поэт последней строфой наталкивает нас на сравнение солнечного луча, озарившего осеннюю «изнуренную»

---

[1] Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. IX, М. 1950, стр 208.

листву деревьев, с «немощной» и «хилой» улыбкой увядающего живого существа. Смысловой подтекст стихотворения «Что ты клонишь над водами...» может быть различным, но символический характер самого образа склоненной ивы очевиден.

Постоянная мысль о человеке придает лирике Тютчева черты подлинного гуманизма.

Глубоким сочувствием к людям согреты такие стихотворения Тютчева, как «Слезы людские, о слезы людские...» и «Пошли, господь, свою отраду...» Потоки беспросветного осеннего дождя сливаются в художественном восприятии поэта со столь же «неисчислимыми» и «безвестными» людскими слезами, а вид «бедного нищего», бредущего в летний зной вдоль решетки недоступного для него сада, с «гостеприимной сенью» деревьев и «росистой пылью» фонтана, наводит на мысль о человеческом одиночестве, человеческой отверженности.

В некоторых стихотворениях гуманизм поэта непосредственно связан с реальными историческими условиями и событиями русской действительности.

Таково прежде всего стихотворение «Русской женщине», которое Добролюбов привел в своей статье «Когда же придет настоящий день?», указав на то, что эти «безнадежно печальные, раздирающие душу предвещания поэта» в мертвящей атмосфере крепостнической России сбываются «так постоянно и беспощадно... над самыми лучшими, избранными натурами»[1].

Мыслями о далеком Севастополе, где льется кровь русских солдат, где проявляются чудеса доблести и героизма, проникнуто написанное в дни Крымской войны стихотворение «Вот от моря и до моря...» Живое сострадание поэта «рабскому виду», «насилию и обидам» родного народа проступает и сквозь славянофильскую окраску стихов «Эти бедные селенья...» и «Над этой темною толпой...» И не случайно, что стихотворения «Вот от моря и до моря...» и «Эти бедные селенья...» сочувственно отметил Чернышевский, а второе из них не только «с наслаждением прочитал», но тут же и переписал Т. Шевченко[2].

Жизнь человека в представлении Тютчева всегда «борьба», «бой», «подвиг». Эта борьба часто «отчаянна» и безнадежна», бой «жесток» и

---

[1] Добролюбов Н. А., Собр. соч. в трех томах, т. 3, Гослитиздат, М. 1952, стр. 67.

[2] Чернышевский Н. Г., Полн. собр. соч., т. IV, Гослитиздат, М. 1948, стр. 964; Шевченко Тарас, Повне зібрання творів, т. 5, Киев, 1951, изд. АН УССР, стр. 116.

«неравен». Однако потому-то и велик подвиг «непреклонных сердец», что они гибнут, не одолев «рока», но внутренно устояв перед ним. В самой гибели их таится для поэта жизнеутверждающее начало («Два голоса»).

Мотив жизни-борьбы с большой трагической силой раскрывается и в любовной лирике Тютчева, через которую проходит ярко индивидуализированный и глубоко человечный образ женщины, «так пламенно, так горячо любившей // наперекор и людям и судьбе». Образ этот намечается еще в ранних стихах Тютчева. Уже в стихотворении «К Н.» («Твой милый взор, невинной страсти полный...»), «чистый огнь» женского взора противопоставлен «сердцам, в которых правды нет» и которых этот взор не может «умилостивить». С этими стихами перекликается позднейшее стихотворение «Как ни бесилося злоречье...»: здесь опять-таки «безоблачная душа» женщины оказывается сильнее «глупых сплетней, злых речей» и даже самой черной клеветы. Любовь как земная «испепеляющая» страсть изображается в стихотворениях Тютчева тридцатых годов — «Итальянская villa», «С какою негою, с какой тоской влюбленной...» и «Так здесь-то суждено нам было...», которые по своему трагическому тону предвосхищают цикл стихов, навеянных «последней любовью» поэта. Вместе с тем именно в любовных стихах пятидесятых—шестидесятых годов лирический женский образ получает свое наиболее законченное развитие. Он возникает перед читателем во всей сложности своих внутренних переживаний («Не говори: меня он, как и прежде, любит...», «Чему молилась ты с любовью...»), во всей конкретности своей судьбы («О, как убийственно мы любим...», «Не раз ты слышала признанье...», «Весь день она лежала в забытьи...») В этих стихотворениях, заключающих гениальные по своей психологической силе обобщения личного душевного опыта, поэт достигает полного «равновесия» художественной правды и чувства «глубокой человечности», столь ценимого им самим в искусстве.

Человечность, дышащая в стихах Тютчева и находящая в них различные формы художественного воплощения, находится в явном противоречии с представлением о нем как о крайнем индивидуалисте, замыкавшемся в своем внутреннем мире. Стремление уйти от «бесчувственной толпы», от «бессмысленного народа», которое порою испытывал поэт, отнюдь не свидетельствовало о пренебрежении или презрении его к человеку. «Все пошлое и ложное» в людях, «бессмертная пошлость», стирающая в человеке человеческое, — вот что было неприемлемо для Тютчева и от чего подчас он отгораживался в своем молчаливом одиночестве («Silentium!», «Душа моя — Элизиум теней...»)

Литературоведы обычно обращают внимание на неоднократные повторения в творчестве Тютчева одних и тех же тем, мотивов и образов. Но стоит лишь сравнить такие близкие по своему содержанию стихотворения, как «День и ночь» и «Святая ночь на небосклон взошла...», «Через ливонские я проезжал поля...» и «От жизни той, что бушевала здесь...», «Не остывшая от зною...» и «Ночное небо так угрюмо...», как станет ясным, что поэзию Тютчева нельзя назвать ни однообразной, ни монотонной.

Невольно вспоминается то, что писал в своей статье о Тютчеве Фет: «Два года тому назад, в тихую осеннюю ночь, стоял я в темном переходе Колизея и смотрел в одно из оконных отверстий на звездное небо. Крупные звезды пристально и лучезарно глядели мне в глаза, и по мере того как я всматривался в тонкую синеву, другие звезды выступали передо мною и глядели на меня так же таинственно и так же красноречиво, как и первые. За ними мерцали во глубине еще тончайшие блестки и мало-помалу всплывали в свою очередь. Ограниченные темными массами стен, глаза мои видели только небольшую часть неба, но я чувствовал, что оно необъятно и что нет конца его красоте. С подобными же ощущениями раскрываю стихотворения Ф. Тютчева»[1].

Действительно, несмотря на близость между собою отдельных стихотворений Тютчева, исключительная насыщенность мыслью и совершенство ее художественного выражения делают книгу его стихов одним из замечательнейших явлений русской поэзии.

Тонкий мастер, Тютчев не стремится блеснуть внешними эффектами и изысканностью формы. Основным стихотворным размером, которым пользовался поэт, был ямб. Чаще всего это ямб четырехстопный, реже пятистопный, еще реже смешанный; другие виды ямба обнаруживаются у Тютчева лишь в единичных случаях. Наряду с ямбом поэт охотно обращается к четырехстопному хорею. Однако при таком сравнительно ограниченном выборе двухсложных размеров, Тютчев придает им большое ритмическое разнообразие. Трехсложные размеры у Тютчева крайне редки. Анапест, например, встречается у него лишь в отдельных строках написанного амфибрахием стихотворения «Сон на море» и в своеобразной метрической ткани стихотворения «Мотив Гейне» («Если смерть есть ночь, если жизнь есть день...»), где каждая строка делится цезурой на два полустишия, в которых первая стопа — анапест, а вторая — ямб. Тютчев вообще нередко прибегает в своих стихах к метрическим перебоям, но его отступления от основного размера внутренно обоснованы, оправданы

---

[1] «Русское слово», 1859, февраль, отд. II, стр. 67—68.

смыслом. Так, например, лишние безударные слоги, перебивающие во второй, четвертой и восьмой строках четырехстопный ямб стихотворения «Последняя любовь», придают ему тем большую ритмическую выразительность, что она находится в полном соответствии с содержанием:

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
. . . .
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.

Чисто смысловое значение приобретает у Тютчева и такой стихотворный прием, как внутренняя рифма. Не определяя собою строфической формы стихотворения, она лишь подчеркивает тот или иной оттенок содержания. В стихотворении «Cache-cache», например, неожиданное появление внутренней рифмы в последней строке четвертой строфы усиливает беспечно-игривый тон стихотворения:

Гвоздики недаром лукаво глядят,
Недаром, о розы, на ваших листах
Жарчее румянец, свежей аромат:
Я понял, кто *скрылся*, *зарылся* в цветах!

В стихотворении «Слезы людские, о слезы людские...»,не ограничиваясь рифмовкой в смежных строках слов «незримые» и «неисчислимые», поэт вводит еще в качестве дополнительной, внутренней рифмы слово «неистощимые». В результате такого повторения подряд трех многосложных рифм стихотворение приобрело отпечаток безысходной грусти:

Льетесь безвестные, льетесь *незримые*,
Неистощимые, *неисчислимые*...

Столь же оправдан у Тютчева внутренним содержанием и такой прием художественной изобразительности, как звукопись. Насколько мастерски пользовался Тютчев языком звуков, можно судить, например, по его знаменитому стихотворению «Весенняя гроза», где сами звуки напоминают читателю о резвых раскатах первого грома, или по замечательному стихотворению «Как хорошо ты, о море ночное...», весь ритм которого, подчеркнутый аллитерациями и ассонансами, вызывает слуховое ощущение грохочущей и движущейся морской стихии. В названных стихотворениях, которым не уступают по мастерству инструментовки и многие другие, например: «Тени сизые смесились...», «Море и утес» — только нагляднее и резче обнаруживаются те приемы зву-

кописи, которые могут быть прослежены и в некоторых отдельных строках тютчевских стихотворений (например, сочетание взрывного «п» и плавного «л» в строке: «Как *пл*яшут *п*ы*л*инки в *пол*дневных *л*учах»).

Поэзия Тютчева, как и многие другие выдающиеся литературные явления прошлого, далеко не сразу получила всеобщее признание. «О Тютчеве не спорят, — заявлял Тургенев, — кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии» [1]. Самая запальчивость этого заявления уже была свидетельством того, что о Тютчеве спорили. В высшей степени интересно признание Л. Толстого: «Когда-то Тургенев, Некрасов и К⁰ едва могли уговорить меня прочесть Тютчева. Но зато когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта». Впоследствии раздавались голоса, относившие Тютчева к числу поэтов-дилетантов и даже «посредственностей». Эти голоса сыграли свою роль. Тютчев в последней трети XIX века оказался основательно забытым поэтом. И не кто иной, как тот же Л. Н. Толстой, говоря однажды о Тютчеве, сетовал: «Его все, вся интеллигенция наша забыла: он, видите, устарел, он не шутит с музой, как мой приятель Фет. И все у него строго — и содержание и форма» [2].

Из этого забвения в середине девяностых годов Тютчева извлекли символисты. Они подняли его на щит, как «учителя поэзии для поэтов», стараясь «приблизиться к совершенству им созданных образцов» [3].

Однако восприятие тютчевского наследия символистами носило в значительной степени внешний характер, ограничивалось вариациями отдельных и далеко не основных мотивов его лирики и заимствованием у него приемов и форм их выражения. В истолковании поэзии Тютчева символистами было немало субъективного, одностороннего и внеисторичного. Глубоко ложное представление о нем как о родоначальнике декадентов показывало, насколько чужда оставалась символистам основная сущность тютчевского творчества.

Внутренно ближе других Тютчеву был только один представитель символизма, сумевший, однако, преодолеть эстетско-формалистическую ограниченность и политическую реакционность этого течения, крупнейший поэт дореволюционной России — Александр Блок. Ему,

---

[1] Письмо Тургенева к А. А. Фету. — Фет А. А., Мои воспоминания, М. 1890, стр. 283.

[2] «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II, Гослитиздат, 1955, ч. I, стр. 413, 273.

[3] Брюсов В. Я., Ф. И. Тютчев, Критико-биографический очерк — «Полн. собр. соч. Ф. И. Тютчева», изд. 8-е, П., б. г. стр. XLVI—XLVII.

как и Тютчеву, свойственна была «безумная любовь» к жизни наряду с трагическим восприятием реальной действительности, «неотступное чувство катастрофы», вызванное ощущением непрочности и обреченности старого мира, постоянная «внутренняя тревога», пронизывающая его творчество и в конечном счете обусловленная «революционными предчувствиями».

Блок утверждал, что историческая эпоха внушает поэту, способному ее чувствовать, даже «ритм и размеры стихов». Поэзия Тютчева оправдывает это тонкое замечание. Ее тревожные тона и оттенки с необыкновенной выразительностью отражают тяготение поэта не только к изображению «стихийных споров» в природе и в истории, но и к воспроизведению их ритмов.

Время, отбросив все случайное и наносное в истолковании поэзии Тютчева, оправдало оценку, данную его творчеству Некрасовым, Тургеневым, Добролюбовым. Его стихотворное наследие получило широкое и достойное признание.

Еще в 1918 году, в первый год существования молодого Советского государства, Совет Народных Комиссаров постановил воздвигнуть памятники выдающимся деятелям русской и мировой культуры. В приложенный к этому постановлению и утвержденный В. И. Лениным список имен включено было и имя Тютчева [1]. Память поэта была ознаменована в 1920 году открытием мемориально-литературного и бытового музея его имени в подмосковной усадьбе Тютчевых Мураново.

В наши дни о Тютчеве более «не спорят». Его изучают и—что гораздо важнее — читают. Советский читатель хранит в золотом фонде русской классической литературы лучшие достижения этого лирика-мыслителя, вдохновенного и вдумчивого певца природы, тонкого и проникновенного выразителя человеческих чувств и переживаний. Именно теперь в полной мере подтвердились слова Некрасова, «ручавшегося» за то, что небольшую книгу тютчевских стихов «каждый любитель отечественной литературы поставит в своей библиотеке рядом с лучшими произведениями русского поэтического гения» [2].

К. ПИГАРЕВ

---

[1] «Список лиц, коим предположено поставить монументы в г. Москве и других городах Российской Федеративной советской республики» — «Известия» от 2 августа 1918 г.

[2] Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. IX, М. 1950, стр. 221.



• СТИХОТВОРЕНИЯ •

1815—1873



НА НОВЫЙ 1816 ГОД

Уже великое небесное светило,
Лиюще с высоты обилие и свет,
Начертанным путем годичный круг свершило
И в ново поприще в величии грядет! —
И се! Одеянный блистательной зарею,
Пронзив эфирных стран белеющийся свод,
        Слетает с урной роковою
        Младый сын Солнца — Новый Год!..

Предшественник его с лица земли сокрылся,
И по течению вратящихся времен,
Как капля в океан, он в вечность погрузился!
Сей Год равно пройдет!.. Устав небес священ...
О Время! Вечности подвижное зерцало! —
Все рушится, падет под дланию твоей!..
        Сокрыт предел твой и начало
        От слабых смертного очей!..

Века рождаются и исчезают снова,
Одно столетие стирается другим;
Что может избежать от гнева Крона злого?
Что может устоять пред грозным богом сим?
Пустынный ветр свистит в руинах Вавилона!
Стадятся звери там, где процветал Мемфис!
        И вкруг развалин Илиона
        Колючи терны обвились!..

А ты, сын роскоши! о смертный сладострастный,
Беспечна жизнь твоя средь праздности и нег
Спокойно катится!.. Но ты забыл, несчастный,

Мы все должны узреть Коцита грозный брег!..
Возвышенный твой сан, льстецы твои и злато
От смерти не спасут! Ужель ты не видал,
Сколь часто гром огнекрылатый
Разит чело высоких скал?..

И ты еще дерзнул своей рукою жадной
Отъять насущный хлеб у вдов и у сирот;
Изгнать из родины семейство безотрадно!..
Слепец! стезя богатств к погибели ведет!..
Разверзлась пред тобой подземная обитель!
О жертва Тартара! О жертва Евменид,
Блеск пышности твоей, грабитель!
Богинь сих грозных не пленит!..

Там вечно будешь зреть секиру изощренну,
На тонком волоске висящу над главой;
Покроет плоть твою, всю в язвах изможденну:
Не ткани пурпурны — червей кипящий рой!..
Возложишь не на одр растерзанные члены,
Где б неге льстил твоей приятный мягкий пух,
Но нет — на жупел раскаленный, —
И вечный вопль пронзит твой слух!

Но что? сей страшный сонм! сии кровавы тени
С улыбкой злобною, они к тебе спешат!..
Они прияли смерть от варварских гонений!
От них и ожидай за варварство наград! —
Страдай, томись, злодей, ты жертва адской мести! —
Твой гроб забвенный здесь покрыла мурава! —
И навсегда со гласом лести
Умолкла о тебе молва!

* * *

Неверные преодолев пучины,
Достиг пловец желанных берегов;
И в пристани, окончив бег пустынный,
С веселостью знакомится он вновь!..
Ужель тогда челнок свой многомощный,
Восторженный, цветами не увьет?..
Под блеском их и зеленью роскошной
Следов не скроет мрачных бурь и вод?..

И ты рассек с отважностью и славой
Моря обширные своим рулем, —
И днесь, о друг, спокойно, величаво
Влетаешь в пристань с верным торжеством.
Скорей на брег — и дружеству на лоно
Склони, певец, склони главу свою —
Да ветвию от древа Аполлона
  Его питомца я увью!..

К ОДЕ ПУШКИНА НА ВОЛЬНОСТЬ

Огнем свободы пламенея
И заглушая звук цепей,
Проснулся в лире дух Алцея, —
И рабства пыль слетела с ней.
От лиры искры побежали
И вседробящею струей,
Как пламень божий, ниспадали
На чела бледные царей.

Счастлив, кто гласом твердым, смелым,
Забыв их сан, забыв их трон,
Вещать тиранам закоснелым
Святые истины рожден!
И ты великим сим уделом,
О муз питомец, награжден!

Воспой и силой сладкогласья
Разнежь, растрогай, преврати
Друзей холодных самовластья
В друзей добра и красоты!
Но граждан не смущай покою
И блеска не мрачи венца,
Певец! Под царскою парчою
Своей волшебною струною
Смягчай, а не тревожь сердца!

А. Н. М.

Нет веры к вымыслам чудесным,
Рассудок все опустошил
И, покорив законам тесным
И воздух, и моря, и сушу,
Как пленников — их обнажил;
Ту жизнь до дна он иссушил,
Что в дерево вливала душу,
Давала тело бестелесным!..

Где вы, о древние народы!
Ваш мир был храмом всех богов,
Вы книгу Матери-природы
Читали ясно, без очков!..
Нет, мы не древние народы!
Наш век, о други, не таков.

О раб ученой суеты
И скованный своей наукой!
Напрасно, критик, гонишь ты
Их златокрылые мечты;
Поверь — сам опыт в том порукой, —
Чертог волшебный добрых фей
И в сновиденье — веселей,
Чем наяву — томиться скукой
В убогой хижине твоей!..

ВЕСНА

(Посвящается друзьям)

Любовь земли и прелесть года,
Весна благоухает нам!..
Творенью пир дает природа,
Свиданья пир дает сынам!..

Дух жизни, силы и свободы
Возносит, обвевает нас!..
И радость в душу пролилась,
Как отзыв торжества природы,
Как бога животворный глас!..

Где вы, Гармонии сыны?..
Сюда!.. и смелыми перстами
Коснитесь дремлющей струны,
Нагретой яркими лучами
Любви, восторга и весны!..

Как в полном, пламенном расцвете,
При первом утра юном свете,
Блистают розы и горят;
Как зефир в радостном полете
Их разливает аромат:

Так разливайся жизни сладость,
Певцы!.. за вами по следам!..
Так порхай наша, други, младость
По светлым счастия цветам!..

Вам, вам сей бедный дар признательной любви,
Цветок простой, не благовонный;
Но вы, наставники мои,
Вы примете его с улыбкой благосклонной.
Так слабое дитя, любви своей в залог,
Приносит матери на лоно
В лугу им сорванный цветок!..

* * *

На камень жизни роковой
Природою заброшен,
Младенец пылкий и живой
Играл — неосторожен, —
Но Муза сирого взяла
Под свой покров надежный,
Поэзии разостлала
Ковер под ним роскошный.

Как скоро Музы под крылом
Его созрели годы —
Поэт, избытком чувств влеком,
Предстал во храм Свободы, —
Но мрачных жертв не приносил,
Служа ее кумиру, —
Он горсть цветов ей посвятил
И пламенную лиру.

Еще другое божество
Он чтил в младые лета, —
Амур резвился вкруг него
И дани брал с поэта.
Ему на память стрелку дал,
И в сладкие досуги
Он ею повесть начертал
Орфеевой супруги.

И в мире сем, как в царстве снов,
Поэт живет, мечтая, —

Он так достиг земных венцов
И так достигнет рая...
Ум скор и сметлив — верен глаз,
Воображенье — быстро...
А спорил — в жизни только раз
На *диспуте магистра.*

ПОСЛАНИЕ К А. В. ШЕРЕМЕТЕВУ

Насилу добрый гений твой,
Мой брат по крови и по лени,
Увел тебя под кров родной
От всех маневров и учений,
Казарм, тревог и заточений,
От жизни мирно-боевой.
В кругу своих, в халате, дома,
И с службой согласив покой,
Ты праздный меч повесил свой
В саду героя-агронома.
Но что ж? Ты мог ли на просторе
Мечте любимой изменить?
Ты знаешь, друг, что праздность — горе,
Коль не с кем нам ее делить.
Прими ж мой дружеский совет
(Оракул говорил стихами
И убеждал, бывало, свет):
Между московскими красами
Найти легко, сомненья нет,
Красавицу в пятнадцать лет,
С умом, душою и душами.
Оставь на время плуг Толстого,
Забудь химеры и чины,
Женись и в полном смысле слова
Будь адъютант своей жены.
Тогда предамся вдохновенью,
Разбудит Музу Гименей,
Своей пожертвую я ленью,
Лишь ты свою преодолей!

СЛЕЗЫ

O lacrimarum fons...[1] *Gray*

Люблю, друзья, ласкать очами
Иль пурпур искрометных вин,
Или плодов между листами
Благоухающий рубин.

Люблю смотреть, когда созданье
Как бы погружено в весне,
И мир заснул в благоуханье,
И улыбается во сне!..

Люблю, когда лицо прекрасной
Весенний воздух пламенит,
То кудрей шелк взвевает сладострастный,
То в ямочки впивается ланит!

Но что все прелести пафосския царицы,
И гроздий сок, и запах роз,
Перед тобой, святой источник слез,
Роса божественной денницы!..

Небесный луч играет в них
И, преломясь о капли огневые,
Рисует радуги живые
На тучах жизни громовых.

И только смертного зениц
Ты, ангел слез, дотронешься крылами —
Туман рассеется слезами,
И небо серафимских лиц
Вдруг разовьется пред очами.

[1] О источник слез... (*лат.*)

ДРУЗЬЯМ

при посылке «Песни Радости» из Шиллера

Что пел божественный, друзья,
В порыве пламенном свободы
И в полном чувстве Бытия,
Когда на пиршество Природы
Певец, любимый сын ея,
Сзывал в единый круг народы;
И с восхищенною душей,
Во взорах — луч животворящий,
Из чаши Гения кипящей
Он пил за здравие людей.

И мне ли петь сей гимн веселый,
От близких сердцу вдалеке,
В неразделяемой тоске, —
Мне ль Радость петь на лире онемелой?
Веселье в ней не сыщет звука,
Его игривая струна
Слезами скорби смочена, —
И порвала ее Разлука!

Но вам, друзья, знакомо вдохновенье!
На краткий миг в сердечном упоенье
Я жребий свой невольно забывал
(Минутное, но сладкое забвенье!),
К протекшему душою улетал,
И Радость пел — пока о вас мечтал.

К Н.

Твой милый взор, невинной страсти полный,
Златой рассвет небесных чувств твоих
Не мог — увы! — умилостивить их —
Он служит им укорою безмолвной.

Сии сердца, в которых правды нет,
Они, о друг, бегут, как приговора,
Твоей любви младенческого взора,
Он страшен им, как память детских лет.

Но для меня сей взор благодеянье;
Как жизни ключ, в душевной глубине
Твой взор живет и будет жить во мне:
Он нужен ей, как небо и дыханье.

Таков горѐ духов блаженных свет,
Лишь в небесах сияет он небесный;
В ночи греха, на дне ужасной бездны,
Сей чистый огнь, как пламень адский, жжет.

ПРОБЛЕСК

Слыхал ли в сумраке глубоком
Воздушной арфы легкий звон,
Когда полуночь, ненароком,
Дремавших струн встревожит сон?..

То потрясающие звуки,
То замирающие вдруг...
Как бы последний ропот муки,
В них отозвавшися, потух!

Дыханье каждое Зефира
Взрывает скорбь в ее струнах...
Ты скажешь: ангельская лира
Грустит, в пыли, по небесах!

О, как тогда с земного круга
Душой к бессмертному летим!
Минувшее, как призрак друга,
Прижать к груди своей хотим.

Как верим верою живою,
Как сердцу радостно, светло!
Как бы эфирною струею
По жилам небо протекло!

Но, ах, не нам его судили;
Мы в небе скоро устаем, —
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем.



Ф. И. ТЮТЧЕВ

Масло. Начало 1820-х гг.

Едва усилием минутным
Прервем на час волшебный сон,
И взором трепетным и смутным,
Привстав, окинем небосклон, —

И отягченною главою,
Одним лучом ослеплены,
Вновь упадаем не к покою,
Но в утомительные сны.

14-ое ДЕКАБРЯ 1825

Вас развратило Самовластье,
И меч его вас поразил,—
И в неподкупном беспристрастье
Сей приговор Закон скрепил.
Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена,—
И ваша память от потомства,
Как труп в земле, схоронена.

О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула, —
И не осталось и следов.

ВЕЧЕР

Как тихо веет над долиной
Далекий колокольный звон,
Как шум от стаи журавлиной, —
И в звучных листьях замер он.

Как море вешнее в разливе,
Светлея, не колыхнет день, —
И торопливей, молчаливей
Ложится по долине тень.

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный —
Все вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

МОГИЛА НАПОЛЕОНА

Душой весны природа ожила,
И блещет все в торжественном покое:
Лазурь небес, и море голубое,
И дивная гробница, и скала!
Древа кругом покрылись новым цветом,
И тени их, средь общей тишины,
Чуть зыблются дыханием волны
На мраморе, весною разогретом...

Давно ль умолк Перун его побед,
И гул от них стоит доселе в мире...
. . . .
. . . .
И ум людей великой тенью полн,
А тень его, одна, на бреге диком,
Чужда всему, внимает шуму волн
И тешится морских пернатых криком.

CACHE — CACHE[1]

Вот арфа ее в обычайном углу,
Гвоздики и розы стоят у окна,
Полуденный луч задремал на полу:
Условное время! Но где же она?

О, кто мне поможет шалунью сыскать,
Где, где приютилась сильфида моя?
Волшебную близость, как бы благодать,
Разлитую в воздухе, чувствую я.

Гвоздики недаром лукаво глядят,
Недаром, о розы, на ваших листах
Жарчее румянец, свежей аромат:
Я понял, кто скрылся, зарылся в цветах!

Не арфы ль твоей мне послышался звон?
В струнах ли мечтаешь укрыться златых?
Металл содрогнулся, тобой оживлен,
И сладостный трепет еще не затих.

Как пляшут пылинки в полдневных лучах,
Как искры живые в родимом огне!
Видал я сей пламень в знакомых очах,
Его упоенье известно и мне.

Влетел мотылек, и с цветка на другой,
Притворно-беспечный, он начал порхать.
О, полно кружиться, мой гость дорогой!
Могу ли, воздушный, тебя не узнать?

[1] Игра в прятки (*франц.*).

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

Уж солнца раскаленный шар
С главы своей земля скатила,
И мирный вечера пожар
Волна морская поглотила.

Уж звезды светлые взошли
И тяготеющий над нами
Небесный свод приподняли
Своими влажными главами.

Река воздушная полней
Течет меж небом и землею,
Грудь дышит легче и вольней,
Освобожденная от зною,

И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ея
Коснулись ключевые воды.

ВИДЕНИЕ

Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.

Тогда густеет ночь, как хаос на водах;
Беспамятство, как Атлас, давит сушу;
Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах!

ОЛЕГОВ ЩИТ

1

«Аллах! пролей на нас твой свет!
Краса и сила правоверных!
Гроза гяуров лицемерных!
Пророк твой — Магомет!..»

2

«О, наша крепость и оплот!
Великий бог! веди нас ныне,
Как некогда ты вел в пустыне
Свой избранный народ!..»

*

Глухая полночь! Все молчит!
Вдруг... из-за туч луна блеснула—
И над воротами Стамбула
Олегов озарила щит.

БЕССОННИЦА

Часов однообразный бой,
Томительная ночи повесть!
Язык для всех равно чужой
И внятный каждому, как совесть!

Кто без тоски внимал из нас,
Среди всемирного молчанья,
Глухие времени стенанья,
Пророчески прощальный глас?

Нам мнится: мир осиротелый
Неотразимый Рок настиг —
И мы, в борьбе, природой целой,
Покинуты на нас самих;

И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак, на краю земли
И с нашим веком и друзьями
Бледнеет в сумрачной дали;

И новое, младое племя
Меж тем на солнце расцвело.
А нас, друзья, и наше время
Давно забвеньем занесло!

Лишь изредка, обряд печальный
Свершая в полуночный час,
Металла голос погребальный
Порой оплакивает нас!

* * *

Ты зрел его в кругу большого света —
То своенравно-весел, то угрюм,
Рассеян, дик иль полон тайных дум,
Таков поэт — и ты презрел поэта!

На месяц взглянь: весь день, как облак тощий,
Он в небесах едва не изнемог,—
Настала ночь — и, светозарный бог,
Сияет он над усыпленной рощей!

* * *

В толпе людей, в нескромном шуме дня
Порой мой взор, движенья, чувства, речи
Твоей не смеют радоваться встрече —
Душа моя! о, не вини меня!..

Смотри, как днем туманисто-бело
Чуть брезжит в небе месяц светозарный, —
Наступит ночь — и в чистое стекло
Вольет елей душистый и янтарный!

СОН НА МОРЕ

И море и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
Две беспредельности были во мне,
И мной своевольно играли оне.
Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы,
Окликалися ветры и пели валы.
Я в хаосе звуков лежал оглушен,
Но над хаосом звуков носился мой сон.
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой.
В лучах огневицы развил он свой мир —
Земля зеленела, светился эфир,
Сады-лавиринфы, чертоги, столпы,
И сонмы кипели безмолвной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц,
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,
По высям творенья, как бог, я шагал,
И мир подо мною недвижный сиял.
Но все грезы насквозь, как волшебника вой,
Мне слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.

* * *

Душа хотела б быть звездой,
Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной, —

Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом.

УТРО В ГОРАХ

Лазурь небесная смеется,
Ночной омытая грозой,
И между гор росисто вьется
Долина светлой полосой.

Лишь высших гор до половины
Туманы покрывают скат,
Как бы воздушные руины
Волшебством созданных палат.

СНЕЖНЫЕ ГОРЫ

Уже полдневная пора
Палит отвесными лучами, —
И задымилася гора
С своими черными лесами.

Внизу, как зеркало стальное,
Синеют озера струи,
И с камней, блещущих на зное,
В родную глубь спешат ручьи.

И между тем как полусонный
Наш дольний мир, лишенный сил,
Проникнут негой благовонной,
Во мгле полуденной почил, —

Горѐ, как божества родные,
Над издыхающей землей
Играют выси ледяные
С лазурью неба огневой.

* * *

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь — и звучными волнами
    Стихия бьет о берег свой.

То глас ее: он нудит нас и просит...
Уж в пристани волшебный ожил челн;
Прилив растет и быстро нас уносит
    В неизмеримость темных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,—
И мы плывем, пылающею бездной
    Со всех сторон окружены.

К N. N.

Ты любишь, ты притворствовать умеешь,—
Когда, в толпе, украдкой от людей,
Моя нога касается твоей —
Ты мне ответ даешь и не краснеешь!

Всё тот же вид рассеянный, бездушный,
Движенье персей, взор, улыбка та ж...
Меж тем твой муж, сей ненавистный страж,
Любуется твоей красой послушной.

Благодаря и людям и судьбе
Ты тайным радостям узнала цену,
Узнала свет: он ставит нам в измену
Все радости... Измена льстит тебе.

Стыдливости румянец невозвратный,
Он улетел с твоих младых ланит —
Так с юных роз Авроры луч бежит
С их чистою душою ароматной.

Но так и быть! в палящий летний зной
Лестней для чувств, приманчивей для взгляда
Смотреть, в тени, как в кисти винограда
Сверкает кровь сквозь зелени густой.

* * *

Еще шумел веселый день,
Толпами улица блистала,
И облаков вечерних тень
По светлым кровлям пролетала.

И доносилися порой
Все звуки жизни благодатной —
И всё в один сливалось строй,
Стозвучный, шумный и невнятный.

Весенней негой утомлен,
Я впал в невольное забвенье:
Не знаю, долог ли был сон,
Но странно было пробужденье...

Затих повсюду шум и гам,
И воцарилося молчанье —
Ходили тени по стенам
И полусонное мерцанье...

Украдкою в мое окно
Глядело бледное светило,
И мне казалось, что оно
Мою дремоту сторожило.

И мне казалось, что меня
Какой-то миротворный гений
Из пышно-золотого дня
Увлек, незримый, в царство теней.

ПОСЛЕДНИЙ КАТАКЛИЗМ

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них!

ПОЛДЕНЬ

Лениво дышит полдень мглистый;
Лениво катится река;
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.

И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет;
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф покойно дремлет.

ЦИЦЕРОН

Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
«Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!»
Так! но, прощаясь с римской славой,
С Капитолийской высоты
Во всем величье видел ты
Закат звезды ее кровавой!..

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир;
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

ВЕСЕННИЕ ВОДЫ

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят...

Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»

Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых, майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней.

SILENTIUM![1]

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь;
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.

Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..

[1] Молчание! (*лат.*)

* * *

Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает,
И огнь сокрытый и глухой
Слова и строки пожирает:

Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом;
Так постепенно гасну я
В однообразье нестерпимом!..

О небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И, не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы — и погас!

* * *

Здесь, где так вяло свод небесный
На землю тощую глядит, —
Здесь, погрузившись в сон железный,
Усталая природа спит...

Лишь кой-где бледные березы,
Кустарник мелкий, мох седой,
Как лихорадочные грезы,
Смущают мертвенный покой.

ДВУМ СЕСТРАМ

Обеих вас я видел вместе —
И всю тебя узнал я в ней...
Та ж взоров тихость, нежность гласа,
Та ж прелесть утреннего часа,
Что веяла с главы твоей!

И всё, как в зеркале волшебном,
Всё обозначилося вновь:
Минувших дней печаль и радость,
Твоя утраченная младость,
Моя погибшая любовь!..

УСПОКОЕНИЕ

Гроза прошла — еще курясь, лежал
Высокий дуб, перунами сраженный,
И сизый дым с ветвей его бежал
По зелени, грозою освеженной.
А уж давно, звучнее и полней,
Пернатых песнь по роще раздалася
И радуга концом дуги своей
В зеленые вершины уперлася.

СТРАННИК

Угоден Зевсу бедный странник,
Над ним святой его покров!..
Домашних очагов изгнанник,
Он гостем стал благих богов!..

Сей дивный мир, их рук созданье,
С разнообразием своим,
Лежит развитый перед ним
В утеху, пользу, назиданье...

Чрез веси, грады и поля,
Светлея, стелется дорога, —
Ему отверста вся земля,
Он видит всё и славит бога!..

БЕЗУМИЕ

Там, где с землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод,—
Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живет.

Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,
Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках.

То вспрянет вдруг и, чутким ухом
Припав к растреснутой земле,
Чему-то внемлет жадным слухом
С довольством тайным на челе.

И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,
И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход!..

* * *

Через ливонские я проезжал поля,
Вокруг меня все было так уныло...
Бесцветный грунт небес, песчаная земля —
Все нá душу раздумье наводило.

Я вспомнил о былом печальной сей земли —
Кровавую и мрачную ту пору,
Когда сыны ее, простертые в пыли,
Лобзали рыцарскую шпору.

И, глядя на тебя, пустынная река,
И на тебя, прибрежная дуброва,
«Вы, — мыслил я, — пришли издалека,
Вы, сверстники сего былого!»

Так! вам одним лишь удалось
Дойти до нас с брегов другого света.
О, если б про него хоть на один вопрос
Мог допроситься я ответа!..

Но твой, природа, мир о днях былых молчит
С улыбкою двусмысленной и тайной —
Так отрок, чар ночных свидетель быв случайный,
Про них и днем молчание хранит.

* * *

Песок сыпучий по колени...
Мы едем — поздно — меркнет день.—
И сосен, по дороге, тени
Уже в одну слилися тень.
Черней и чаще бор глубокий —
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стоокий,
Глядит из каждого куста!

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

* * *

Сей день, я помню, для меня
Был утром жизненного дня:
Стояла молча предо мною,
Вздымалась грудь ее волною,
Алели щеки, как заря,
Всё жарче рдея и горя!
И вдруг, как солнце молодое,
Любви признанье золотое
Исторглось из груди ея...
И новый мир увидел я!..

ЛИСТЬЯ

Пусть сосны и ели
Всю зиму торчат,
В снега и метели
Закутавшись спят.
Их тощая зелень,
Как иглы ежа,
Хоть ввек не желтеет,
Но ввек не свежа.

Мы ж, легкое племя,
Цветем и блестим
И краткое время
На сучьях гостим.
Всё красное лето
Мы были в красе,
Играли с лучами,
Купались в росе!..

Но птички отпели,
Цветы отцвели,
Лучи побледнели,
Зефиры ушли.
Так что же нам даром
Висеть и желтеть?
Не лучше ль за ними
И нам улететь!

О буйные ветры,
Скорее, скорей!
Скорей нас сорвите
С докучных ветвей!
Сорвите, умчите,
Мы ждать не хотим,
Летите, летите!
Мы с вами летим!..

АЛЬПЫ

Сквозь лазурный сумрак ночи
Альпы снежные глядят;
Помертвелые их очи
Льдистым ужасом разят.
Властью некой обаянны,
До восшествия Зари,
Дремлют, грозны и туманны,
Словно падшие цари!..

Но Восток лишь заалеет,
Чарам гибельным конец —
Первый, в небе, просветлеет
Брата старшего венец.
И с главы большого брата
На меньших бежит струя,
И блестит в венцах из злата
Вся воскресшая семья!..

MAL'ARIA[1]

Люблю сей божий гнев! Люблю сие, незримо
Во всем разлитое, таинственное Зло —
В цветах, в источнике прозрачном, как стекло,
И в радужных лучах, и в самом небе Рима.
Все та ж высокая, безоблачная твердь,
Все так же грудь твоя легко и сладко дышит,
Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет,
Все тот же запах роз, и это все — есть Смерть!..

Как ведать, может быть, и есть в природе звуки,
Благоухания, цвета и голоса,
Предвестники для нас последнего часа́
И усладители последней нашей муки.
И ими-то Судеб посланник роковой,
Когда сынов Земли из жизни вызывает,
Как тканью легкою свой образ прикрывает,
Да утаит от них приход ужасный свой!

---

[1] Зараженный воздух (*итал.*).

КОНЬ МОРСКОЙ

О рьяный конь, о конь морской,
С бледнозеленой гривой,
То смирный, ласково-ручной,
То бешено-игривый!
Ты буйным вихрем вскормлен был
В широком божьем поле;
Тебя он прядать научил,
Играть, скакать по воле!

Люблю тебя, когда стремглав,
В своей надменной силе,
Густую гриву растрепав,
И весь в пару и мыле,
К брегам направив бурный бег,
С веселым ржаньем мчишься,
Копыта кинешь в звонкий брег
И — в брызги разлетишься!..

ЛЕБЕДЬ

Пускай орел за облаками
Встречает молнии полет
И неподвижными очами
В себя впивает солнца свет.

Но нет завиднее удела,
О лебедь чистый, твоего —
И чистой, как ты сам, одело
Тебя стихией божество.

Она, между двойною бездной,
Лелеет твой всезрящий сон —
И полной славой тверди звездной
Ты отовсюду окружен.

* * *

Как дочь родную на закланье
Агамемнон богам принес,
Прося попутных бурь дыханья
У негодующих небес, —
Так мы над горестной Варшавой
Удар свершили роковой,
Да купим сей ценой кровавой
России целость и покой!

Но прочь от нас венец бесславья,
Сплетенный рабскою рукой!
Не за коран самодержавья
Кровь русская лилась рекой!
Нет! нас одушевляло в бое
Не чревобесие меча,
Не зверство янычар ручное
И не покорность палача!

Другая мысль, другая вера
У русских билася в груди!
Грозой спасительной примера
Державы целость соблюсти,
Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленных, как рать.

Сие-то высшее сознанье
Вело наш доблестный народ —

Путей небесных оправданье
Он смело на себя берет.
Он чует над своей главою
Звезду в незримой высоте
И неуклонно за звездою
Спешит к таинственной мете!

Ты ж, братскою стрелой пронзенный,
Судеб свершая приговор,
Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер!
Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода,
Как феникс, зародится в нем.

* * *

«Все бешеней буря, все злее и злей,
Ты крепче прижмися к груди моей».
— О милый, милый, небес не гневи,
Ах, время ли думать о грешной любви! —
«Мне сладок сей бури порывистый глас,
На ложе любви он баюкает нас».
— О, вспомни про море, про бедных пловцов,
Господь милосердый, будь бедным покров! —
«Пусть там, на раздолье, гуляет волна,
В сей мирный приют не ворвется она».
— О милый, умолкни, о милый, молчи,
Ты знаешь, кто на море в этой ночи?! —
И голос стенящий дрожал на устах,
И оба, недвижны, молчали впотьмах.
Гроза приутихла, ветер затих,
Лишь маятник слышен часов стенных, —
Но оба, недвижны, молчали впотьмах,
Над ними лежал таинственный страх...
Вдруг с треском ужасным рассыпался гром,
И дрогнул в основах потрясшийся дом.
Вопль детский раздался, отчаян и дик,
И кинулась мать на младенческий крик.
Но в детский покой лишь вбежала она,
Вдруг грянулась об пол, всех чувств лишена.
Под молнийным блеском, раздвинувшим мглу,
Тень мужа над люлькой сидела в углу.

* * *

На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом,
Воспитанный его чистейшим соком,
Развит чистейшим солнечным лучом!

С его великою душою
Созвучней всех на нем ты трепетал,
Пророчески беседовал с грозою
Иль весело с зефирами играл!

Не поздний вихрь, не бурный ливень летний
Тебя сорвал с родимого сучка:
Был многих краше, многих долголетней,
И сам собою пал, как из венка!

* * *

С горы скатившись, камень лег в долине —
Как он упал? никто не знает ныне —
Сорвался ль он с вершины *сам* собой,
Или низвергнут *мыслящей* рукой?
Столетье за столетьем пронеслося:
Никто еще не разрешил вопроса!

К***

Уста с улыбкою приветной,
Румянец девственных ланит
И взор твой светлый, искрометный —
Всё к наслаждению манит...
Ах! этот взор, пылая страстью,
Любовь на легких крыльях шлет
И некою волшебной властью
Сердца в чудесный плен влечет.

* * *

Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой —
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.

Не видите ль? Собравшися в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит:
Еще она не перешла порогу,
Но дом ее уж пуст и гол стоит, —

Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь...
Но час настал, пробил... молитесь богу,
В последний раз вы молитесь теперь.

* * *

Душа моя — Элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни помыслам године буйной сей,
Ни радостям, ни горю не причастных.

Душа моя, Элизиум теней,
Что общего меж жизнью и тобою!
Меж вами, призраки минувших, лучших дней,
И сей бесчувственной толпою?..

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ

«Вчера в мечтах обвороженных...»
(строфы шестая и седьмая) 1836 г. (?)

* * *

Из края в край, из града в град
Судьба, как вихрь, людей метет,
И рад ли ты, или не рад,
Что нужды ей?.. Вперед, вперед!

Знакомый звук нам ветр принес:
Любви последнее прости...
За нами много, много слез,
Туман, безвестность впереди!..

«О, оглянися, о, постой,
Куда бежать, зачем бежать?..
Любовь осталась за тобой,
Где ж в мире лучшего сыскать?

Любовь осталась за тобой,
В слезах, с отчаяньем в груди...
О, сжалься над своей тоской,
Свое блаженство пощади!

Блаженство стольких, стольких дней
Себе на память приведи...
Все милое душе твоей
Ты покидаешь на пути!..»

Не время выкликать теней:
И так уж этот мрачен час.
Усопших образ тем страшней,
Чем в жизни был милей для нас.

Из края в край, из града в град
Могучий вихрь людей метет,
И рад ли ты, или не рад,
Не спросит он... Вперед, вперед!

* * *

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край:
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,
Руина замка вдаль глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит, —

Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.

И ветер тихий мимолетом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал.

Ты беззаботно вдаль глядела...
Край неба дымно гас в лучах;
День догорал; звучнее пела
Река в померкших берегах.

И ты с веселостью беспечной
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

* * *

В душном воздуха молчанье,
Как предчувствие грозы,
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы...

Чу! за белой, дымной тучей
Глухо прокатился гром;
Небо молнией летучей
Опоясалось кругом...

Жизни некий преизбыток
В знойном воздухе разлит,
Как божественный напиток,
В жилах млеет и горит!

Дева, дева, что волнует
Дымку персей молодых?
Что мутится, что тоскует
Влажный блеск очей твоих?

Что, бледнея, замирает
Пламя девственных ланит?
Что так грудь твою спирает
И уста твои палит?..

Сквозь ресницы шелковые
Проступили две слезы...
Иль то капли дождевые
Зачинающей грозы?..

* * *

Что ты клонишь над водами,
Ива, макушку свою?
И дрожащими листами,
Словно жадными устами,
Ловишь беглую струю?..

Хоть томится, хоть трепещет
Каждый лист твой над струей...
Но струя бежит и плещет,
И, на солнце нежась, блещет,
И смеется над тобой...

* * *

Вечер мглистый и ненастный...
Чу, не жаворонка ль глас?..
Ты ли, утра гость прекрасный,
В этот поздний, мертвый час?
Гибкий, резвый, звучно-ясный,
В этот мертвый, поздний час,
Как безумья смех ужасный,
Он всю душу мне потряс!..

* * *

И гроб опущен уж в могилу,
И всё столпилося вокруг...
Толкутся, дышат через силу,
Спирает грудь тлетворный дух...

И над могилою раскрытой,
В возглавии, где гроб стоит,
Ученый пастор, сановитый,
Речь погребальную гласит...

Вещает бренность человечью,
Грехопаденье, кровь Христа...
И умною, пристойной речью
Толпа различно занята...

А небо так нетленно-чисто,
Так беспредельно над землей...
И птицы реют голосисто
В воздушной бездне голубой...

* * *

Восток белел. Ладья катилась,
Ветрило весело звучало, —
Как опрокинутое небо,
Под нами море трепетало...

Восток алел. Она молилась,
С чела откинув покрывало, —
Дышала на устах молитва,
Во взорах небо ликовало...

Восток вспылал. Она склонилась —
Блестящая поникла выя, —
И по младенческим ланитам
Струились капли огневые...

* * *

Как птичка раннею зарей,
Мир, пробудившись, встрепенулся...
Ах, лишь одной главы моей
Сон благодатный не коснулся!
Хоть свежесть утренняя веет
В моих всклокоченных власах,
На мне, я чую, тяготеет
Вчерашний зной, вчерашний прах!..

О, как пронзительны и дики,
Как ненавистны для меня
Сей шум, движенье, говор, крики
Младого, пламенного дня!..
О, как лучи его багровы,
Как жгут они мои глаза!..
О ночь, ночь, где твои покровы,
Твой тихий сумрак и роса!..

Обломки старых поколений,
Вы, пережившие свой век!
Как ваших жалоб, ваших пеней
Неправый праведен упрек!
Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..

* * *

Какое дикое ущелье!
Ко мне навстречу ключ бежит —
Он в дол спешит на новоселье...
Я лезу вверх, где ель стоит.

Вот взобрался я на вершину,
Сижу здесь радостен и тих...
Ты к людям, ключ, спешишь в долину —
Попробуй, каково у них!

* * *

С поляны коршун поднялся,
Высоко к небу он взвился;
Все выше, дале вьется он,
И вот ушел за небосклон.

Природа-мать ему дала
Два мощных, два живых крыла —
А я здесь в поте и в пыли,
Я, царь земли, прирос к земли!..

* * *

Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всем...

Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся вглубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства — мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!

* * *

О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке —
И роешь и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!..

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!..

* * *

Поток сгустился и тускнеет,
И прячется под твердым льдом,
И гаснет цвет, и звук немеет
В оцепененье ледяном, —
Лишь жизнь бессмертную ключа
Сковать всесильный хлад не может:
Она всё льется — и, журча,
Молчанье мертвое тревожит.

Так и в груди осиротелой,
Убитой хладом бытия,
Не льется юности веселой,
Не блещет резвая струя.—
Но подо льдистою корой
Еще есть жизнь, еще есть ропот —
И внятно слышится порой
Ключа таинственного шепот.

* * *

Там, где горы, убегая,
В светлой тянутся дали,
Пресловутого Дуная
Льются вечные струи...

Там-то, бают, в стары годы,
По лазуревым ночам,
Фей вилися хороводы
Под водой и по водам;

Месяц слушал, волны пели,
И, навесясь с гор крутых,
Замки рыцарей глядели
С сладким ужасом на них.

И лучами неземными,
Заключен и одинок,
Перемигивался с ними
С древней башни огонек.

Звезды в небе им внимали,
Проходя за строем строй,
И беседу продолжали
Тихомолком меж собой.

В панцырь дедовский закован,
Воин-сторож на стене
Слышал, тайно очарован,
Дальный гул как бы во сне.

Чуть дремотой забывался,
Гул яснел и грохотал...
Он с молитвой просыпался
И дозор свой продолжал.

Все прошло, все взяли годы —
Поддался и ты судьбе,
О Дунай, и пароходы
Нынче рыщут по тебе.

* * *

Над виноградными холмами
Плывут златые облака.
Внизу зелеными волнами
Шумит померкшая река.
Взор постепенно из долины,
Подъемлясь, всходит к высотам
И видит на краю вершины
Круглообразный светлый храм.

Там, в горнем неземном жилище,
Где смертной жизни места нет,
И легче и пустынно-чище
Струя воздушная течет.
Туда взлетая, звук немеет,
Лишь жизнь природы там слышна —
И нечто праздничное веет,
Как дней воскресных тишина.

* * *

Сижу задумчив и один,
На потухающий камин
Сквозь слез гляжу...
С тоскою мыслю о былом
И слов в унынии моем
Не нахожу.

Былое — было ли когда?
Что ныне — будет ли всегда?..
Оно пройдет —
Пройдет оно, как всё прошло,
И канет в темное жерло
За годом год.

За годом год, за веком век...
Что ж негодует человек,
Сей злак земной!..
Он быстро, быстро вянет — так,
Но с новым летом новый злак
И лист иной.

И снова будет всё, что есть,
И снова розы будут цвесть,
И терны тож...
Но ты, мой бедный, бледный цвет,
Тебе уж возрожденья нет,
Не расцветешь!

Ты сорван был моей рукой,
С каким блаженством и тоской,
То знает бог!..
Останься ж на груди моей,
Пока любви не замер в ней
Последний вздох.

* * *

Нет, моего к тебе пристрастья
Я скрыть не в силах, мать-Земля!
Духов бесплотных сладострастья,
Твой верный сын, не жажду я.
Что пред тобой утеха рая,
Пора любви, пора весны,
Цветущее блаженство мая,
Румяный свет, златые сны?..

Весь день, в бездействии глубоком,
Весенний, теплый воздух пить,
На небе чистом и высоком
Порою облака следить;
Бродить без дела и без цели
И, ненароком, налету,
Набресть на свежий дух синели
Или на светлую мечту...

* * *

Зима недаром злится,
Прошла ее пора —
Весна в окно стучится
И гонит со двора.

И всё засуетилось,
Все нудит Зиму вон —
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.

Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...

Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя...

Весне и горя мало:
Умылася в снегу,
И лишь румяней стала,
Наперекор врагу.

* * *

Как сладко дремлет сад темнозеленый,
Объятый негой ночи голубой,
Сквозь яблони, цветами убеленной,
Как сладко светит месяц золотой!..

Таинственно, как в первый день созданья,
В бездонном небе звездный сонм горит,
Музыки дальной слышны восклицанья,
Соседний ключ слышнее говорит...

На мир дневной спустилася завеса;
Изнемогло движенье, труд уснул...
Над спящим градом, как в вершинах леса,
Проснулся чудный, еженочный гул...

Откуда он, сей гул непостижимый?..
Иль смертных дум, освобожденных сном,
Мир бестелесный, слышный, но незримый,
Теперь роится в хаосе ночном?..

ФОНТАН

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится;
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.

О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя метет?
Как жадно к небу рвешься ты!..
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.

* * *

Яркий снег сиял в долине:
Снег растаял и ушел;
Вешний злак блестит в долине:
Злак увянет и уйдет.

Но который век белеет
Там, на высях снеговых?
А заря и ныне сеет
Розы свежие на них!..

* * *

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Вы зрите лист и цвет на древе:
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве
Игрою внешних, чуждых сил?..

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат
И жизни нет в морских волнах.

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!

И языками неземными,
Волнуя реки и лèса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза!

Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Увы, души в нем не встревожит
И голос матери самой!

* * *

Еще земли печален вид,
А воздух уж весною дышит,
И мертвый в поле стебль колышет,
И елей ветви шевелит.
Еще природа не проснулась,
Но сквозь редеющего сна
Весну послышала она
И ей невольно улыбнулась...

Душа, душа, спала и ты...
Но что же вдруг тебя волнует,
Твой сон ласкает и целует
И золотит твои мечты?..
Блестят и тают глыбы снега,
Блестит лазурь, играет кровь...
Или весенняя то нега?..
Или то женская любовь?..

* * *

И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении творца!
И смысла нет в мольбе!

* * *

Люблю глаза твои, мой друг,
С игрой их пламенно-чудесной,
Когда их приподымешь вдруг
И словно молнией небесной
Окинешь бегло целый круг...

Но есть сильней очарованья:
Глаза потупленные ниц,
В минуты страстного лобзанья,
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огнь желанья.

* * *

Вчера, в мечтах обвороженных,
С последним месяца лучом
На веждах томно-озаренных,
Ты поздним позабылась сном.

Утихло вкруг тебя молчанье,
И тень нахмурилась темней,
И груди ровное дыханье
Струилось в воздухе слышней.

Но сквозь воздушный завес окон
Недолго лился мрак ночной,
И твой, взвеваясь, сонный локон
Играл с незримою мечтой.

Вот тихоструйно, тиховейно,
Как ветерком занесено,
Дымно-легко, мглисто-лилейно,
Вдруг что-то порхнуло в окно.

Вот невидимкой пробежало
По темно-брезжущим коврам,
Вот, ухватясь за одеяло,
Взбираться стало по краям, —

Вот, словно змейка извиваясь,
Оно на ложе взобралось,
Вот, словно лента развеваясь,
Меж пологами развилось...

Вдруг животрепетным сияньем
Коснувшись персей молодых,
Румяным, громким восклицаньем
Раскрыло шелк ресниц твоих!

29-ое ЯНВАРЯ 1837

Из чьей руки свинец смертельный
Поэту сердце растерзал?
Кто сей божественный фиал
Разрушил, как сосуд скудельный?
Будь прав или виновен он
Пред нашей правдою земною,
Навек он высшею рукою
В *«цареубийцы»* заклеймен.

Но ты, в безвременную тьму
Вдруг поглощенная со света,
Мир, мир тебе, о тень поэта,
Мир светлый праху твоему!..
Назло́ людскому суесловью,
Велик и свят был жребий твой!..
Ты был богов орган живой,
Но с кровью в жилах... знойной кровью.

И сею кровью благородной
Ты жажду чести утолил —
И осененный опочил
Хоругвью горести народной.
Вражду твою пусть Тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь...
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

1-ое ДЕКАБРЯ 1837

Так здесь-то суждено нам было
Сказать последнее прости...
Прости всему, чем сердце жило,—
Что, жизнь твою убив, ее испепелило
В твоей измученной груди!..

Прости... Чрез много, много лет
Ты будешь помнить с содроганьем
Сей край, сей брег с его полуденным сияньем,
Где вечный блеск и долгий цвет,
Где поздних, бледных роз дыханьем
Декабрьский воздух разогрет.

ИТАЛЬЯНСКАЯ VILLA[1]

И распростясь с тревогою житейской,
И кипарисной рощей заслонясь, —
Блаженной тенью, тенью элисейской,
Она заснула в добрый час.

И вот, уж века два тому иль боле,
Волшебною мечтой ограждена,
В своей цветущей опочив юдоле,
На волю неба предалась она.

Но небо здесь к земле так благосклонно!..
И много лет и теплых южных зим
Провеяло над нею полусонно,
Не тронувши ее крылом своим.

Попрежнему в углу фонтан лепечет,
Под потолком гуляет ветерок,
И ласточка влетает и щебечет...
И спит она... и сон ее глубок!..

И мы вошли... всё было так спокойно!
Так всё от века мирно и темно!..
Фонтан журчал... Недвижимо и стройно
Соседний кипарис глядел в окно.

. . . .

Вдруг всё смутилось: судорожный трепет
По ветвям кипарисным пробежал, —
Фонтан замолк — и некий чудный лепет,
Как бы сквозь сон, невнятно прошептал.

[1] Вилла (*итал.*).

Что это, друг? Иль злая жизнь недаром,
Та жизнь, — увы! — что в нас тогда текла,
Та злая жизнь, с ее мятежным жаром,
Через порог заветный перешла?

* * *

Давно ль, давно ль, о Юг блаженный,
Я зрел тебя лицом к лицу —
И ты, как бог разоблаченный,
Доступен был мне, пришлецу?..
Давно ль, — хотя без восхищенья,
Но новых чувств недаром полн, —
И я заслушивался пенья
Великих Средиземных волн!

И песнь их, как *во время оно*,
Полна гармонии была,
Когда из их родного лона
Киприда светлая всплыла...
Они всё те же и поныне —
Всё так же блещут и звучат:
По их лазоревой равнине
Святые призраки скользят.

Но я, я с вами распростился—
Я вновь на Север увлечен...
Вновь надо мною опустился
Его свинцовый небосклон...
Здесь воздух колет. Снег обильный
На высотах и в глубине —
И холод, чародей всесильный,
Один здесь царствует вполне.

Но там, за этим царством вьюги,
Там, там, на рубеже земли,

На золотом, на светлом Юге,
Еще я вижу вас вдали:
Вы блещете еще прекрасней,
Еще лазурней и свежей —
И говор ваш еще согласней
Доходит до души моей!

* * *

С какою негою, с какой тоской влюбленной
Твой взор, твой страстный взор изнемогал на нем!
Бессмысленно-нема... нема, как опаленный
Небесной молнии огнем!

Вдруг от избытка чувств, от полноты сердечной,
Вся трепет, вся в слезах, ты повергалась ниц...
Но скоро добрый сон, младенчески-беспечный,
Сходил на шелк твоих ресниц —

И на руки к нему глава твоя склонялась,
И матери нежней тебя лелеял он...
Стон замирал в устах... дыханье уровнялось —
И тих и сладок был твой сон.

А днесь... О, если бы тогда тебе приснилось,
Что будущность для нас обоих берегла...
Как уязвленная, ты б с воплем пробудилась,
Иль в сон иной бы перешла.

* * *

Смотри, как запад разгорелся
Вечерним заревом лучей,
Восток померкнувший оделся
Холодной, сизой чешуей!
В вражде ль они между собою?
Иль солнце не одно для них
И, неподвижною средою
Деля, не съединяет их?

АРФА СКАЛЬДА

О арфа скальда! долго ты спала
В тени, в пыли забытого угла;
Но лишь луны, очаровавшей мглу,
Лазурный свет блеснул в твоем углу,
Вдруг чудный звон затрепетал в струне,
Как бред души, встревоженной во сне.

Какой он жизнью на тебя дохнул?
Иль старину тебе он вспомянул —
Как по ночам здесь сладострастных дев
Давно минувший вторился напев,
Иль в сих цветущих и поднесь садах
Их легких ног скользил незримый шаг?

ВЕСНА

Как ни гнетет рука судьбины,
Как ни томит людей обман,
Как ни браздят чело морщины
И сердце как ни полно ран;
Каким бы строгим испытаньям
Вы ни были подчинены —
Что устоит перед дыханьем
И первой встречею весны!

Весна... она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле;
Бессмертьем взор ее сияет
И ни морщины на челе.
Своим законам лишь послушна,
В условный час слетает к вам
Светла, блаженно-равнодушна,
Как подобает божествам.

Цветами сыплет над землею,
Свежа, как первая весна;
Была ль другая перед нею —
О том не ведает она:
По небу много облак бродит,
Но эти облака ея;
Она ни следу не находит
Отцветших весен бытия.

Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поет;

Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет, —
И страх кончины неизбежной
Не свеет с древа ни листа:
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.

Игра и жертва жизни частной!
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан!
Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь —
И жизни божеско-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

ДЕНЬ И НОЧЬ

На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканный
Высокой волею богов.
День — сей блистательный покров —
День, земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!

Но меркнет день — настала ночь;
Пришла — и с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами —
Вот отчего нам ночь страшна!

* * *

Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови —
И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви!

Его ты сердца не усвоишь
Своей младенческой душой;
Огня палящего не скроешь
Под легкой девственной фатой.

Поэт всесилен, как стихия,
Не властен лишь в себе самом;
Невольно кудри молодые
Он обожжет своим венцом.

Вотще поносит или хвалит
Его бессмысленный народ...
Он не змеею сердце жалит,
Но как пчела его сосет.

Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесет за облака.

* * *

Живым сочувствием привета
С недостижимой высоты,
О, не смущай, молю, поэта!
Не искушай его мечты!

Всю жизнь в толпе людей затерян,
Порой доступен их страстям,
Поэт, я знаю, суеверен,
Но редко служит он властям.

Перед кумирами земными
Проходит он, главу склонив,
Или стоит он перед ними
Смущен и гордо-боязлив.

Но если вдруг живое слово
С их уст, сорвавшись, упадет
И сквозь величия земного
Вся прелесть женщины мелькнет,

И человеческим сознаньем
Их всемогущей красоты
Вдруг озарятся, как сияньем,
Изящно-дивные черты,—

О, как в нем сердце пламенеет!
Как он восторжен, умилен!
Пускай служить он не умеет, —
Боготворить умеет он!

К ГАНКЕ

Вековать ли нам в разлуке?
Не пора ль очнуться нам
И подать друг другу руки
Нашим кровным и друзьям?

Веки мы слепцами были,
И, как жалкие слепцы,
Мы блуждали, мы бродили,
Разбрелись во все концы.

А случалось ли порою
Нам столкнуться как-нибудь, —
Кровь не раз лилась рекою,
Меч терзал родную грудь.

И вражды безумной семя
Плод сторичный принесло:
Не одно погибло племя
Иль в чужбину отошло.

Иноверец, иноземец
Нас раздвинул, разломил:
Тех обезъязычил немец,
Этих — турок осрамил.

Вот среди сей ночи темной,
Здесь, на пражских высотах,
Доблий муж рукою скромной
Засветил маяк впотьмах.

О, какими вдруг лучами
Озарились все края!
Обличилась перед нами
Вся Славянская земля!

Горы, степи и поморья
День чудесный осиял,
От Невы до Черногорья,
От Карпатов за Урал.

Рассветает над Варшавой,
Киев очи отворил,
И с Москвой золотоглавой
Вышеград заговорил!

И наречий братских звуки
Вновь понятны стали нам, —
Наяву увидят внуки
То, что снилося отцам!

* * *

Глядел я, стоя над Невой,
Как Исаака-великана
Во мгле морозного тумана
Светился купол золотой.

Всходили робко облака
На небо зимнее, ночное,
Белела в мертвенном покое
Оледенелая река.

Я вспомнил, грустно-молчалив,
Как в тех странах, где солнце греет,
Теперь на солнце пламенеет
Роскошный Генуи залив...

О Север, Север-чародей,
Иль я тобою околдован?
Иль в самом деле я прикован
К гранитной полосе твоей?

О, если б мимолетный дух,
Во мгле вечерней тихо вея,
Меня унес скорей, скорее
Туда, туда, на теплый Юг...



Эрн. Ф. ТЮТЧЕВА

Литография Г. Бодмера с оригинала маслом И. фон Штилера 1830-е гг.

КОЛУМБ

Тебе, Колумб, тебе венец!
Чертеж земной ты выполнивший смело
И довершивший, наконец,
Судеб неконченное дело,
Ты за́весу расторг божественной рукой —
И новый мир, неведомый, нежданный,
Из беспредельности туманной
На божий свет ты вынес за собой.

Так связан, съединен от века
Союзом кровного родства
Разумный гений человека
С творящей силой естества...
Скажи заветное он слово —
И миром новым естество
Всегда откликнуться готово
На голос родственный его.

МОРЕ И УТЕС

И бунтует и клокочет,
Хлещет, свищет и ревет,
И до звезд допрянуть хочет,
До незыблемых высот...
Ад ли, адская ли сила
Под клокочущим котлом
Огнь геенский разложила —
И пучину взворотила,
И поставила вверх дном?

Волн неистовых прибоем
Беспрерывно вал морской,
С ревом, свистом, визгом, воем,
Бьет в утес береговой, —
Но спокойный и надменный,
Дурью волн не обуян,
Неподвижный, неизменный,
Мирозданью современный,
Ты стоишь, наш великан!

И озлобленные боем,
Как на приступ роковой,
Снова волны лезут с воем
На гранит громадный твой.
Но о камень неизменный
Бурный натиск преломив,
Вал отбрызнул сокрушенный,
И струится мутной пеной
Обессиленный порыв...

Стой же ты, утес могучий!
Обожди лишь час, другой —
Надоест волне гремучей
Воевать с твоей пятой...
Утомясь потехой злою,
Присмиреет вновь она —
И без вою и без бою
Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна...

* * *

Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой —
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой...
Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда...

* * *

Как он любил родные ели
Своей Савойи дорогой!
Как мелодически шумели
Их ветви над его главой!..
Их мрак торжественно-угрюмый
И дикий, заунывный шум
Какою сладостною думой
Его обворожали ум!..

* * *

Неохотно и несмело
Солнце смотрит на поля.
Чу, за тучей прогремело,
Принахмурилась земля.

Ветра теплого порывы,
Дальный гром и дождь порой...
Зеленеющие нивы
Зеленее под грозой.

Вот пробилась из-за тучи
Синей молнии струя —
Пламень белый и летучий
Окаймил ее края.

Чаще капли дождевые,
Вихрем пыль летит с полей,
И раскаты громовые
Все сердитей и смелей.

Солнце раз еще взглянуло
Исподлобья на поля,
И в сиянье потонула
Вся смятенная земля.

* * *

Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные,
Где мыслил я и чувствовал впервые
И где теперь туманными очами,
При свете вечереющего дня,
Мой детский возраст смотрит на меня.

О бедный призрак, немощный и смутный,
Забытого, загадочного счастья!..
О, как теперь без веры и участья
Смотрю я на тебя, мой гость минутный,
Куда как чужд ты стал в моих глазах,
Как брат меньшой, умерший в пеленах...

Ах, нет, не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем —
Не здесь расцвел, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной.
Ах, и не в эту землю я сложил
Все, чем я жил и чем я дорожил!

* * *

Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют...
Усыпительно-безмолвны,
Как блестят в тиши ночной
Золотистые их волны,
Убеленные луной...

* * *

Когда в кругу убийственных забот
Нам все мерзит — и жизнь, как камней груда,
Лежит на нас, — вдруг, знает бог откуда,
Нам на душу отрадное дохнет,
Минувшим нас обвеет и обнимет
И страшный груз минутно приподнимет.

Так, иногда, осеннею порой,
Когда поля уж пусты, рощи голы,
Бледнее небо, пасмурнее долы,
Вдруг ветр подует, теплый и сырой,
Опавший лист погонит пред собою
И душу нам обдаст как бы весною...

* * *

По равнине вод лазурной
Шли мы верною стезей —
Огнедышащий и бурный
Уносил нас змей морской.

С неба звезды нам светили,
Снизу искрилась волна,
И метелью влажной пыли
Обдавала нас она.

Мы на палубе сидели,
Многих сон одолевал...
Все звучней колеса пели,
Разгребая шумный вал...

Приутих наш круг веселый,
Женский говор, женский шум —
Подпирает локоть белый
Много милых, сонных дум.

Сны играют на просторе
Под магической луной —
И баюкает их море
Тихоструйною волной.

* * *

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,—
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую, порою ночной.

БЛИЗНЕЦЫ

Есть близнецы — для земнородных
Два божества — то Смерть и Сон,
Как брат с сестрою дивно сходных —
Она угрюмей, кротче он...

Но есть других два близнеца —
И в мире нет четы прекрасней,
И обаянья нет ужасней
Ей предающего сердца...

Союз их кровный, не случайный,
И только в роковые дни
Своей неразрешимой тайной
Обворожают нас они.

И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!

НАПОЛЕОН

1

Сын Революции! ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил — и изнемог в борьбе...
Не одолел ее твой гений самовластный!
Бой невозможный! труд напрасный!
Ты всю ее носил в самом себе!..

2

Два демона ему служили —
Две силы чудно в нем слились:
В его главе — орлы парили,
В его груди — змии вились.
Ширококрылых вдохновений
Орлиный, дерзостный полет,
И в самом буйстве дерзновений
Змииной мудрости расчет.
Но освящающая сила,
Непостижимая уму,
Души его не озарила
И не приблизилась к нему...
Он был земной, не божий пламень!
Он гордо плыл — презритель волн!
Но о подводный веры камень
В щепы разбился утлый челн.

3

И ты стоял — перед тобой Россия!..
И, вещий волхв, в предчувствии борьбы,

Ты сам слова промолвил роковые:
«Да сбудутся ее судьбы!..»
И не напрасно было заклинанье —
Судьбы откликнулись на голос твой!
Но новою загадкою в изгнанье
Ты возразил на отзыв роковой.

Года прошли, — и вот из ссылки тесной
На родину вернувшийся мертвец,
На берегах реки, тебе любезной,
Тревожный дух, почил ты, наконец...
Но чуток сон — и по ночам, тоскуя,
Порою встав, ты смотришь на Восток —
И вдруг, смутясь, бежишь, как бы почуя
Передрассветный ветерок.

ПОЭЗИЯ

Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам —
Небесная к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре —
И на бунтующее море
Льет примирительный елей.

* * *

Вновь твои я вижу очи —
И один твой южный взгляд
Киммерийской грустной ночи
Вдруг рассеял сонный хлад...
Воскресает предо мною
Край иной — родимый край —
Словно прадедов виною
Для сынов погибший рай...

Лавров стройных колыханье
Зыблет воздух голубой,
Моря тихое дыханье
Провевает летний зной,
Целый день на солнце зреет
Золотистый виноград,
Баснословной былью веет
Из-под мраморных аркад...

Сновиденьем безобразным
Скрылся север роковой,
Сводом легким и прекрасным
Светит небо надо мной.
Снова жадными очами
Свет живительный я пью
И под чистыми лучами
Край волшебный узнаю.

РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ

Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои младые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои...

И жизнь твоя пройдет незрима,
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле, —
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней беспредельной мгле...

* * *

Как дымный столп светлеет в вышине! —
Как тень внизу скользит неуловима!..
«Вот наша жизнь, — промолвила ты мне, —
Не светлый дым, блестящий при луне,
А эта тень, бегущая от дыма...»

* * *

Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный,
Как золотой покров она свила,
Покров, накинутый над бездной.
И как виденье, внешний мир ушел...
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощен и гол,
Лицом к лицу пред пропастию темной.

На самого себя покинут он —
Упразднен ум, и мысль осиротела —
В душе своей, как в бездне, погружен,
И нет извне опоры ни предела...
И чудится давно минувшим сном
Ему теперь все светлое, живое...
И в чуждом, неразгаданном, ночном
Он узнает наследье родовое.

РИМ НОЧЬЮ

В ночи лазурной почивает Рим.
Взошла луна и овладела им —
И спящий град, безлюдно-величавый,
Наполнила своей безмолвной славой...

Как сладко дремлет Рим в ее лучах!
Как с ней сроднился Рима вечный прах!..
Как будто лунный мир и град почивший —
Все тот же мир, волшебный, но отживший!..

* * *

Кончен пир, умолкли хоры,
Опорожнены амфоры,
Опрокинуты корзины,
Не допиты в кубках вины,
На главах венки измяты, —
Лишь курятся ароматы
В опустевшей светлой зале...
Кончив пир, мы поздно встали,
Звезды на небе сияли,
Ночь достигла половины...

Как над беспокойным градом,
Над дворцами, над домами,
Шумным уличным движеньем,
С тускло-рдяным освещеньем,
И бессонными толпами, —
Как над этим дольным чадом,
В горнем выспреннем пределе,
Звезды чистые горели,
Отвечая смертным взглядам
Непорочными лучами...

* * *

Пошли, господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по жаркой мостовой;

Кто смотрит вскользь через ограду
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных, светлых луговин.

Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись,
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.

Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана
Главы его не освежит.

Пошли, господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по знойной мостовой.

НА НЕВЕ

И опять звезда ныряет
В легкой зыби невских волн,
И опять любовь вверяет
Ей таинственный свой челн.

И меж зыбью и звездою
Он скользит, как бы во сне,
И два призрака с собою
Вдаль уносит по волне.

Дети ль это праздной лени
Тратят здесь досуг ночной?
Иль блаженные две тени
Покидают мир земной?

Ты, разлитая как море,
Пышно-струйная волна,
Приюти в твоем просторе
Тайну скромного челна!

* * *

Как ни дышит полдень знойный
В растворенное окно,
В этой храмине спокойной,
Где все тихо и темно,

Где живые благовонья
Бродят в сумрачной тени,
В сладкий сумрак полусонья
Погрузись и отдохни.

Здесь фонтан неутомимый
День и ночь поет в углу
И кропит росой незримой
Очарованную мглу.

И в мерцанье полусвета,
Тайной страстью занята,
Здесь влюбленного поэта
Веет легкая мечта.

* * *

Не рассуждай, не хлопочи!..
Безумство ищет, глупость судит;
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, то будет.

Живя, умей *все* пережить:
Печаль, и радость, и тревогу —
Чего желать? О чем тужить?
День пережит — и слава богу!

* * *

Под дыханьем непогоды,
Вздувшись, потемнели воды
И подернулись свинцом —
И сквозь глянец их суровый
Вечер пасмурно-багровый
Светит радужным лучом.

Сыплет искры золотые,
Сеет розы огневые
И уносит их поток.
Над волной темнолазурной
Вечер пламенный и бурный
Обрывает свой венок...

* * *

Обвеян вещею дремотой,
Полураздетый лес грустит...
Из летних листьев разве сотый,
Блестя осенней позолотой,
Еще на ветви шелестит.

Гляжу с участьем умиленным,
Когда, пробившись из-за туч,
Вдруг по деревьям испещренным,
С их ветхим листьем изнуренным,
Молниевидный брызнет луч.

Как увядающее мило!
Какая прелесть в нем для нас,
Когда что так цвело и жило,
Теперь, так немощно и хило,
В последний улыбнется раз!..

ДВА ГОЛОСА

1

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и оне.

Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы, для них есть конец.

2

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.

Пускай Олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

* * *

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел — спроси и сведай,
Что уцелело от нея?

Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Все опалили, выжгли слезы
Горючей влагою своей.

Ты помнишь ли, при вашей встрече,
При первой встрече роковой,
Ее волшебный взор и речи,
И смех младенчески-живой?

И что ж теперь? И где все это?
И долговечен ли был сон?
Увы, как северное лето,
Был мимолетным гостем он!

Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!

Жизнь отреченья, жизнь страданья!
В ее душевной глубине
Ей оставались вспоминанья...
Но изменили и оне.

И на земле ей дико стало,
Очарование ушло...
Толпа, нахлынув, в грязь втоптала
То, что в душе ее цвело.

И что ж от долгого мученья,
Как пепл, сберечь ей удалось?
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!

О, как убийственно мы любим!
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

* * *

Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во всеобъемлющее море
За льдиной льдина вслед плывет.

На солнце ль радужно блистая,
Иль ночью в поздней темноте,
Но все, неизбежимо тая,
Они плывут к одной мете.

Все вместе — малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все — безразличны, как стихия, —
Сольются с бездной роковой!..

О нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое Я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?

ПЕРВЫЙ ЛИСТ

Лист зеленеет молодой.
Смотри, как листьем молодым
Стоят обвеяны березы,
Воздушной зеленью сквозной,
Полупрозрачною, как дым...

Давно им грезилось весной,
Весной и летом золотым, —
И вот живые эти грезы,
Под первым небом голубым,
Пробились вдруг на свет дневной...

О, первых листьев красота,
Омытых в солнечных лучах,
С новорожденною их тенью!
И слышно нам по их движенью,
Что в этих тысячах и тьмах
Не встретишь мертвого листа.

НАШ ВЕК

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он
И жаждет веры... но о ней не просит...

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! — Я верю, боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

ВОЛНА И ДУМА

Дума за думой, волна за волной —
Два проявленья стихии одной:
В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,
Здесь — в заключении, там — на просторе,
Тот же все вечный прибой и отбой,
Тот же все призрак тревожно-пустой.

* * *

Не остывшая от зною,
Ночь июльская блистала...
И над тусклою землею
Небо, полное грозою,
Все в зарницах трепетало...

Словно тяжкие ресницы
Подымались над землею,
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загоралися порою...

* * *

В разлуке есть высокое значенье —
Как ни люби, хоть день один, хоть век,
Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье,
А должен, наконец, проснуться человек...

* * *

Как весел грохот летних бурь,
Когда, взметая прах летучий,
Гроза, нахлынувшая тучей,
Смутит небесную лазурь
И опрометчиво-безумно
Вдруг на дубраву набежит,
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно!..

Как под незримою пятой
Лесные гнутся исполины;
Тревожно ропщут их вершины,
Как совещаясь меж собой, —
И сквозь внезапную тревогу
Немолчно слышен птичий свист,
И кой-где первый желтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу...

ВЕНЕЦИЯ

Дож Венеции свободной
Средь лазоревых зыбей,
Как жених порфирородный,
Достославно, всенародно
Обручался ежегодно
С Адриатикой своей.

И недаром в эти воды
Он кольцо свое бросал:
Веки целые, не годы
(Дивовалися народы),
Чудный перстень воеводы
Их вязал и чаровал...

И чета в любви и мире
Много славы нажила —
Века три или четыре,
Все могучее и шире,
Разрасталась в целом мире
Тень от *львиного крыла*.

А теперь?
В волнах забвенья
Сколько брошенных колец!..
Миновались поколенья, —
Эти кольца обрученья,
Эти кольца стали звенья
Тяжкой цепи, наконец!..

* * *

День вечереет, ночь близка,
Длинней с горы ложится тень,
На небе гаснут облака...
Уж поздно. Вечереет день.

Но мне не страшен мрак ночной,
Не жаль скудеющего дня, —
Лишь ты, волшебный призрак мой,
Лишь ты не покидай меня!..

Крылом своим меня одень,
Волненья сердца утиши,
И благодатна будет тень
Для очарованной души.

Кто ты? Откуда? Как решить,
Небесный ты или земной?
Воздушный житель, может быть, —
Но с страстной женскою душой.

●

* * *

Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
    Пройдет ли обморок духовный?

    Но если бы душа могла
Здесь, на земле, найти успокоенье,
    Мне благодатью ты б была —
Ты, ты, мое земное провиденье!..

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Любовь, любовь — гласит преданье —
Союз души с душой родной —
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И... поединок роковой...

И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет, наконец...

* * *

Недаром милосердым богом
Пугливой птичка создана —
Спасенья верного залогом
Ей робость чуткая дана.

И нет для бедной пташки проку
В свойстве с людьми, с семьей людской...
Чем ближе к ним, тем ближе к Року —
Несдобровать под их рукой...

Вот птичку девушка вскормила
От первых перышек, с гнезда,
Взлелеяла ее, взрастила
И не жалела, не щадила
Для ней ни ласки, ни труда.

Но как, с любовию тревожной,
Ты, дева, ни пеклась о ней,
Наступит день, день непреложный —
Питомец твой неосторожный
Погибнет от руки твоей...

* * *

Не говори: меня он, как и прежде, любит,
Мной, как и прежде, дорожит...
О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит,
Хоть, вижу, нож в руке его дрожит.

То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя,
Увлечена, в душе уязвлена,
Я стражду, не живу... им, им одним живу я —
Но эта жизнь!.. о, как горька она!

Он мерит воздух мне так бережно и скудно...
Не мерят так и лютому врагу...
Ох, я дышу еще болезненно и трудно,
Могу дышать, но жить уж не могу.

* * *

О, не тревожь меня укорой справедливой!
Поверь, из нас из двух завидней часть твоя:
Ты любишь искренно и пламенно, а я —
Я на тебя гляжу с досадою ревнивой.

И, жалкий чародей перед волшебным миром,
Мной созданным самим, без веры я стою —
И самого себя, краснея, сознаю
Живой души твоей безжизненным кумиром.

* * *

Чему молилась ты с любовью,
Что как святыню берегла,
Судьба людскому суесловью
На поруганье предала.

Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище души твоей,
И ты невольно постыдилась
И тайн и жертв, доступных ей.

Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Ее спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской!

* * *

Я очи знал, — о, эти очи!
Как я любил их — знает бог!
От их волшебной, страстной ночи
Я душу оторвать не мог.

В непостижимом этом взоре,
Жизнь обнажающем до дна,
Такое слышалося горе,
Такая страсти глубина!

Дышал он грустный, углубленный
В тени ресниц ее густой,
Как наслажденье, утомленный
И, как страданье, роковой.

И в эти чудные мгновенья
Ни разу мне не довелось
С ним повстречаться без волненья
И любоваться им без слез.

* * *

Не раз ты слышала признанье:
«Не стою я любви твоей».
Пускай мое она созданье —
Но как я беден перед ней...

Перед любовию твоею
Мне больно вспомнить о себе —
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюся тебе...

Когда, порой, так умиленно,
С такою верой и мольбой
Невольно клонишь ты колено
Пред колыбелью дорогой,

Где спит *она* — твое рожденье —
Твой безыменный херувим, —
Пойми ж и ты мое смиренье
Пред сердцем любящим твоим.

* * *

Mobile comme l'onde[1]

Ты, волна моя морская,
Своенравная волна,
Как, покоясь иль играя,
Чудной жизни ты полна!

Ты на солнце ли смеешься,
Отражая неба свод,
Иль мятешься ты и бьешься
В одичалой бездне вод, —

Сладок мне твой тихий шепот,
Полный ласки и любви;
Внятен мне и буйный ропот,
Стоны вещие твои.

Будь же ты в стихии бурной
То угрюма, то светла,
Но в ночи твоей лазурной
Сбереги, что ты взяла.

Не кольцо, как дар заветный,
В зыбь твою я опустил,
И не камень самоцветный
Я в тебе похоронил.

Нет — в минуту роковую,
Тайной прелестью влеком,
Душу, душу я живую
Схоронил на дне твоем.

---

[1] Непостоянная, как волна (*франц.*).



Е. А. ДЕНИСЬЕВА

Акварель 1850-е годы.

ПАМЯТИ В. А. ЖУКОВСКОГО

1

Я видел вечер твой. Он был прекрасен!
В последний раз прощаяся с тобой,
Я любовался им: и тих, и ясен,
И весь насквозь проникнут теплотой...
О, как они и грели и сияли —
Твои, поэт, прощальные лучи...
А между тем заметно выступали
Уж звезды первые в его ночи...

2

В нем не было ни лжи, ни раздвоенья —
Он всё в себе мирил и совмещал.
С каким радушием благоволенья
Он были мне Омировы читал...
Цветущие и радужные были
Младенческих первоначальных лет...
А звезды между тем на них сводили
Таинственный и сумрачный свой свет...

3

Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был, хоть мудрости змииной
Не презирал, понять ее умел,

Но веял в нем дух чисто голубиный.
И этою духовной чистотою
Он возмужал, окреп и просветлел.
Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел...

4

И этот-то души высокий строй,
Создавший жизнь его, проникший лиру,
Как лучший плод, как лучший подвиг свой,
Он завещал взволнованному миру...
Поймет ли мир, оценит ли его?
Достойны ль мы священного залога?
Иль не про нас сказало божество:
«Лишь сердцем чистые, те узрят бога!»

* * *

Сияет солнце, воды блещут,
На всем улыбка, жизнь во всем,
Деревья радостно трепещут,
Купаясь в небе голубом.

Поют деревья, блещут воды,
Любовью воздух растворен,
И мир, цветущий мир природы,
Избытком жизни упоен.

Но и в избытке упоенья
Нет упоения сильней
Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей...

* * *

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит —
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован, —
Не мертвец и не живой —
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой...

Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой —
В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.

НЕМАН

Ты ль это, Неман величавый?
Твоя ль струя передо мной?
Ты столько лет, с такою славой,
России верный часовой?..
Один лишь раз, по воле бога,
Ты супостата к ней впустил —
И целость русского порога
Ты тем навеки утвердил...

Ты помнишь ли былое, Неман?
Тот день годины роковой,
Когда стоял он над тобой,
Он сам — могучий, южный демон, —
И ты, как ныне, протекал,
Шумя под вражьими мостами,
И он струю твою ласкал
Своими чудными очами?..

Победно шли его полки,
Знамена весело шумели,
На солнце искрились штыки,
Мосты под пушками гремели —
И с высоты, как некий бог,
Казалось, он парил над ними
И двигал всем и всё стерег
Очами чудными своими...

Лишь одного он не видал...
Не видел он, воитель дивный,

Что там, на стороне противной,
Стоял *Другой* — стоял... и ждал...
И мимо проходила рать —
Всё грозно-боевые лица,
И неизбежная Десница
Клала на них свою печать...

И так победно шли полки,
Знамена гордо развевались,
Струились молнией штыки,
И барабаны заливались...
Несметно было их число —
И в этом бесконечном строе
Едва ль десятое чело
Клеймо минуло роковое...

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье,—
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.

ЛЕТО 1854

Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство —
И как, прошу, далось нам это
Так ни с того и ни с сего?..

Гляжу тревожными глазами
На этот блеск, на этот свет...
Не издеваются ль над нами?
Откуда нам такой привет?..

Увы, не так ли молодая
Улыбка женских уст и глаз,
Не восхищая, не прельщая,
Под старость лишь смущает нас!..

* * *

Увы, что нашего незнанья
И беспомощней и грустней?
Кто смеет молвить: *до свиданья,*
Чрез бездну двух или трех дней?

* * *

Пламя рдеет, пламя пышет,
Искры брызжут и летят,
А на них прохладой дышит
Из-за речки темный сад.
Сумрак тут, там жар и крики, —
Я брожу как бы во сне, —
Лишь одно я живо чую:
Ты со мной и вся во мне.

Треск за треском, дым за дымом,
Трубы голые торчат,
А в покое нерушимом
Листья веют и шуршат.
Я, дыханьем их обвеян,
Страстный говор твой ловлю...
Слава богу, я с тобою,
А с тобой мне как в раю.

* * *

Так, в жизни есть мгновения —
    Их трудно передать,
Они самозабвения
    Земного благодать.
Шумят верхи древесные
    Высоко надо мной,
И птицы лишь небесные
    Беседуют со мной.
Всё пошлое и ложное
    Ушло так далеко,
Всё мило-невозможное
    Так близко и легко.
И любо мне, и сладко мне,
    И мир в моей груди,
Дремотою обвеян я —
    О время, погоди!

* * *

Вот от моря и до моря
Нить железная скользит,
Много славы, много горя
Эта нить порой гласит.

И, за ней следя глазами,
Путник видит, как порой
Птицы вещие садятся
Вдоль по нити вестовой.

Вот с поляны ворон черный
Прилетел и сел на ней,
Сел, и каркнул, и крылами
Замахал он веселей.

И кричит он, и ликует,
И кружится всё над ней:
Уж не кровь ли ворон чует
Севастопольских вестей?

* * *

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.

* * *

О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Так, ты жилица двух миров,
Твой день — болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески-неясный,
Как откровение духов...

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые,—
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

1856

Стоим мы слепо пред Судьбою.
Не нам сорвать с нее покров...
Я не *свое* тебе открою,
А бред пророческий духов...

Еще нам далеко до цели,
Гроза ревет, гроза растет, —
И вот — в железной колыбели,
В громах родился Новый Год...

Черты его ужасно строги,
Кровь на руках и на челе...
Но не одни войны тревоги
Принес он людям на земле.

Не просто будет он воитель,
Но исполнитель божьих кар, —
Он совершит, как поздний мститель,
Давно задуманный удар...

Для битв он послан и расправы,
С собой принес он два меча:
Один — сражений меч кровавый,
Другой — секиру палача.

Но для кого?.. Одна ли выя,
Народ ли целый обречен?..
Слова неясны роковые.
И смутен замогильный сон...

* * *

Всё, что сберечь мне удалось —
Надежды, веры и любви,
В одну молитву все слилось:
Переживи, переживи!

III.

Смотри какъ роща зеленѣетъ,
Палящимъ Солнцемъ облита —
А въ ней какою негой вѣетъ
Отъ каждой вѣтки и листа. —

Войдемъ и сядемъ надъ корнями
Деревъ, поимыхъ родникомъ, —
Тамъ, гдѣ обвѣянный ихъ мглами,
Онъ шепчетъ въ сумракѣ нѣмомъ —

Надъ нами бредятъ ихъ вершины
Въ полдневный зной погружены —
И лишь порою крикъ орлиный
До насъ доходитъ съ вышины . . .

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ

«Смотри как роща зеленеет...»
1857 г.

Н. Ф. ЩЕРБИНЕ

Вполне понятно мне значенье
Твоей болезненной мечты,
Твоя борьба, твое стремленье,
Твое тревожное служенье
Пред идеалом красоты...

Так узник эллинский, порою
Забывшись сном среди степей,
Под скифской выогой снеговою
Свободой бредил золотою
И небом Греции своей.

⟨ПАМЯТИ В. А. ЖУКОВСКОГО⟩

Прекрасный день его на Западе исчез,
Полнеба обхватив бессмертною зарею,
А он из глубины полуночных небес —
Он сам глядит на нас пророческой звездою.

* * *

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..

Блеснет твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,

Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет,—
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа...

* * *

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё — простор везде,—
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь —
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

* * *

Смотри, как роща зеленеет,
Палящим солнцем облита,
А в ней какою негой веет
От каждой ветки и листа!

Войдем и сядем над корнями
Дерев, поимых родником, —
Там, где, обвеянный их мглами,
Он шепчет в сумраке немом.

Над нами бредят их вершины,
В полдневный зной погружены, —
И лишь порою крик орлиный
До нас доходит с вышины...

* * *

Когда *осьмнадцать лет* твои
И для тебя уж будут сновиденьем,—
С любовью, с тихим умиленьем
И их и *нас* ты помяни...

* * *

В часы, когда бывает
Так тяжко на груди,
И сердце изнывает,
И тьма лишь впереди;

Без сил и без движенья,
Мы так удручены,
Что даже утешенья
Друзей нам не смешны, —

Вдруг солнца луч приветный
Войдет украдкой к нам
И брызнет огнецветной
Струею по стенам;

И с тверди благосклонной,
С лазуревых высот
Вдруг воздух благовонный
В окно на нас пахнет...

Уроков и советов
Они нам не несут,
И от судьбы наветов
Они нас не спасут.

Но силу их мы чуем,
Их слышим благодать,
И меньше мы тоскуем,
И легче нам дышать...

Так мило-благодатна,
Воздушна и светла,
Душе моей стократно
Любовь твоя была.

* * *

Она сидела на полу
И груду писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.

Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...

О, сколько жизни было тут,
Невозвратимо пережитой!
О, сколько горестных минут,
Любви и радости убитой!..

Стоял я молча в стороне
И пасть готов был на колени, —
И страшно грустно стало мне,
Как от присущей милой тени.

* * *

Осенней позднею порою
Люблю я царскосельский сад,
Когда он тихой полумглою
Как бы дремотою объят —
И белокрылые виденья,
На тусклом озера стекле,
В какой-то неге онеменья
Коснеют в этой полумгле...

И на порфирные ступени
Екатерининских дворцов
Ложатся сумрачные тени
Октябрьских ранних вечеров —
И сад темнеет, как дуброва,
И при звездах из тьмы ночной,
Как отблеск славного былого,
Выходит купол золотой...

НА ВОЗВРАТНОМ ПУТИ

1

Грустный вид и грустный час —
Дальний путь торопит нас...
Вот, как призрак гробовой,
Месяц встал — и из тумана
Осветил безлюдный край...
Путь далек — не унывай...

Ах, и в этот самый час,
Там, где нет теперь уж нас,
Тот же месяц, но живой,
Дышит в зеркале Лемана...
Чудный вид и чудный край —
Путь далек — не вспоминай...

2

Родной ландшафт... Под дымчатым навесом
Огромной тучи снеговой
Синеет даль — с ее угрюмым лесом,
Окутанным осенней мглой...
Всё голо так — и пусто-необъятно
В однообразии немом...
Местами лишь просвечивают пятна
Стоячих вод, покрытых первым льдом.

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —
Жизнь отошла — и, покорясь судьбе,
В каком-то забытьи изнеможенья,
Здесь человек лишь снится сам себе.
Как свет дневной, его тускнеют взоры,
Не верит он, хоть видел их вчера,
Что есть края, где радужные горы
В лазурные глядятся озера...

ДЕКАБРЬСКОЕ УТРО

На небе месяц — и ночная
Еще не тронулася тень,
Царит себе, не сознавая,
Что вот уж встрепенулся день, —

Что хоть лениво и несмело
Луч возникает за лучом,
А небо так еще всецело
Ночным сияет торжеством.

Но не пройдет двух-трех мгновений,
Ночь испарится над землей,
И в полном блеске проявлений
Вдруг нас охватит мир дневной...

Е. Н. АННЕНКОВОЙ

И в нашей жизни повседневной
Бывают радужные сны,
В край незнакомый, в мир волшебный,
И чуждый нам и задушевный,
Мы ими вдруг увлечены.

Мы видим: с голубого своду
Нездешним светом веет нам,
Другую видим мы природу,
И без заката, без восходу
Другое солнце светит там...

Все лучше там, светлее, шире,
Так от земного далеко...
Так разно с тем, что в нашем мире,
И в чистом пламенном эфире
Душе так родственно-легко.

Проснулись мы, — конец виденью,
Его ничем не удержать,
И тусклой, неподвижной тенью,
Вновь обреченных заключенью,
Жизнь обхватила нас опять.

Но долго звук неуловимый
Звучит над нами в вышине,
И пред душой, тоской томимой,
Все тот же взор неотразимый,
Все та ж улыбка, что во сне.

* * *

Хоть я и свил гнездо в долине,
Но чувствую порой и я,
Как животворно на вершине
Бежит воздушная струя, —
Как рвется из густого слоя,
Как жаждет горних наша грудь,
Как всё удушливо-земное
Она хотела б оттолкнуть!

На недоступные громады
Смотрю по целым я часам, —
Какие росы и прохлады
Оттуда с шумом льются к нам!
Вдруг просветлеют огнецветно
Их непорочные снега:
По ним проходит незаметно
Небесных ангелов нога...

НА ЮБИЛЕЙ
КНЯЗЯ
ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА ВЯЗЕМСКОГО

У музы есть различные пристрастья,
Дары ее даются не равно;
Стократ она божественнее счастья,
Но своенравна, как оно.

Иных она лишь на заре лелеет,
Целует шелк их кудрей молодых,
Но ветерок чуть жарче лишь повеет —
И с первым сном она бежит от них.

Тем у ручья, на луговине тайной,
Нежданная, является порой,
Порадует улыбкою случайной,
Но после первой встречи нет второй.

Не то от ней присуждено вам было:
Вас юношей настигнув в добрый час,
Она в душе вас крепко полюбила
И долго всматривалась в вас.

Досужая, она не мимоходом
Пеклась о вас, ласкала, берегла,
Растила ваш талант, и с каждым годом
Любовь ее нежнее все была.

И как с годами крепнет, пламенея,
Сок благородный виноградных лоз, —
И в кубок ваш все жарче и светлее
Так вдохновение лилось.

И никогда таким вином, как ныне,
Ваш славный кубок венчан не бывал.
Давайте ж, князь, подымем в честь богине
Ваш полный, пенистый фиал!

Богине в честь, хранящей благородно
Залог всего, что свято для души,
Родную речь... расти она свободно
И подвиг свой великий доверши!

Потом мы все, в молитвенном молчанье,
Священные поминки сотворим,
Мы сотворим тройное возлиянье
Трем незабвенно-дорогим.

Нет отклика на голос, их зовущий,
Но в светлый праздник ваших именин
Кому ж они не близки, не присущи —
Жуковский, Пушкин, Карамзин!..

Так верим мы, незримыми гостями
Теперь они, покинув горний мир,
Сочувственно витают между нами
И освящают этот пир.

За ними, князь, во имя музы вашей,
Подносим вам заздравное вино,
И долго-долго в этой светлой чаше
Пускай кипит и искрится оно!..

* * *

Я знал ее еще тогда,
В те баснословные года,
Как перед утренним лучом
Первоначальных дней звезда
Уж тонет в небе голубом...

И всё еще была она
Той свежей прелести полна,
Той дорассветной темноты,
Когда, незрима, неслышна,
Роса ложится на цветы...

Вся жизнь ее тогда была
Так совершенна, так цела
И так среде земной чужда,
Что, мнится, и она ушла
И скрылась в небе, как звезда.

КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Теперь не то, что за полгода,
Теперь не тесный круг друзей,—
Сама великая природа
Ваш торжествует юбилей...

Смотрите, на каком просторе
Она устроила свой пир —
Весь этот берег, это море,
Весь этот чудный летний мир...

Смотрите, как, облитый светом,
Ступив на крайнюю ступень,
С своим прощается поэтом
Великолепный этот день...

Фонтаны плещут тиховейно,
Прохладой сонной дышит сад —
И так над вами юбилейно
Петровы липы здесь шумят...

* * *

Играй, покуда над тобою
Еще безоблачна лазурь;
Играй с людьми, играй с судьбою,
Ты — жизнь, назначенная к бою,
Ты — сердце, жаждущее бурь.

Как часто, грустными мечтами
Томимый, на тебя гляжу,
И взор туманится слезами...
Зачем? Что общего меж нами?
Ты жить идешь — я ухожу.

Я слышал утренние грезы
Лишь пробудившегося дня...
Но поздние, живые грозы,
Но взрыв страстей, но страсти слезы —
Нет, это все не для меня!

Но, может быть, под зноем лета
Ты вспомнишь о своей весне...
О, вспомни и про время это,
Как о забытом до рассвета
Нам смутно грезившемся сне.

ПРИ ПОСЫЛКЕ НОВОГО ЗАВЕТА

Не легкий жребий, не отрадный,
Был вынут для тебя судьбой,
И рано с жизнью беспощадной
Вступила ты в неравный бой.

Ты билась с мужеством немногих,
И в этом роковом бою
Из испытаний самых строгих
Всю душу вынесла свою.

Нет, жизнь тебя не победила,
И ты в отчаянной борьбе
Ни разу, друг, не изменила
Ни правде сердца, ни себе.

Но скудны все земные силы:
Рассвирепеет жизни зло —
И нам, как на краю могилы,
Вдруг станет страшно тяжело.

Вот в эти-то часы с любовью
О книге сей ты вспомяни —
И всей душой, как к изголовью,
К ней припади и отдохни.

⟨А. А. ФЕТУ⟩

Иным достался от природы
Инстинкт пророчески-слепой:
Они им чуют, слышат воды
И в темной глубине земной...

Великой матерью любимый,
Стократ завидней твой удел:
Не раз под оболочкой зримой
Ты самоё ее узрел...

Н. И. КРОЛЮ

Сентябрь холодный бушевал,
С деревьев ржавый лист валился,
День потухающий дымился,
Сходила ночь, туман вставал.

И всё для сердца и для глаз
Так было холодно-бесцветно,
Так было грустно-безответно, —
Но чья-то песнь вдруг раздалась...

И вот, каким-то обаяньем,
Туман, свернувшись, улетел,
Небесный свод поголубел
И вновь подернулся сияньем...

И всё опять зазеленело,
Всё обратилося к весне...
И эта греза снилась мне,
Пока мне птичка ваша пела.

⟨Н. С. АКИНФИЕВОЙ⟩

Как летней иногда порою
Вдруг птичка в комнату влетит,
И жизнь и свет внесет с собою,
Всё огласит и озарит;

Весь мир, цветущий мир природы,
В наш угол вносит за собой —
Зеленый лес, живые воды
И отблеск неба голубой, —

Так мимолетной и воздушной
Явилась гостьей к нам она,
В наш мир и чопорный и душный,
И пробудила всех от сна.

Ее присутствием согрета,
Жизнь встрепенулася живей,
И даже питерское лето
Чуть не оттаяло при ней.

При ней и старость молодела
И опыт стал учеником,
Она вертела, как хотела,
Дипломатическим клубком.

И самый дом наш будто ожил,
Ее жилицею избрав,

И нас уж менее тревожил
Неугомонный телеграф.

Но кратки все очарованья,
Им не дано у нас гостить,
И вот сошлись мы для прощанья, —
Но долго, долго не забыть

Нежданно-милых впечатлений,
Те ямки розовых ланит,
Ту негу стройную движений
И стан, оправленный в магнит,

Радушный смех и звучный голос,
Полулукавый свет очей,
И этот длинный тонкий волос,
Едва доступный пальцам фей.

* * *

Весь день она лежала в забытьи,
И всю ее уж тени покрывали.
Лил теплый летний дождь — его струи
    По листьям весело звучали.

И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала — увлечена,
Погружена в сознательную думу...

И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно она проговорила
(Я был при ней, убитый, но живой):
    «О, как всё это я любила!»

. . . .

Любила ты, и так, как ты, любить —
Нет, никому еще не удавалось!
О господи!.. и это *пережить*...
И сердце на клочки не разорвалось...

* * *

Утихла биза... Легче дышит
Лазурный сонм женевских вод —
И лодка вновь по ним плывет,
И снова лебедь их колышет.

Весь день, как летом, солнце греет,
Деревья блещут пестротой,
И воздух ласковой волной
Их пышность ветхую лелеет.

А там, в торжественном покое,
Разоблаченная с утра,
Сияет Белая Гора,
Как откровенье неземное.

Здесь сердце так бы все забыло,
Забыло б муку всю свою,
Когда бы там — в родном краю —
Одной могилой меньше было...

* * *

Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней,—
Мы смотрим с трепетом тревожным
На тихий свет ее очей.

Земное ль в ней очарованье,
Иль неземная благодать?
Душа хотела б ей молиться,
А сердце рвется обожать...

* * *

О, этот юг! о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...
Нет ни полета, ни размаху —
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...

ENCYCLICA[1]

Был день, когда господней правды молот
Громил, дробил ветхозаветный храм,
И, собственным мечом своим заколот,
В нем издыхал первосвященник сам.

Еще страшней, еще неумолимей
И в наши дни — дни божьего суда —
Свершится казнь в отступническом Риме
Над лженаместником Христа.

Столетья шли, ему прощалось много,
Кривые толки, темные дела,
Но не простится правдой бога
Его последняя хула...

Не от меча погибнет он земного,
Мечом земным владевший столько лет, —
Его погубит роковое слово:
«*Свобода совести есть бред!*»

---

[1] Энциклика, то есть папское послание (*лат.*).

* * *

Как хорошо ты, о море ночное, —
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно...

На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром...
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлюдье ночном!

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты.

В этом волнении, в этом сиянье,
Весь, как во сне, я потерян стою —
О, как охотно бы в их обаянье
Всю потопил бы я душу свою...

* * *

Когда на то нет божьего согласья,
Как ни страдай она, любя, —
Душа, увы, не выстрадает счастья,
Но может выстрадать себя...

Душа, душа, которая всецело
Одной заветной отдалась любви
И ей одной дышала и болела,
Господь тебя благослови.

Он милосердый, всемогущий,
Он греющий своим лучом
И пышный цвет, на воздухе цветущий,
И чистый перл на дне морском.

* * *

Есть и в моем страдальческом застое
Часы и дни ужаснее других...
Их тяжкий гнет, их бремя роковое
Не выскажет, не выдержит мой стих.

Вдруг всё замрет. Слезам и умиленью
Нет доступа, все пусто и темно,
Минувшее не веет легкой тенью,
А под землей, как труп, лежит оно.

Ах, и над ним в действительности ясной,
Но без любви, без солнечных лучей,
Такой же мир бездушный и бесстрастный,
Не знающий, не помнящий о ней.

И я один, с моей тупой тоскою,
Хочу сознать себя и не могу —
Разбитый челн, заброшенный волною,
На безыменном диком берегу.

О господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассей:
Ты взял *ее*, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней, —

По ней, по ней, свой подвиг совершившей
Весь до конца в отчаянной борьбе,
Так пламенно, так горячо любившей
Наперекор и людям и судьбе:

По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить,
По ней, по ней, так до конца умевшей
Страдать, молиться, верить и любить.

⟨ПАМЯТИ М. В. ЛОМОНОСОВА⟩

Он, умирая, сомневался,
Зловещей думою томим...
Но бог недаром в нем сказался —
Бог верен избранным своим...

Сто лет прошли в труде и горе —
И вот, мужая с каждым днем,
Родная Речь уж на просторе
Поминки празднует по нем...

Уж не опутанная боле,
От прежних уз отрешена,
На всей своей разумной воле
Его приветствует она...

И мы, признательные внуки,
Его всем подвигам благим
Во имя Правды и Науки
Здесь *память вечную* гласим.

Да, велико его значенье —
Он, верный Русскому уму,
Завоевал нам Просвещенье,
Не нас поработил ему, —

Как тот борец ветхозаветный,
Который с Силой неземной
Боролся до звезды рассветной
И устоял в борьбе ночной.

* * *

Est in arundineis modulatio musica ripis[1]

Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких камышах.

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, —
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

[1] Есть музыкальная стройность в прибрежных тростниках (*лат.*).

ДРУГУ МОЕМУ Я. П. ПОЛОНСКОМУ

Нет боле искр живых на голос твой приветный —
Во мне глухая ночь и нет для ней утра...
И скоро улетит — во мраке незаметный —
Последний, скудный дым с потухшего костра.

* * *

Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того блаженно-рокового дня,
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.

И вот уж год, без жалоб, без упреку,
Утратив все, приветствую судьбу...
Быть до конца так страшно одиноку,
Как буду одинок в своем гробу.

* * *

Молчит сомнительно Восток,
Повсюду чуткое молчанье...
Что это? Сон иль ожиданье,
И близок день или далек?
Чуть-чуть белеет темя гор,
Еще в тумане лес и долы,
Спят города и дремлют селы,
Но к небу подымите взор...

Смотрите: полоса видна,
И, словно скрытной страстью рдея,
Она все ярче, все живее —
Вся разгорается она —
Еще минута, и во всей
Неизмеримости эфирной
Раздастся благовест всемирный
Победных солнечных лучей.

НАКАНУНЕ ГОДОВЩИНЫ 4 АВГУСТА 1864 г.

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

Все темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

* * *

Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла —
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.

О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его — лови скорей!
Смотри — оно уж побледнело, —
Еще минута, две — и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь и живешь.

* * *

Ночное небо так угрюмо,
Заволокло со всех сторон.
То не угроза и не дума,
То вялый, безотрадный сон.
Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.

Как по условленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса.
И вот опять все потемнело,
Всё стихло в чуткой темноте —
Как бы таинственное дело
Решалось там — на высоте.

* * *

Нет дня, чтобы душа не ныла,
Не изнывала б о былом,
Искала слов, не находила,
И сохла, сохла с каждым днем, —

Как тот, кто жгучею тоскою
Томился по краю родном
И вдруг узнал бы, что волною
Он схоронен на дне морском.

* * *

Как ни бесилося злоречье,
Как ни трудилося над ней,
Но этих глаз чистосердечье —
Оно всех демонов сильней.

Всё в ней так искренно и мило,
Так все движенья хороши;
Ничто лазури не смутило
Ее безоблачной души.

К ней и пылинка не пристала
От глупых сплетней, злых речей;
И даже клевета не смяла
Воздушный шелк ее кудрей.

* * *

И в божьем мире то ж бывает,
И в мае снег идет порой,
А всё ж Весна не унывает
И говорит: «Черед за мной!..»
Бессильна, как она ни злися,
Несвоевременная дурь, —
Метели, вьюги улеглися,
Уж близко время *летних* бурь.

* * *

Тихо в озере струится
Отблеск кровель золотых,
Много в озеро глядится
Достославностей былых.
Жизнь играет, солнце греет,
Но под нею и под ним
Здесь былое чудно веет
Обаянием своим.

Солнце светит золотое,
Блещут озера струи...
Здесь великое былое
Словно дышит в забытьи;
Дремлет сладко, беззаботно,
Не смущая дивных снов
И тревогой мимолетной
Лебединых голосов...

* * *

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать, —

Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;

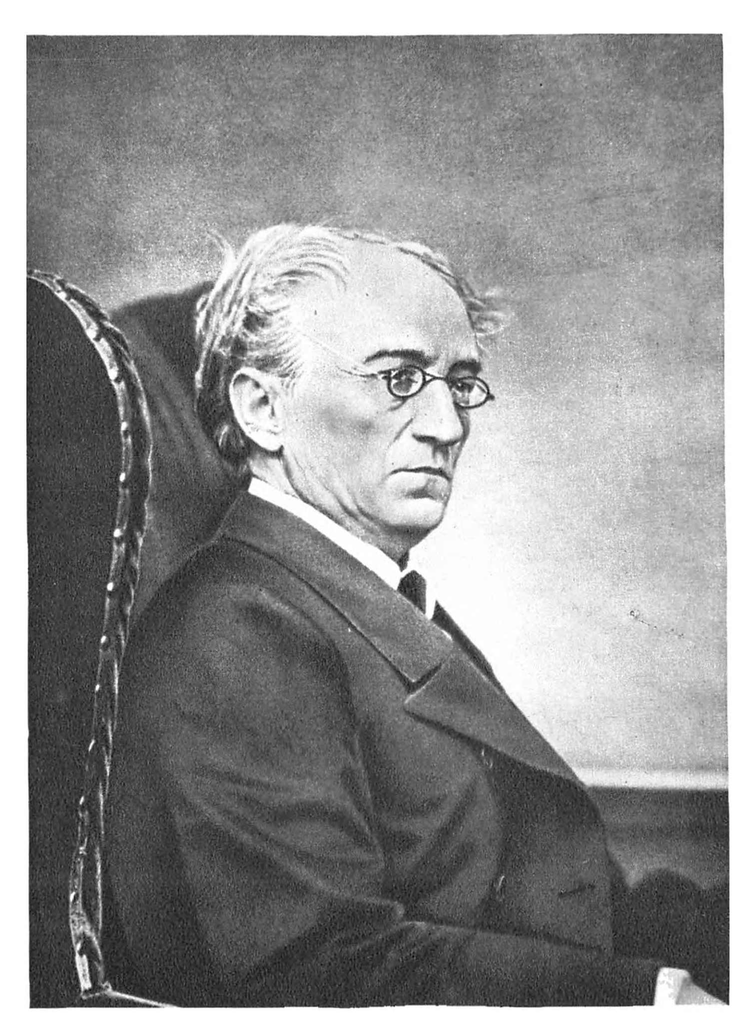
От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;

От желчи горького сознанья,
Что *нас* поток уж не несет
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперед;

Ото всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось с давних пор,—
И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.

* * *

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.



Ф. И. ТЮТЧЕВ

Фотография И. Робильяра 1862 г.

* * *

Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?

Ужель навстречу жадным взорам,
К тебе стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои рассыплются лучи?

Всё гуще мрак, всё пуще горе,
Всё неминуемей беда —
Взгляни, чей флаг там гибнет в море,
Проснись — теперь иль никогда...

* * *

Как этого посмертного альбома
Мне дороги заветные листы,
Как все на них так родственно-знакомо,
Как полно все душевной теплоты!

Как этих строк сочувственная сила
Всего меня обвеяла былым!
Храм опустел, потух огонь кадила,
Но жертвенный еще курится дым.

ДЫМ

Здесь некогда, могучий и прекрасный,
Шумел и зеленел волшебный лес,
Не лес, а целый мир разнообразный,
Исполненный видений и чудес.

Лучи сквозили, трепетали тени;
Не умолкал в деревьях птичий гам;
Мелькали в чаще быстрые олени,
И ловчий рог взывал по временам.

На перекрестках, с речью и приветом,
Навстречу нам, из полутьмы лесной,
Обвеянный каким-то чудным светом,
Знакомых лиц слетался целый рой.

Какая жизнь, какое обаянье,
Какой для чувств роскошный, светлый пир!
Нам чудились нездешние созданья,
Но близок был нам этот дивный мир.

И вот опять к таинственному лесу
Мы с прежнею любовью подошли.
Но где же он? Кто опустил завесу,
Спустил ее от неба до земли?

Что это? призрак, чары ли какие?
Где мы? и верить ли глазам своим?
Здесь дым один, как пятая стихия,
Дым — безотрадный, бесконечный дым!

Кой-где насквозь торчат по обнаженным
Пожарищам уродливые пни,
И бегают по сучьям обожженным
С зловещим треском белые огни...

Нет, это сон! Нет, ветерок повеет
И дымный призрак унесет с собой,
И вот опять наш лес зазеленеет,
Все тот же лес, волшебный и родной.

СЛАВЯНАМ

Man muss die Slaven an die Mauer drücken[1]

Они кричат, они грозятся:
«Вот к стенке мы славян прижмем!»
Ну, как бы им не оборваться
В задорном натиске своем!..

Да, стенка есть — стена большая, —
И вас не трудно к ней прижать.
Да польза-то для них какая?
Вот, вот что трудно угадать.

Ужасно та стена упруга,
Хоть и гранитная скала, —
Шестую часть земного круга
Она давно уж обошла...

Ее не раз и штурмовали —
Кой-где сорвали камня три,
Но напоследок отступали
С разбитым лбом богатыри...

Стоит она, как и стояла,
Твердыней смотрит боевой:
Она не то чтоб угрожала,
Но... каждый камень в ней живой.

---

[1] Славян должно прижать к стене *(нем.)*.

Так пусть же бешеным напором
Теснят вас немцы и прижмут
К ее бойницам и затворам, —
Посмотрим, что они возьмут!

Как ни бесись вражда слепая,
Как ни грози вам буйство их, —
Не выдаст вас стена родная,
Не оттолкнет она своих.

Она расступится пред вами
И, как живой для вас оплот,
Меж вами станет и врагами
И к ним поближе подойдет.

* * *

Как ни тяжел последний час —
Та непонятная для нас
Истома смертного страданья, —
Но для души еще страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья...

* * *

Свершается заслуженная кара
За тяжкий грех, тысячелетний грех...
Не отвратить, не избежать удара —
И правда божья видима для всех...

То божьей правды праведная кара,
И ей в отпор чью помощь ни зови,
Свершится суд... и папская тиара
В последний раз купается в крови.

А ты — ее носитель неповинный,
Спаси тебя господь и отрезви —
Молись ему, чтобы твои седины
Не осквернились в пролитой крови.

* * *

Опять стою я над Невой,
И снова, как в былые годы,
Смотрю и я, как бы живой,
На эти дремлющие воды.

Нет искр в небесной синеве,
Всё стихло в бледном обаянье,
Лишь по задумчивой Неве
Струится лунное сиянье.

Во сне ль всё это снится мне,
Или гляжу я в самом деле,
На что при этой же луне
С тобой живые мы глядели?

ПОЖАРЫ

Широко, необозримо,
Грозной тучею сплошной,
Дым за дымом, бездна дыма
Тяготеет над землей.

Мертвый стелется кустарник,
Травы тлятся, не горят,
И сквозит на крае неба
Обожженных елей ряд.

На пожарище печальном
Нет ни искры, дым один:
Где ж огонь, злой истребитель,
Полномочный властелин?

Лишь украдкой, лишь местами,
Словно красный зверь какой,
Пробираясь меж кустами,
Пробежит огонь живой!

Но, когда наступит сумрак,
Дым сольется с темнотой,
Он потешными огнями
Весь осветит лагерь свой.

Пред стихийной вражьей силой
Молча, руки опустя,
Человек стоит уныло,
Беспомóщное дитя.

* * *

В небе тают облака,
И, лучистая на зное,
В искрах катится река,
Словно зеркало стальное...

Час от часу жар сильней,
Тень ушла к немым дубровам,
И с белеющих полей
Веет запахом медовым.

Чудный день! Пройдут века —
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.

МИХАИЛУ ПЕТРОВИЧУ ПОГОДИНУ

Стихов моих вот список безобразный —
Не заглянув в него, дарю им вас,
Не совладал с моею ленью праздной,
Чтобы она хоть вскользь им занялась...

В наш век стихи живут два-три мгновенья,
Родились утром, к вечеру умрут...
О чем же хлопотать? Рука забвенья
Как раз свершит свой корректурный труд.

ПАМЯТИ Е. П. КОВАЛЕВСКОГО

И вот в рядах отечественной рати
Опять не стало смелого бойца —
Опять вздохнут о горестной утрате
Все честные, все русские сердца.

Душа живая, он необоримо
Всегда себе был верен и везде —
Живое пламя, часто не без дыма
Горевшее в удушливой среде...

Но в правду верил он, и не смущался,
И с пошлостью боролся весь свой век,
Боролся — и ни разу не поддался...
Он на Руси был редкий человек.

И не Руси одной по нем сгрустнется —
Он дорог был и там, в земле чужой,
И там, где кровь так безотрадно льется,
Почтут его признательной слезой.

* * *

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

* * *

Две силы есть — две роковые силы,
Всю жизнь свою у них мы под рукой,
От колыбельных дней и до могилы, —
Одна есть Смерть, другая — Суд людской.

И та и тот равно неотразимы,
И безответственны и тот и та,
Пощады нет, протесты нетерпимы,
Их приговор смыкает всем уста...

Но Смерть честней — чужда лицеприятью,
Не тронута ничем, не смущена,
Смиренную иль ропщущую братью
Своей косой равняет всех она.

Свет не таков: борьбы, разноголосья —
Ревнивый властелин — не терпит он,
Не косит сплошь, но лучшие колосья
Нередко с корнем вырывает вон.

И горе ей — увы, двойное горе,
Той гордой силе, гордо-молодой,
Вступающей с решимостью во взоре,
С улыбкой на устах — в неравный бой.

Когда она, при роковом сознанье
Всех прав своих, с отвагой красоты,
Бестрепетно, в каком-то обаянье
Идет сама навстречу клеветы,

Личиною чела не прикрывает,
И не дает принизиться челу,
И с кудрей молодых, как пыль, свевает
Угрозы, брань и страстную хулу, —

Да, горе ей — и чем простосердечней,
Тем кажется виновнее она...
Таков уж свет: он там бесчеловечней,
Где человечно-искренней вина.

В ДЕРЕВНЕ

Что за отчаянные крики,
И гам, и трепетанье крыл?
Кто этот гвалт безумно дикий
Так неуместно возбудил?
Ручных гусей и уток стая
Вдруг одичала и летит,
Летит — куда, сама не зная,
И как шальная голосит.

Какой внезапною тревогой
Звучат все эти голоса!
Не пес, а бес четвероногий,
Бес, обернувшийся во пса,
В порыве буйства, для забавы,
Самоуверенный нахал,
Смутил покой их величавый
И их размыкал, разогнал!

И словно сам он, вслед за ними,
Для довершения обид,
С своими нервами стальными,
На воздух взвившись, полетит!
Какой же смысл в движенье этом?
Зачем вся эта трата сил?
Зачем испуг таким полетом
Гусей и уток окрылил?

Да, тут есть цель! В ленивом стаде
Замечен страшный был застой,

И нужен стал, прогресса ради,
Внезапный натиск роковой.
И вот благое провиденье
С цепи спустило сорванца,
Чтоб крыл своих предназначенье
Не позабыть им до конца..

Так современных проявлений
Смысл иногда и бестолков, —
Но тот же современный гений
Всегда их выяснить готов.
Иной, ты скажешь, просто лает,
А он свершает высший долг, —
Он, осмысляя, развивает
Утиный и гусиный толк.

* * *

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

СОВРЕМЕННОЕ

Флаги веют на Босфоре,
Пушки празднично гремят,
Небо ясно, блещет море,
И ликует Цареград.

И недаром он ликует:
На волшебных берегах
Ныне весело пирует
Благодушный падишах.

Угощает он на славу
Милых западных друзей —
И свою бы всю державу
Заложил для них, ей-ей.

Из премудрого далека
Франкистанской их земли
Погулять на счет пророка
Все они сюда пришли.

Пушек гром и мусикия!
Здесь Европы всей привал,
Здесь все силы мировые
Свой справляют карнавал.

И при криках исступленных
Бойкий западный разгул
И в гаремах потаенных
Двери настежь распахнул.

Как в роскошной этой раме
Дивных гор и двух морей
Веселится об исламе
Христианский съезд князей!

И конца нет их приветам,
Обнимает брата брат...
О, каким отрадным светом
Звезды Запада горят!

И всех ярче и милее
Светит тут звезда одна,
Коронованная фея,
Рима дочь, *его* жена.

С пресловутого театра
Всех изяществ и затей,
Как вторая Клеопатра,
В сонме царственных гостей,

На Восток она явилась,
Всем на радость, не на зло,
И пред нею всё склонилось:
Солнце с Запада взошло!

Только там, где тени бродят
По долинам и горам
И куда уж не доходят
Эти клики, этот гам, —

Только там, где тени бродят,
Там в ночи из свежих ран
Кровью медленно исходят
Миллионы христиан...

А. Ф. ГИЛЬФЕРДИНГУ

Спешу поздравить с неудачей:
Она — блистательный успех,
Для вас почетна наипаче
И назидательна для всех.

Что русским словом столько лет
Вы славно служите России,
Про это знает целый свет,
Не знают немцы лишь родные.

Ах, нет, то знают и они;
И что в славянском вражьем мире
Вы совершили — вы одни, —
Все ведают, et inde irae[1]!

Во всем обширном этом крае
Они встречали вас не раз,
В Балканах, Чехах, на Дунае,
Везде, везде встречали вас.

И как же мог бы без измены,
Высокодоблестный досель,
В академические стены,
В заветную их цитадель,

Казною русской содержимый
Для этих славных оборон,
Вас, вас впустить — непобедимый
Немецкий храбрый гарнизон?

---

[1] И отсюда — гнев (*лат.*).

Ю. Ф. АБАЗЕ

Так — гармонических орудий
Власть беспредельна над душой:
И любят все живые люди
Язык их темный, но родной.

В них что-то стонет, что-то бьется,
Как в узах заключенный дух,
На волю просится и рвется
И хочет высказаться вслух...

Не то совсем при вашем пенье,
Не то мы чувствуем в себе:
Тут полнота освобожденья,
Конец и плену и борьбе...

Из тяжкой вырвавшись юдоли
И все оковы разреша,
На всей своей ликует воле
Освобожденная душа...

По всемогущему призыву
Свет отделяется от тьмы,
И мы не звуки — *душу живу*,
В них вашу душу слышим мы.

* * *

Как нас ни угнетай разлука,
Не покоряемся мы ей —
Для сердца есть другая мука
Невыносимей и больней.

Пора разлуки миновала,
И от нее в руках у нас
Одно осталось покрывало,
Полупрозрачное для глаз.

И знаем мы: под этой дымкой
Всё то, по чем душа болит,
Какой-то странной невидимкой
От нас таится — и молчит.

Где цель подобных искушений?
Душа невольно смущена,
И в колесе недоумений
Вертится нехотя она.

Пора разлуки миновала,
И мы не смеем, в добрый час,
Задеть и сдернуть покрывало,
Столь ненавистное для нас!

ГУС НА КОСТРЕ

Костер сооружен, и роковое
Готово вспыхнуть пламя; всё молчит,—
Лишь слышен легкий треск — и в нижнем слое
Костра огонь предательски сквозит.

Дым побежал — народ столпился гуще;
Вот все они — весь этот темный мир:
Тут и гнетомый люд, и люд гнетущий,
Ложь и насилье, рыцарство и клир.

Тут вероломный кесарь, и князей
Имперских и духовных сонм верховный,
И сам он, римский иерарх, в своей
Непогрешимости греховной.

Тут и она — та старица простая,
Не позабытая с тех пор,
Что принесла, крестясь и воздыхая,
Вязанку дров, как лепту, на костер.

И на костре, как жертва пред закланьем,
Вам праведник великий предстоит:
Уже обвеян огненным сияньем,
Он молится — и голос не дрожит...

Народа чешского святой учитель,
Бестрепетный свидетель о Христе
И римской лжи суровый обличитель
В своей высокой простоте, —

Не изменив ни богу, ни народу,
Боролся он — и был необорим —
За правду божью, за ее свободу,
За всё, за всё, что бредом назвал Рим.

Он духом в небе — братскою ж любовью
Еще он здесь, еще в среде своих,
И светел он, что собственною кровью
Христову кровь он отстоял для них.

О чешский край! о род единокровный!
Не отвергай наследья своего!
О, доверши же подвиг свой духовный
И братского единства торжество!

И цепь порвав с юродствующим Римом,
Гнетущую тебя уж так давно,
На Гусовом костре неугасимом
Расплавь ее последнее звено.

К. Б.

Я встретил вас — и всё былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло...

Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас, —

Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...

Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне, —
И вот — слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, —
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

ДВА ЕДИНСТВА

Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши!—
    Славянский мир, сомкнись тесней...

«Единство, — возвестил оракул наших дней,—
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, —
    А там увидим, что прочней...

* * *

Веленью высшему покорны,
У *мысли* стоя на часах,
Не очень были мы задорны,
Хоть и со штуцером в руках.

Мы им владели неохотно,
Грозили редко — и скорей
Не *арестантский*, а *почетный*
Держали караул при ней.

* * *

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.

И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.

И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живет,
Не всё, что здесь цвело, увянет,
Не всё, что было здесь, пройдет!

Но этой веры *для немногих*
Лишь тем доступна благодать,
Кто в искушеньях жизни строгих,
Как вы, умел, любя, страдать, —

Чужие врачевать недуги
Своим страданием умел,
Кто душу положил за други
И до конца всё претерпел.

<КНЯЗЮ А. М. ГОРЧАКОВУ>

Да, вы сдержали ваше слово:
Не двинув пушки, ни рубля,
В свои права вступает снова
Родная русская земля.

И нам завещанное море
Опять свободною волной,
О кратком позабыв позоре,
Лобзает берег свой родной.

Счастлив в наш век, кому победа
Далась не кровью, а умом,
Счастлив, кто точку Архимеда
Умел сыскать в себе самом,—

Кто полный бодрого терпенья
Расчет с отвагой совмещал —
То сдерживал свои стремленья,
То своевременно дерзал.

Но кончено ль противоборство?
И как могучий ваш рычаг
Осилит в умниках упорство
И бессознательность в глупцах?

* * *

Брат, столько лет сопутствовавший мне,
И ты ушел, куда мы все идем,
И я теперь на голой вышине
Стою один, — и пусто все кругом.

И долго ли стоять тут одному?
День, год другой, — и пусто будет там,
Где я теперь, смотря в ночную тьму
И — что со мной, не сознавая сам...

Бесследно всё — и так легко не быть!
При мне иль без меня — что нужды в том?
Все будет то ж — и вьюга так же выть,
И тот же мрак, и та же степь кругом.

Дни сочтены, утрат не перечесть,
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ

«Когда дряхлеющие силы...»
1866 г.

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Пятнадцать лет с тех пор минуло,
Прошел событий целый ряд,
Но вера нас не обманула —
И Севастопольского гула
Последний слышим мы раскат.

Удар последний и громовый,
Он грянул вдруг, животворя:
Последнее в борьбе суровой
Теперь лишь высказано слово,
То слово — русского царя.

И всё, что было так недавно
Враждой воздвигнуто слепой,
Так нагло, так самоуправно,
Пред честностью его державной
Все рушилось само собой.

И вот: *свободная стихия*, —
Сказал бы наш поэт родной, —
Шумишь ты, как во дни былые,
И катишь волны голубые,
И блещешь гордою красой!..

Пятнадцать лет тебя держало
Насилье в западном плену:
Ты не сдавалась и роптала,
Но час пробил — насилье пало:
Оно пошло, как ключ ко дну.

Опять зовет и к делу нудит
Родную Русь твоя волна,
И к распре той, что бог рассудит,
Великий Севастополь будит
От заколдованного сна.

И то, что ты во время оно
От бранных скрыла непогод
В свое сочувственное лоно,
Отдашь ты нам — и без урона —
Бессмертный черноморский флот.

Да, в сердце русского народа
Святиться будет этот день, —
Он — наша внешняя свобода,
Он Петропавловского свода
Осветит гробовую сень...

* * *

От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднесь...

Да два-три дуба выросли на них,
Раскинувшись и широко и смело.
Красуются, шумят, — и нет им дела,
Чей прах, чью память роют корни их.

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих — лишь грезою природы.

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

* * *

Все отнял у меня казнящий бог:
Здоровье, силу воли, воздух, сон,
Одну тебя при мне оставил он,
Чтоб я ему еще молиться мог.

ЭПИГРАММЫ

* * *

За нашим веком мы идем,
Как шла Креуза за Энеем:
Пройдем немного — ослабеем,
Убавим шагу — отстаем.

⟨ЭПИТАФИЯ НИКОЛАЮ I⟩

Не богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, —
Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.

<НА Г. И. ФИЛИППСОНА>

Он прежде мирный был казак,
Теперь он попечитель дикий;
Филиппов сын — положим так,
А всё не Александр Великий.

ОТВЕТ НА АДРЕС

Себя, друзья, морочите вы грубо —
Велик с Россией ваш разлад —
Куда вам в члены Английских палат?
Вы просто члены *Английского клуба*...

<НА ГРАФА С. Г. СТРОГАНОВА>

Как верно здравый смысл народа
Значенье слов определил:
Недаром, видно, от «ухода»
Он вывел слово «уходил».

КНЯЗЮ СУВОРОВУ

Два разнородные стремленья
В себе соединяешь ты:
Юродство без душеспасенья
И шутовство без остроты.

Сама природа, знать, хотела
Тебя устроить и обречь
На безответственное дело,
На безнаказанную речь.

⟨НА С. А. ГРЕЙГА⟩

Когда расстроенный кредит
Не бьется кое-как,
А просто на мели сидит,
Сидит себе как рак, —
Кто ж тут спасет, кто пособит?
Ну кто ж, коль не моряк.

⟨НА ГРАФА П. А. ШУВАЛОВА⟩

Над Россией распростертой
Встал внезапною грозой
Петр, по прозвищу *четвертый*,
Аракчеев же *второй*...

⟨НА ЦЕНЗУРНОЕ ВЕДОМСТВО⟩

Печати русской доброхоты,
Как всеми вами, господа,
Тошнит ее — но вот беда,
Что дело не дойдет до рвоты.

⟨ИЗДАТЕЛЮ ГАЗЕТЫ «ВЕСТЬ»⟩

Вы не родились поляком,
Хоть шляхтич вы по направленью,
А русский вы — сознайтесь в том —
По Третьему лишь отделенью.

Слуга влиятельных господ,
С какой отвагой благородной
Громите речью вы свободной
Всех тех, кому зажали рот!

Недаром вашим вы пером
Аристократии служили —
В какой лакейской изучили
Вы этот рыцарский прием?



ПЕРЕВОДЫ И ПЕРЕЛОЖЕНИЯ



ПОСЛАНИЕ ГОРАЦИЯ К МЕЦЕНАТУ, В КОТОРОМ ПРИГЛАШАЕТ ЕГО К СЕЛЬСКОМУ ОБЕДУ

Приди, желанный гость, краса моя и радость!
Приди, — тебя здесь ждет и кубок круговой,
И розовый венок, и песней нежных сладость!
Возженны не льстеца рукой,
Душистый анемон и крины
Лиют на брашны аромат,
И полные плодов корзины
Твой вкус и зренье усладят.
Приди, муж правоты, народа покровитель,
Отчизны верный сын и строгий друг царев,
Питомец счастливый Кастальских чистых дев,
Приди в мою смиренную обитель!
Пусть велелепные столпы,
Громады храмин позлащенны
Прельщают алчный взор несмысленной толпы;
Оставь на время град, в заботах погруженный.
Склонись под тень дубрав; здесь ждет тебя покой.
Под кровом сельского Пената,
Где всё красуется, всё дышит простотой,
Где чужд холодный блеск и пурпура и злата, —
Там сладок кубок круговой!
Чело, наморщенное думой,
Теряет здесь свой вид угрюмый;
В обители отцов всё льет отраду нам!
Уже небесный лев тяжелою стопою
В пределах зноя стал — и пламенной стезею

Течет по светлым небесам!..
В священной рощице Сильвана,
Где мгла таинственна с прохладою слиянна,
Где брезжит сквозь листов дрожащий, тихий свет,
Игривый ручеек едва-едва течет
И шепчет в сумраке с прибрежной осокою;
Здесь в знойные часы, пред рощею густою,
Спит стадо и пастух под сению прохлад,
И в розовых кустах зефиры легки спят.
А ты, Фемиды жрец, защитник беззащитных,
Проводишь дни свои под бременем забот;
И счастье сограждан — благий, достойный плод
Твоих стараний неусыпных! —
Для них желал бы ты познать судьбы предел;
Но строгий властелин земли, небес и ада
Глубокой, вечной тьмой грядущее одел.
Благоговейте, персти чада! —
Как! прах земный объять небесное посмеет?
Дерзнет ли разорвать таинственный покров?
Быстрейший самый ум, смутясь, оцепенеет,
И буйный сей мудрец — посмешище богов! —
Мы можем, странствуя в тернистой сей пустыне,
Сорвать один цветок, ловить летящий миг;
Грядущее не нам — судьбине;
Так предадим его на произвол благих! —
Что время? Быстрый ток, который в долах мирных,
В брегах, украшенных обильной муравой,
Катит кристалл валов сапфирных;
И по сребру зыбей свет солнца золотой
Играет и скользит; но час — и бурный вскоре,
Забыв свои брега, забыв свой мирный ход,
Теряется в обширном море,
В безбрежной пустоте необозримых вод!
Но час — и вдруг нависших бурь громады
Извергли дождь из черных недр;
Поток возвысился, ревет, расторг преграды,
И роет волны ярый ветр!..
Блажен, стократ блажен, кто может в умиленье,
Воззревши на Вождя светил,
Текущего почить в Нептуновы владенья,
Кто может, радостный, сказать себе: *я жил*!
Пусть завтра тучею свинцовой

Всесильный бог громов вкруг ризою багровой
Эфир сгущенный облечет,
Иль снова в небесах рассыплет солнца свет:
Для смертных всё равно; и что крылаты годы
С печального лица земли
В хранилище времен с собою увлекли,
Не пременит того и сам Отец природы.
Сей мир — игралище Фортуны злой.
Она кичливый взор на шар земной бросает
И всей вселенной потрясает
По прихоти слепой!..
Неверная, меня сегодня осенила;
Богатства, почести обильно мне лиет,
Но завтра вдруг простерла крыла,
К другим склоняет свой полет!
Я презрен — не ропщу, — и горестный свидетель,
И жертва роковой игры,
Ей отдаю ее дары
И облекаюсь в добродетель!..
Пусть бурями увитый Нот
Пучины сланые крутит и воздымает,
И черные холмы морских кипящих вод
С громовой тучею сливает,
И бренных кораблей
Рвет снасти, всё крушит в свирепости своей...
Отчизны мирныя покрытый небесами,
Не буду я богов обременять мольбами;
Но дружба и любовь, среди житейских волн,
Безбедно приведут в пристанище мой челн.

ГЕКТОР И АНДРОМАХА

(Из Шиллера)

Андромаха

Снова ль, Гектор, мчишься в бурю брани,
Где с булатом в неприступной длани
Мстительный свирепствует Пелид?..
Кто же призрит Гекторова сына,
Кто научит долгу властелина,
Страх к богам в младенце поселит?..

Гектор

Мне ль томиться в тягостном покое?..
Сердце жаждет прохлажденья в бое,
    Мести жаждет за Пергам!..
Древняя отцов моих обитель!
Я паду!.. но, родины спаситель,
    Сниду, весел, к Стиксовым брегам...

Андромаха

Суждено ль мне в сих чертогах славы
Видеть меч твой праздный и заржавый? —
Осужден ли весь Приамов род?..
Скоро там, где нет любви и света, —
Там, где льется сумрачная Лета,
Скоро в ней любовь твоя умрет!..

Гектор

Все души надежды, все порывы,
Все поглотят воды молчаливы, —
    Но не Гектора любовь!..
Слышишь?.. мчатся... Пламя пышет боя!..
Час ударил!.. Сын, супруга, Троя!..
Бесконечна Гектора любовь!..

ОДИНОЧЕСТВО

〈*Из Ламартина*〉

Как часто, бросив взор с утесистой вершины,
Сажусь задумчивый в тени древес густой —
И развиваются передо мной
Разнообразные вечерние картины!
Здесь пенится река, долины красота,
И тщетно в мрачну даль за ней стремится око;
Там дремлющая зыбь лазурного пруда
Светлеет в тишине глубокой.
По темной зелени дерев
Зари последний луч еще приметно бродит,
Луна медлительно с полуночи восходит
На колеснице облаков,
И с колокольни одинокой
Разнесся благовест протяжный и глухой;
Прохожий слушает, — и колокол далекий
С последним шумом дня сливает голос свой.
Прекрасен мир! Но восхищенью
В иссохшем сердце места нет!..
По чуждой мне земле скитаюсь сирой тенью,
И мертвого согреть бессилен солнца свет.
С холма на холм скользит мой взор унылый
И гаснет медленно в ужасной пустоте;
Но ах, где стречу то, что б взор остановило?
И счастья нет, при всей природы красоте!..
И вы, мои поля, и рощи, и долины,
Вы мертвы! И от вас дух жизни улетел!
И что мне в вас теперь, бездушные картины!..

Нет в мире одного — и мир весь опустел!
Встает ли день, нощные ль сходят тени,
И мрак и свет противны мне...
Моя судьба не знает изменений —
И горесть вечная в душевной глубине!
Но долго ль страннику томиться в заточенье?
Когда на лучший мир покину дольний прах,
Тот мир, где нет сирот, где вере исполненье,
Где солнцы истины в нетленных небесах?..
Тогда, быть может, прояснится
Надежд таинственных спасительный предмет,
К чему душа и здесь еще стремится,
И токмо там, в отчизне, обоймет.
Как светло сонмы звезд пылают надо мною,
Живые мысли божества!
Какая ночь сгустилась над землею,
И как земля, в виду небес, мертва!..
Встают гроза и вихрь и лист крутят пустынный!
И мне, и мне, как мертвому листу,
Пора из жизненной долины.—
Умчите ж, бурные, умчите сироту!..

ПЕСНЬ РАДОСТИ

(Из Шиллера)

Радость, первенец творенья,
Дщерь великого Отца,
Мы, как жертву прославленья,
Предаем тебе сердца!
Все, что делит прихоть света,
Твой алтарь сближает вновь,
И душа, тобой согрета,
Пьет в лучах твоих любовь!

Хор

В круг единый, божьи чада!
Ваш отец глядит на вас!
Свят его призывный глас,
И верна его награда!

Кто небес провидел сладость,
Кто любил на сей земли —
В милом взоре черпал радость, —
Радость нашу раздели:
Все, чье сердце сердцу друга
В братской вторило груди;
Кто ж не мог любить, — из круга
Прочь с слезами отойди!..

Хор

Душ родство! о луч небесный!
Вседержащее звено!
К небесам ведет оно,
Где витает *Неизвестный!*

У грудей благой природы
Все, что дышит, Радость пьет!
Все созданья, все народы
За собой она влечет;
Нам друзей дала в несчастье —
Гроздий сок, венки Харит,
Насекомым — сладострастье,
Ангел — богу предстоит.

Хор

Что, сердца, благовестите?
Иль творец сказался вам?
Здесь лишь тени — солнце там, —
Выше звезд его ищите!..

Душу божьего творенья
Радость вечная поит,
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит;
Травку выманила к свету,
В солнцы — хаос развила
И в пространствах — звездочету
Неподвластных — разлила!

Хор

Как миры катятся следом
За вседвижущим перстом,
К нашей цели потечем —
Бодро, как герой к победам!

В ярком истины зерцале
Образ *твой* очам блестит;
В горьком опыта фиале
Твой алмаз на дне горит.
Ты, как облак прохлажденья,
Нам предходишь средь трудов;
Светишь утром возрожденья
Сквозь расселины гробов!

Хор

Верьте правящей деснице! —
Наши скорби, слезы, вздох

В ней хранятся, как залог, —
И искупятся сторицей!

Кто постигнет провиденье?
Кто явит стези его?
В сердце сыщем откровенье,
Сердце скажет божество!
Прочь вражда с земного круга!
Породнись душа с душой!
Жертвой мести — купим друга,
Пурпур — вретища ценой.

Хор

Мы врагам своим простили,
В книге жизни нет долгов;
Там, в святилище миров,
Судит *бог*, как *мы* судили!..

Радость грозды наливает,
Радость кубки пламенит,
Сердце дикого смягчает,
Грудь отчаянья живит!
В искрах к небу брызжет пена,
Сердце чувствует полней;
Други, братья, — на колена!
Всеблагому кубок сей!..

Хор

Ты, чья мысль духов родила,
Ты, чей взор миры зажег!
Пьем тебе, великий бог!
Жизнь миров и душ светило!

Слабым — братскую услугу,
Добрым — братскую любовь,
Верность клятв — врагу и другу,
Долгу в дань — всю сердца кровь!
Гражданина голос смелый
На совет к земным богам;
Торжествуй святое дело —
Вечный стыд его врагам.

Хор

Нашу длань к твоей, отец,
Простираем в бесконечность!
Нашим клятвам даруй вечность!
Наши клятвы — гимн сердец!

ПЕСНЬ СКАНДИНАВСКИХ ВОИНОВ

⟨*Из Гердера*⟩

Хладен, светел,
День проснулся —
Ранний петел
    Встрепенулся, —
Дружина, воспрянь!
Вставайте, о други!
    Бодрей, бодрей
    На пир мечей,
      На брань!..

Пред нами наш вождь!
Мужайтесь, о други, —
И вслед за могучим
    Ударим грозой!..

    Вихрем помчимся,
    Сквозь тучи и гром,
    К солнцу победы
    Вслед за орлом!..

Где битва мрачнее, воители чаще,
Где срослися щиты, где сплелися мечи,
Туда он ударит — перун вседробящий —
И след огнезвездный и кровью горящий
Пророет дружине в железной ночи.

За ним, за ним — в ряды врагов,
  Смелей, друзья, за ним!..

Как груды скал, как море льдов —
Прорвем их и стесним!..
Хладен, светел,
День проснулся —
Ранний петел
Встрепенулся, —
Дружина, воспрянь!..

Не кубок кипящий душистого меда
Румяное утро героям вручит;
Не сладостных жен любовь и беседа
Вам душу согреет и жизнь оживит;
Но вас, обновленных прохладою сна,
Кровавыя битвы подымет волна!..

Дружина, воспрянь!..
Смерть иль победа!..
На брань!..

С ЧУЖОЙ СТОРОНЫ

(Из Гейне)

На севере мрачном, на дикой скале
    Кедр одинокий под снегом белеет,
И сладко заснул он в инистой мгле,
    И сон его вьюга лелеет.

Про юную пальму все снится ему,
    Что в дальных пределах Востока,
Под пламенным небом, на знойном холму
    Стоит и цветет одинока...

В АЛЬБОМ ДРУЗЬЯМ

(Из Байрона)

Как медлит путника вниманье
  На хладных камнях гробовых,
Так привлечет друзей моих
  Руки знакомой начертанье!..

Чрез много, много лет оно
  Напомнит им о прежнем друге:
«Его уж нету в вашем круге;
  Но сердце здесь погребено!..»

САКОНТАЛА

(Из Гете)

Что юный год дает цветам, —
Их девственный румянец;
Что зрелый год дает плодам, —
Их царственный багрянец;
Что нежит взор и веселит,
Как перл в морях цветущий;
Что греет душу и живит,
Как нектар всемогущий:
Весь цвет сокровищниц мечты,
Весь полный цвет творенья,
И, словом: небо красоты
В лучах воображенья, —
Все, все Поэзия слила
В тебе одной — *Сакọнталâ*.

* * *

(Из Гейне)

Как порою светлый месяц
Выплывает из-за туч, —
Так, один, в ночи былого
Светит мне отрадный луч.

Все на палубе сидели,
Вдоль по Реину неслись,
Зеленеющие бреги
Перед нами раздались.

И у ног прелестной дамы
Я в раздумии сидел,
И на милом, бледном лике
Тихий вечер пламенел.

Дети пели, в бубны били,
Шуму не было конца,
И лазурней стало небо,
И просторнее сердца.

Сновиденьем пролетали
Горы, замки на горах —
И светились, отражаясь,
В милых спутницы очах.

ПРИВЕТСТВИЕ ДУХА

(Из Гете)

На старой башне, у реки,
Дух рыцаря стоит
И, лишь завидит челноки,
Приветом их дарит:

«Кипела кровь и в сей груди,
Кулак был из свинца,
И богатырский мозг в кости,
И кубок до конца!

Пробушевал полжизни я,
Другую проволок:
А ты плыви, плыви, ладья,
Куда несет поток!»

БАЙРОН

(Отрывок ⟨из Цедлица⟩)

1

Войди со мной — пуста сия обитель,
Сего жилища одичали боги,
Давно остыл алтарь их — и без смены
На страже здесь молчанье. На пороге
Не встретит нас с приветствием служитель,
На голос наш откликнутся лишь стены.
    Зачем, о сын Камены
Любимейший, — ты, наделенный даром
Неугасимо-пламенного слова,
Зачем бежал ты собственного крова,
Зачем ты изменил отцовским ларам?
Ах, и куда, безвременно-почивший,
Умчал тебя сей вихрь, тебя носивший!..

2

Так некогда здесь был жилец могучий,
Здесь песнями дышал он — и дыханье
Не ветерка в черемухе душистой
Казалося игривое журчанье, —
Нет, песнь его грозней гремящей тучи,
Как божий гнев, то мрачный, то огнистый,
    Неслась по тверди мглистой, —
Вдруг над зеленой нивой или садом
Невыцветшим заклепы расторгала

И мрак, и лед, и пламень извергала,
Огнем палила, бороздила градом, —
Местами лишь, где туча разрывалась,
Лазурь небес прелестно улыбалась!

3

Духов, гласят, неистовое пенье
Внимающих безумьем поражало, —
Так и его, как неземная сила,
Все пропасти душевные взрывало,
На самом дне будило преступленье,
Дыханье замирало, сердце ныло,
    И нечто грудь теснило,
Как бы кругом воздушный слой, редея,
Земную кровь сосал из нашей жилы,
И нам, в борьбе, недоставало силы
Стряхнуть с себя господство чародея,
Пока он сам, как бы для посмеянья,
Своим жезлом не рушил обаянья!

4

И мудрено ль, что память о высоком
Невольной грустью душу осенила!..
Не лебедем ты создан был судьбою,
Купающим в волне румяной крыла,
Когда закат пылает над потоком
И он плывет, любуясь сам собою,
    Между двойной зарею, —
Ты был орел — и со скалы родимой,
Где свил гнездо — и в нем, как в колыбели,
Тебя качали бури и метели,
Во глубь небес нырял, неутомимый,
Над морем и землей парил высоко,
Но трупов лишь твое искало око!..

5

Злосчастный дух! Как в зареве пожара
Твое кроваво-тусклое зерцало,
Блестящее в роскошном, свежем цвете,

И мир и жизнь так дико отражало!..
С печатью на челе святого дара
И скиптром власти в неземном совете,
    Любил ты в мутном свете
Земную жизнь виденьями тревожить!..
В тебе самом, как бы в иносказанье,
Для нас воскресло грозное преданье, —
Но распознать наш взор тебя не может —
Титан ли ты, чье сердце снедью врана,
Иль сам ты вран, терзающий титана!..

6

Своих отцов покинул он обитель,
Где тени их скитаются безмолвны,
Где милые осталися залоги, —
И как весь день метет крылами волны
Морская птица, скал пустынных житель,—
Так и ему по жизненной дороге
    Пройти судили боги,
Нигде не встретив мирной, светлой кущи!—
И тщетно он, в борьбе с людьми, с собою,
Рвался схватить земное счастье с бою.
Над ним был Рок, враждебный, всемогущий!
Всходил за ним на снежные вершины,
Спускался в дол, переплывал пучины!..

7

То мчится бард, беглец родного края,
Навстречу солнца, по стихии бурной,
Где Лиссабон, на жарком небе рдея,
Златым венцом объял залив лазурный, —
Там, где земля горит, благоухая,
И где плоды, на пыльных ветвях зрея,
    Душистей и свежее, —
Тебя потом он огласил приветом,
Страна любви, геройства, приключений,
Где и поднесь их сладкопевный гений

Как бы волшебным овевает светом
Узорчатой Альгамбры колоннады
Иль рощи благовонные Гренады!

8

То совершитель тризны благочестной,
Теней погибших окруженный роем,
Равнину ту обходит он с тоскою,
Где жребий мира выпал славным боем,
Где был судим сей страшный суд железный!..
Сия земля, клейменная судьбою,
    Под чуткою стопою
Дрожит еще невольно и поныне,
Как тундра крови,—здесь, в мученьях страшных,
Притоптаны ряды сердец отважных,
И слоем лег их пепел по равнине,—
Враждебные, они затихли вместе,
Те с жаждою, те в упоенье мести!..

9

Но дале бард — и видит пред собою
Гроздоносящий вечно юный Реин, —
И там и сям, на выси виноградной,
Мелькает замок, и поднесь обвеян
Волшебной былью, мглисто-золотою!
И вот, вдали, сияющий и хладный,
    Возник титан громадный —
Швейцария!.. Там мир как за оградой;
Звучит рожок, поют вольней потоки,
В горах, как в чаше, озера глубоки,
Свет на холмах, в долинах тень с прохладой,
И надо всем вершины ледяные,
То бледные, то огненно-живые!..

10

Потом с высот, где, разлучаясь, воды
В широкие, подневные равнины,
Как бы на пир, стремят свое теченье, —
Отколь не раз, как льдистые лавины,

Полночные срывалися народы, —
В Италию, родимое владенье,
Он сводит вдохновенье —
Небесный дух сей край чудес обходит,
Высокий лавр и темный мирт колышет,
Под сводами чертогов светлых дышит,
С цветущих персей запах роз уводит
И шевелит прозрачной пеленою
Над дремлющей в руинах стариною!..

11

Но на Восток цветущий и пустынный
Влекло певца всесильное пристрастье,
В любимый край его воображенья!..
Сей мир насильства, лени, сладострастья
Он зрел еще перед его кончиной —
Где обнялись в роскошном запустенье
И жизнь и разрушенье,
И дружески цвели в вечернем свете
Вершины гор, где жил разбой веселый,
Там, за скалой, пирата парус белый,
Здесь рог луны, горящий на мечети
И чистые остатки Парфенона
На девственном румянце небосклона.

12

Но ты расторг союз сего творенья,
Дух вольности, бессмертная стихия!
И бой вспылал Отчаяния с Силой!..
Кровь полилась, как воды ключевые,
В ночи земля пила их без зазренья,
Лишь зарево, как светоч над могилой,
Горѐ над ней светило, —
И скоро ли — то провиденье знает —
Взойдет заря и бурный мрак развеет!..
Но юный день с любовью да светлеет
На месте том, где дух певца витает, —
Где в сумраке болезненной надежды
Сомкнула смерть его земные вежды!..

13

Певец угас пред жертвенником брани!..
Но песнь его нигде не умолкала, —
Хоть из груди, истерзанной страстями,
Она нередко кровью вытекала,
Волшебный жезл не выпадал из длани,
Но двигал он лишь адскими властями!..
В распре с небесами
Высокая божественность мученья
Была ему загадкою враждебной —
И, упиваясь чашею врачебной,
Отравы жаждал он, не исцеленья,—
Вперенные в подземный ужас очи
Он отвращал от звездной славы ночи!..

14

Таков он был, могучий, величавый,
Восторженный хулитель мирозданья!..
Но зависти ль удел его достоин?..
Родительским добром существованья
Он приобрел даруемое славой!
Но был ли он сим демоном присвоен,
Иль счастлив, иль спокоен?
Сиянье звезд, денницы луч веселый
Души его, где вихри бушевали,
Лишь изредка угрюмость провевали.
Он стихнул днесь, вулкан перегорелый.
И позднее бессмертия светило
С ночных небес глядит в него уныло...

* * *

⟨ИЗ «ПУТЕВЫХ КАРТИН» ГЕЙНЕ⟩

«Прекрасный будет день», — сказал товарищ,
Взглянув на небо из окна повозки.—
Так, день прекрасный будет, —повторило
За ним мое молящееся сердце
И вздрогнуло от грусти и блаженства!..
Прекрасный будет день! Свободы солнце
Живей и жарче будет греть, чем ныне
Аристократия светил ночных!
И расцветет счастливейшее племя,
Зачатое в объятьях произвольных, —
Не на одре железном принужденья,
Под строгим, под таможенным надзором
Духовных приставов, — и в сих душах
Вольнорожденных вспыхнет смело
Чистейший огнь идей и чувствований —
Для нас, рабов природных, непостижный!

Ах, и для них равно непостижима
Та будет ночь, в которой их отцы
Всю жизнь насквозь томились безотрадно
И бой вели отчаянный, жестокий,
Противу гнусных сов и ларв подземных,
Чудовищных Ерева порождений!..
Злосчастные бойцы, все силы духа,
Всю сердца кровь в бою мы истощили —
И бледных, преждевременно одряхших

Нас озарит победы поздний день!..
Младого солнца свежее бессмертье
Не оживит сердец изнеможенных,
Ланит потухших снова не зажжет!
Мы скроемся пред ним, как бледный месяц!

Так думал я и вышел из повозки
И с утренней усердною молитвой
Ступил на прах, бессмертьем освященный!!

Как под высоким триумфальным сводом
Громадных облаков всходило солнце,
Победоносно, смело и светло,
Прекрасный день природе возвещая.
Но мне при виде сем так грустно было,
Как месяцу, еще заметной тенью
Бледневшему на небе. — Бедный месяц!
В глухую полночь, одиноко, сиро,
Он совершил свой горемычный путь,
Когда весь мир дремал — и пировали
Одни лишь совы, призраки, разбой;
И днесь перед юным днем, грядущим в славе,
С звучащими веселием лучами
И пурпурной разлитою зарей,
Он прочь бежит... еще одно воззренье
На пышное всемирное светило —
И легким паром с неба улетит.

Не знаю я и не ищу предвидеть,
Что мне готовит Муза! Лавр поэта
Почтит иль нет мой памятник надгробный?
Поэзия душе моей была
Младенчески-божественной игрушкой —
И суд чужой меня тревожил мало.
Но меч, друзья, на гроб мой положите!
Я воин был! я ратник был свободы,
И верою и правдой ей служил
Всю жизнь мою в ее священной брани!

* * *

⟨*ИЗ «ФАУСТА» ГЕТЕ*⟩

1

Звучит, как древле пред тобою
Светило дня в строю планет
И предначертанной стезею,
Гремя, свершает свой полет!
Ему дивятся серафимы,
Но кто досель его постиг!
Как в первый день непостижимы
Дела, всевышний, рук твоих!

И быстро, с быстротой чудесной,
Кругом вратится шар земной,
Меняя тихий свет небесный
С глубокой ночи темнотой.
Морская хлябь гремит валами
И роет каменный свой брег,
И бездну вод с ее скалами
Земли уносит быстрый бег!

И беспрерывно бури воют,
И землю с края в край мятут,
И зыбь гнетут, и воздух роют,
И цепь таинственную вьют.
Вспылал предтеча-истребитель,
Сорвавшись с тучи, грянул гром,
Но мы во свете, вседержитель,
Твой хвалим день и мир поем.

Тебе дивятся серафимы!
Тебе гремит небес хвала!
Как в первый день непостижимы,
Господь! руки твоей дела!

2

«Кто звал меня?» —
«О страшный вид!» —
«Ты сильным и упрямым чаром
Мой круг волшебный грыз недаром —
И днесь...» —
«Твой взор меня мертвит!» —
«Не ты ль молил, как исступленный,
Да узришь лик и глас услышишь мой?
Склонился я на клич упорный твой,
И се предстал! Какой же страх презренный
Вдруг овладел, титан, твоей душой?..
Та ль эта грудь, чья творческая сила
Мир целый создала, взлелеяла, взрастила
И, в упоении отваги неземной,
С неутомимым напряжением
До нас, духов, возвыситься рвалась?
Ты ль это, Фауст? И твой ли был то глас,
Теснившийся ко мне с отчаянным моленьем?
Ты, Фауст? Сей бедный, беспомóщный прах,
Проникнутый насквозь моим дхновеньем,
Во всех души своей дрожащий глубинах?..» —
«Не удручай сим пламенным презреньем
Главы моей! Не склонишь ты ея!
Так Фауст я, дух, как ты! твой равный я!..» —
«Событий бурю и вал судеб
Вращаю я,
Воздвигаю я,
Вею здесь, вею там, и высок и глубок!
Смерть и Рождение. Воля и Рок,
Волны в боренье,
Стихии во пренье,
Жизнь в измененье —
Вечный, единый поток!..
Так шумит на стану моем ткань роковая,
И богу прядется риза живая!» —

«Каким сродством неодолимым,
Бессмертный Дух! влечешь меня к себе!» —
«Лишь естеством, тобою постижимым,
Подобен ты — не мне!..»

3

Чего вы от меня хотите,
Чего в пыли вы ищете моей,
Святые гласы, там звучите,
Там, где сердца и чище и нежней.
Я слышу весть — но веры нет для ней!
О вера, вера, мать чудес родная,
Дерзну ли взор туда поднять,
Откуда весть летит благая!
Ах, но к нему с младенчества привычный
Сей звук родимый, звук владычный, —
Он к бытию манит меня опять!
Небес, бывало, лобызанье
Срывалось на меня в воскресной тишине,
Святых колоколов я слышал содроганье
В моей душевной глубине,
И сладостью живой была молитва мне!
Порыв души в союзе с небесами
Меня в леса и долы уводил —
И, обливаясь теплыми слезами,
Я новый мир себе творил.
Про игры юности веселой,
Про светлую весну благовестил сей глас —
Ах, и в торжественный сей час
Воспоминанье их мне душу одолело!
Звучите ж гласы, вторься гимн святой!
Слеза бежит! Земля, я снова твой!

4

Зачем губить в унынии пустом
Сего часа благое достоянье?
Смотри, как хижины с их зеленью кругом
Осыпало вечернее сиянье.

День пережит, — и к небесам иным
Светило дня несет животворенье.
О, где крыло, чтоб взвиться вслед за ним,
Прильнуть к его лучам, следить его теченье?
У ног моих лежит прекрасный мир
И, вечно вечереющий, смеется...
Все выси в зареве, во всех долинах мир,
Сребристый ключ в златые реки льется.
Над цепью диких гор, лесистых стран
Полет богоподобный веет,
И уж вдали открылся и светлеет
С заливами своими океан.
Но светлый бог главу в пучины клонит,
И вдруг крыла таинственная мощь
Вновь ожила и вслед за уходящим гонит,
И вновь душа в потоках света тонет.
Передо мною день, за мною нощь.
В ногах равнина вод, и небо над главою.
Прелестный сон!.. и суетный!.. прости!..
К крылам души, парящим над землею,
Не скоро нам телесные найти.
Но сей порыв, сие и ввыспрь и вдаль стремленье,
Оно природное внушенье,
У всех людей оно в груди...
И оживает в нас порою,
Когда весной, над нашей головою,
Из облаков песнь жавронка звенит,
Когда над крутизной лесистой
Орел, ширяяся, парит,
Поверх озер иль степи чистой
Журавль на родину спешит.

5

Державный Дух! ты дал мне, дал мне всё,
О чем молил я! Не вотще ко мне
Склонил в лучах сияющий свой лик!
Дал всю природу во владенье мне
И вразумил ее любить. Ты дал мне
Не гостем праздно-изумленным быть
На пиршестве у ней, но допустил

Во глубину груди ее проникнуть,
Как в сердце друга! Земнородных строй
Провел передо мной и научил —
В дуброве ль, в воздухе, иль в лоне вод —
В них братий познавать и их любить!
Когда ж в бору скрыпит и свищет буря,
Ель-великан дерев соседних с треском
Крушит в паденье ветви, глухо гул
Встает окрест и, зыблясь, стонет холм,
Ты в мирную ведешь меня пещеру,
И самого меня являешь ты
Очам души моей — и мир ее,
Чудесный мир, разоблачаешь мне!
Подымется ль, всеуслаждая, месяц
В сиянье кротком, и ко мне летят
С утеса гор, с увлаженного бора,
Сребристые веков минувших тени
И строгую утеху созерцанья
Таинственным влияньем умиляют!

* * *

<Из «Федры» Расина>

Едва мы вышли из Трезенских врат,
Он сел на колесницу, окруженный
Своею, как он сам, безмолвной стражей.
Микенскою дорогой ехал он,
Отдав коням в раздумии бразды.
Сии живые, пламенные кони,
Столь гордые в обычном их пылу,
Днесь, с головой поникшей, мрачны, тихи,
Казалося, согласовались с ним.
Вдруг из морских пучин исшедший крик
Смутил вокруг воздушное молчанье,
И в ту ж минуту страшный некий голос
Из-под земли ответствует стенаньем.
В груди у всех оледенела кровь,
И дыбом стала чутких тварей грива.
Но вот, белея над равниной влажной,
Подъялся вал, как снежная гора, —
Возрос, приблизился, о брег расшибся
И выкинул чудовищного зверя.
Чело его ополчено рогами,
Хребет покрыт желтистой чешуей.
Ужасный вол, неистовый дракон,
В бесчисленных изгибах вышел он.
Брег, зыблясь, стонет от его рыканья,
День, негодуя, светит на него,
Земля подвиглась, вал, его извергший,

Как бы объятый страхом, хлынул вспять.
Все скрылося, ища спасенья в бегстве, —
Лишь Ипполит, героя истый сын,
Лишь Ипполит, боязни недоступный,
Остановил коней, схватил копье
И, меткою направив сталь рукою,
Глубокой язвой зверя поразил.
Взревело чудо, боль копья почуя,
Беснуясь, пало под ноги коням
И, роя землю, из кровавой пасти
Их обдало и смрадом и огнем!
Страх обуял коней — они помчались,
Не слушаясь ни гласа, ни вожжей, —
Напрасно с ними борется возница,
Они летят, багря удила пеной;
Бог некий, говорят, своим трезубцем
Их подстрекал в дымящиеся бедра...
Летят по камням, дебрям... ось трещит
И лопнула... Бесстрашный Ипполит
С изломанной, разбитой колесницы
На землю пал, опутанный вожжами, —
Прости слезам моим!.. сей вид плачевный
Бессмертных слез причиной будет мне!
Я зрел, увы! как сына твоего
Влекли, в крови, им вскормленные кони!
Он кличет их... но их пугает клик —
Бегут, летят с истерзанным возницей.
За ним вослед стремлюся я со стражей, —
Кровь свежая стезю нам указует.
На камнях кровь... на терниях колючих
Клоки волос кровавые повисли...
Наш дикий вопль равнину оглашает!
Но, наконец, неистовых коней
Смирился пыл... они остановились
Вблизи тех мест, где прадедов твоих
Прах царственный в гробах почиет древних!..
Я прибежал, зову... с усильем тяжким
Он, вежды приподняв, мне подал руку:
«Всевышних власть мой век во цвете губит.
Друг, не оставь Ариции моей! —
Когда ж настанет день, что мой родитель,
Рассеяв мрак ужасной клеветы,

В невинности сыновней убедится,
О, в утешенье сетующей тени,
Да облегчит он узнице своей
Удел ее!.. Да возвратит он ей...»
При сих словах героя жизнь угасла,
И на руках моих, его державших,
Остался труп, свирепо искаженный,
Как знаменье богов ужасной кары,
Не распознаемый и для отцовских глаз!

* * *

<Из Манцони>

Высокого предчувствия
Порывы и томленье,
Души, господства жаждущей,
Кипящее стремленье
И замыслов событие
Несбыточных, как сон:

Все испытал он! — счастие,
Победу, заточенье,
И все судьбы пристрастие,
И все ожесточенье! —
Два раза брошен был во прах
И два раза на трон!..

Явился: два столетия
В борении жестоком,
Его узрев, смирились вдруг,
Как пред всесильным роком.
Он повелел умолкнуть им
И сел меж них судьей!

Исчез — и в ссылке довершил
Свой век неимоверный —
Предмет безмерной зависти
И жалости безмерной,
Предмет вражды неистовой,
Преданности слепой!..

Как над главою тонущих
Растет громадой пенной
Сперва игравший ими вал —
И берег вожделенный
Вотще очам трепещущим
Казавший с высока, —

Так память над душой его,
Скопившись, тяготела!..
Как часто высказать себя
Душа сия хотела
И, обомлев, на лист начатый
Вдруг падала рука!

Как часто пред кончиной дня —
Дня безотрадной муки —
Потупив молнии очей,
Крестом сложивши руки,
Стоял он — и минувшее
Овладевало им!..

Он зрел в уме: подвижные
Шатры, равнины боев,
Рядов пехоты длинный блеск,
Потоки конных строев —
Железный мир и дышащий
Велением одним!..

О, под толиким бременем
В нем сердце истомилось
И дух упал... Но сильная
К нему рука спустилась —
И к небу, милосердая,
Его приподняла!..

ВОПРОСЫ

(Из Гейне)

Над морем, диким полуночным морем
Муж-юноша стоит —
В груди тоска, в уме сомненья —
И сумрачный — он вопрошает волны:
«О, разрешите мне загадку жизни,
Мучительно-старинную загадку,
Над коей сотни, тысячи голов —
В египетских халдейских шапках,
Гиероглифами ушитых,
В чалмах, и митрах, и скуфьях,
И с париками и обритых —
Тьмы бедных человеческих голов
Кружилися, и сохли, и потели, —
Скажите мне, что значит человек?
Откуда он, куда идет,
И кто живет над звездным сводом?»
Попрежнему шумят и ропщут волны,
И дует ветр, и гонит тучи,
И звезды светят холодно и ясно, —
Глупец стоит — и ждет ответа!

* * *

⟨Из «ВИЛЬГЕЛЬМА МЕЙСТЕРА» ГЕТЕ⟩

1

Кто с хлебом слез своих не ел,
Кто в жизни целыми ночами
На ложе, плача, не сидел,
Тот не знаком с небесными властями.

Они нас в бытие манят —
Заводят слабость в преступленья,
И после муками казнят:
Нет на земли проступка без отмщенья!

2

Кто хочет миру чуждым быть,
Тот скоро будет чужд, —
Ах, людям есть кого любить, —
Что им до наших нужд!

Так! что вам до меня?
Что вам беда моя?
Она лишь про меня, —
С ней не расстанусь я!

Как крадется к милой любовник тайком:
«Откликнись, друг милый, одна ль?»

Так бродит ночию и днем
Кругом меня тоска,
Кругом меня печаль!..
Ах, разве лишь в гробу
От них укрыться мне —
В гробу, в земле сырой —
Там бросят и оне!

* * *

(*ИЗ ГЕТЕВА «ЗАПАДО-ВОСТОЧНОГО ДИВАНА»*)

Запад, Норд и Юг в крушенье,
Троны, царства в разрушенье, —
На Восток укройся дальный
Воздух пить патриархальный!..
В играх, песнях, пированье
Обнови существованье!..

Там проникну, в сокровенных,
До истоков потаенных
Первородных поколений,
Гласу божиих велений
Непосредственно внимавших
И ума не надрывавших,

Память праотцев святивших,
Иноземию претивших,
Где во всем хранилась мера,
Мысль — тесна, пространна вера,
Слово — в силе и почтенье,
Как живое откровенье!..

То у пастырей под кущей,
То в оазисе цветущей,
С караваном отдохну я,
Ароматами торгуя:
Из пустыни в поселенья
Исслежу все направленья.

Песни Гафица святые
Усладят стези крутые:
Их вожатый голосистый,
Распевая в тверди чистой,
В позднем небе звезды будит
И шаги верблюдов нудит.

То упьюся в банях ленью,
Верен Гафица ученью:
Дева-друг фату бросает,
Амвру с кудрей отрясает, —
И поэта сладкопевность
В девах райских будит ревность!..

И сие высокомерье
Не вменяйте в суеверье;
Знайте: все слова поэта
Легким роем, жадным света,
У дверей стучатся рая,
Дар бессмертья вымоляя!..

* * *

(ИЗ ГЕЙНЕ)

Закралась в сердце грусть, — и смутно
Я вспомянул о старине:
Тогда все было так уютно
И люди жили как во сне.

А нынче мир весь как распался:
Всё кверху дном, все сбились с ног —
Господь-бог на небе скончался,
И в аде сатана издох.

Живут как нехотя на свете,
Везде брюзга, везде раскол, —
Не будь крохи любви в предмете,
Давно б из мира вон ушел.

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

(*Из Гейне*)

Надежда и любовь — все, все погибло!..
И сам я, бледный, обнаженный труп,
Изверженный сердитым морем,
    Лежу на берегу,
    На диком, голом берегу!..
Передо мной — пустыня водяная,
За мной лежат и горе и беда,
А надо мной бредут лениво тучи,
Уродливые дщери неба!
Они в туманные сосуды
Морскую черпают волну,
И с ношей вдаль, усталые, влекутся,
И снова выливают в море!..
Нерадостный и бесконечный труд!
И суетный, как жизнь моя!..
    Волна шумит, морская птица стонет!
Минувшее повеяло мне в душу —
Былые сны, потухшие виденья,
Мучительно-отрадные встают!
    Живет на севере жена!
Прелестный образ, царственно-прекрасный!
Ее, как пальма, стройный стан
Обхвачен белой сладострастной тканью;
Кудрей роскошных темная волна,
Как ночь богов блаженных, льется
С увенчанной косами головы,
И в легких кольцах тихо веет

Вкруг бледного, умильного лица,
И из умильно-бледного лица
Отверсто-пламенное око,
Как черное сияет солнце!..
    О черно-пламенное солнце,
О, сколько, сколько раз в лучах твоих
Я пил восторга дикий пламень,
И пил, и млел, и трепетал, —
И с кротостью небесно-голубиной
Твои уста улыбка обвевала,
И гордо-милые уста
Дышали тихими, как лунный свет, речами
И сладкими, как запах роз...
И дух во мне, оживши, воскрылялся
И к солнцу, как орел, парил!..
Молчите, птицы, не шумите, волны,
Все, все погибло, счастье и надежда,
Надежда и любовь!.. Я здесь один, —
На дикий брег заброшенный грозою,
Лежу простерт — и рдеющим лицом
Сырой песок морской пучины рою!..

* * *

(*ИЗ ГЕЙНЕ*)

Друг, откройся предо мною —
Ты не призрак ли какой,
Как выводит их порою
Мозг поэта огневой!..

Нет, не верю: этих щечек,
Этих глазок милый свет,
Этот ангельский роточек —
Не создаст сего поэт.

Василиски и вампиры,
Конь крылат и змий зубаст —
Вот мечты его кумиры, —
Их творить поэт горазд.

Но тебя, твой стан эфирный,
Сих ланит волшебный цвет,
Этот взор лукаво-смирный —
Не создаст сего поэт.

ПЕВЕЦ

(*Из Гете*)

«Что там за звуки пред крыльцом,
За гласы пред вратами?..
В высоком тереме моем,
Раздайся песнь пред нами!..»
Король сказал, и паж бежит,
Вернулся паж, король гласит:
«Скорей впустите старца!..»

«Хвала вам, витязи, и честь,
Вам, дамы, обожанья!..
Как звезды в небе перечесть!
Кто знает их названья!..
Хоть взор манит сей рай чудес
Закройся взор, — не время здесь
Вас праздно тешить, очи!»

Седой певец глаза смежил
И в струны грянул живо —
У смелых взор смелей горит,
У жен — поник стыдливо.
Пленился царь его игрой
И шлет за цепью золотой
Почтить певца седого.

«Златой мне цепи не давай,
Награды сей не стою,
Ее ты рыцарям отдай,
Бесстрашным среди бою;

Отдай ее своим дьякам,
Прибавь к их прочим тяготам
Сие златое бремя!..

На божьей воле я пою,
Как птичка в поднебесье,
Не чая мзды за песнь свою —
Мне песнь сама возмездье!..
Просил бы милости одной,
Вели мне кубок золотой
Вином наполнить светлым!»

Он кубок взял и осушил
И слово молвил с жаром:
«Тот дом сам бог благословил,
Где это — скудным даром!..
Свою вам милость он пошли
И вас утешь на сей земли,
Как я утешен вами!..»

ЗАВЕТНЫЙ КУБОК

(*Из Гете*)

Был царь, как мало их ныне, —
По смерть он верен был:
От милой, при кончине,
Он кубок получил.

Ценил его высоко
И часто осушал, —
В нем сердце сильно билось,
Лишь кубок в руки брал.

Когда ж сей мир покинуть
Пришел его черед,
Он делит все наследство, —
Но кубка не дает.

И в замок, что над морем,
Друзей своих созвал —
И с ними на прощанье,
Там сидя, пировал.

В последний раз упился
Он влагой огневой, —
Над бездной наклонился
И в море — кубок свой...

На дно пал кубок морское, —
Он пал, пропал из глаз,
Забилось ретивое, —
Царь пил в последний раз!..

НОЧНЫЕ МЫСЛИ

(*Из Гете*)

Вы мне жалки, звезды-горемыки!
Так прекрасны, так светло горите,
Мореходцу светите охотно,
Без возмездья от богов и смертных!
Вы не знаете любви—и ввек не знали!
Неудержно вас уводят Оры
Сквозь ночную беспредельность неба.
О! какой вы путь уже свершили
С той поры, как я в объятьях милой
Вас и полночь сладко забываю!

ВЕСЕННЕЕ УСПОКОЕНИЕ

(*Из Уланда*)

О, не кладите меня
В землю сырую —
Скройте, заройте меня
В траву густую!

Пускай дыханье ветерка
Шевелит травою,
Свирель поет издалека,
Светло и тихо облака
Плывут надо мною!..

* * *

(ИЗ ШЕКСПИРА)

1

Любовники, безумцы и поэты
Из одного воображенья слиты!..
Тот зрит бесов, каких и в аде нет
(Безумец то есть); сей, равно безумный,
Любовник страстный, видит, очарован,
Елены красоту в цыганке смуглой.
Поэта око, в светлом исступленье,
Круговращаясь, блещет и скользит
На землю с неба, на небо с земли —
И лишь создаст воображенье виды
Существ неведомых, поэта жезл
Их претворяет в лица и дает
Теням воздушным местность иназванье!..

2

ПЕСНЯ

Заревел голодный лев,
И на месяц волк завыл:
День с трудом преодолев,
Бедный пахарь опочил.

Угли гаснут на костре,
Дико филин прокричал
И больному на одре
Скорый саван провещал.

Все кладбища, сей порой,
Из зияющих гробов
В сумрак месяца сырой
Выпускают мертвецов!..

* * *

(ИЗ БЕРАНЖЕ)

Пришлося кончить жизнь в овраге:
Я слаб и стар — нет сил терпеть!
«Пьет, верно», — скажут о бродяге, —
Лишь бы не вздумали жалеть!
Те уходя пожмут плечами,
Те бросят гривну бедняку!
Счастливый путь, друзья! Бог с вами!
Я и без вас мой кончить век могу!

Насилу годы одолели,
Знать, люди с голода не мрут.
Авось, — я думал, — на постели
Они хоть умереть дадут,
Но их больницы и остроги —
Все полно! Силой не войдешь!
Ты вскормлен на большой дороге —
Где жил и рос ⟨?⟩, старик, там и умрешь.

Я к мастерам ходил сначала,
Хотел кормиться ремеслом.
«С нас и самих работы мало!
Бери суму да бей челом».
К вам, богачи, я потащился,
Грыз кости с вашего стола,
Со псами вашими делился, —
Но я, бедняк, вам не желаю зла.

Я мог бы красть, я — Ир убогой,
Но стыд мне руки оковал;
Лишь иногда большой дорогой
Я дикий плод с дерев сбивал...
За то, что нищ был, между вами
Век осужден на сиротство...
Не раз сидел я за замками,
Но солнца свет — кто продал вам его?

Что мне до вас и вашей славы,
Торговли, вольностей, побед?
Вы все передо мной неправы —
Для нищего отчизны нет!
Когда пришлец вооруженный
Наш пышный город полонил,
Глупец, я плакал, раздраженный,
Я клял врага, а враг меня кормил!

Зачем меня не раздавили,
Как ядовитый гад какой?
Или зачем не научили —
Увы! — полезной быть пчелой?
Из ваших, смертные, объятий
Я был извержен с первых 〈лет〉,
Я в вас благословил бы братий, —
Днесь при смерти бродяга вас клянет!

* * *

(ИЗ ГЕЙНЕ)

В которую из двух влюбиться
Моей судьбой мне суждено?
Прекрасна дочь и мать прекрасна,
Различно милы, но равно.

Неопытно-младые члены
Как сладко ум тревожат мой! —
Но гениальных взоров прелесть
Всесильна над моей душой.

В раздумье, хлопая ушами,
Стою, как Буриданов друг
Меж двух стогов стоял, глазея:
Который лакомей из двух?..

ПОМИНКИ

(Из Шиллера)

Пала царственная Троя,
Сокрушен Приамов град,
И ахеяне, устроя
Свой на родину возврат,
На судах своих сидели,
Вдоль эгейских берегов,
И пэан хвалебный пели,
Громко славя всех богов...
    Раздавайся, глас победный!
    Вы к брегам родной земли
    Окрыляйтесь, корабли,
    В путь возвратный, в путь безбедный.

И сидела в длинном строе
Грустно-бледная семья:
Жены, девы падшей Трои,
Голося и слезы лья,
В горе общем и великом
Плача о себе самих,
И с победным, буйным кликом
Дико вопль сливался их...
    «Ждет нас горькая неволя
    Там, вдали, в стране чужой.
    Ты прости, наш край родной!
    Как завидна мертвых доля!»

И воздвигся, жертвы ради,
Приноситель жертв, Калхас,
Градозиждущей Палладе,

Градорушащей молясь,
Посейдона силе грозной,
Опоясавшего мир,
И тебе, эгидоносный
Зевс, сгущающий эфир!
　　Опрокинут, уничтожен
　　Град великий Илион!
　　Долгий, долгий спор решен, —
　　Суд бессмертных непреложен.

Грозных полчищ воевода,
Царь царей, атреев сын,
Обозрел толпы народа,
Уцелевший строй дружин.
И внезапною тоскою
Омрачился царский взгляд:
Много их пришло под Трою,
Мало их пойдет назад.
　　Так возвысьте ж глас хвалебный,
　　Пой и радуйся стократ,
　　У кого златой возврат
　　Не похитил рок враждебный!

Но не всем сужден от бога
Мирный, радостный возврат:
У домашнего порога
Многих Керы сторожат...
Жив и цел вернулся с бою —
Гибнет в храмине своей!.. —
Рек Афиной всеблагою
Вдохновенный Одиссей...
　　Тот лишь дом и тверд и прочен,
　　Где семейный свят устав;
　　Легковерен женский нрав,
　　И изменчив, и порочен.

И супругой, взятой с бою,
Снова счастливый Атрид,
Пышный стан обвив рукою,
Страстный взор свой веселит.
Злое злой конец приемлет!
За нечестьем казнь следит —

В небе суд богов не дремлет!
Право царствует Кронид...
    Злой конец началу злому!
    Правоправящий Кронид
    Вероломцу страшно мстит
    И семье его и дому.

Хорошо любимцам счастья,—
Рек Аякса брат меньшой,—
Олимпийцев самовластье
Величать своей хвалой!..
Неподвластно высшей силе
Счастье в прихотях своих:
Друг Патрокл давно в могиле,
А Терсит еще в живых!..
    Счастье жеребия сеет
    Своевольною рукой.
    Веселись и песни пой
    Тот, кого светило греет!

Будь утешен, брат любимый!
Память вечная тебе!..
Ты — оплот несокрушимый
Чад ахейских в их борьбе!..
В день ужасный, в день кровавый
Ты один за всех стоял!
Но не сильный, а лукавый
Мзду великую стяжал...
    Не врага рукой победной —
    От руки ты пал своей...
    Ах! и лучших из людей
    Часто губит гнев зловредный.

И твоей теперь державной
Тени, доблестный Пелид!
Сын твой, Пирр, воитель славный,
Возлияние творит...
«Как тебя, о мой родитель,
Никого, — он возгласил, —
Зевс, великий промыслитель,
На земле не возносил!»

На земле, где все изменно,
Выше славы блага нет.
Нашу персть — земля возьмет,
Имя славное — нетленно.

Хоть о падших, побежденных
И молчит победный клик,
Но и в родах отдаленных,
Гектор, будешь ты велик!..
Вечной памяти достоин —
Сын Тидеев провещал —
Кто, как честный, храбрый воин,
Край отцов спасая, пал...
Честь тому, кто, не робея,
Жизнь за братий положил...
Победитель — победил,
Слава падшего святее!..

Старец Нестор днесь, маститый
Брашник, кубок взяв, встает
И сосуд, плющом обвитый,
Он Гекубе подает:
«Выпей, мать, струи целебной
И забудь весь свой урон!
Силен Вакха сок волшебный,
Дивно нас врачует он...»
Мать, вкуси струи целебной
И забудь судеб закон.
Дивно нас врачует он,
Бога Вакха дар волшебный.

И Ниобы древней сила
Горем злым удручена,
Соку дивного вкусила
И утешилась она.
Лишь сверкнет в застольной чаше
Благодатное вино,
В Лету рухнет горе наше
И пойдет, как ключ, на дно.
Да, пока играет в чаше
Всемогущее вино,
Горе в Лету снесено,
В Лете тонет горе наше!

И воздвиглась на прощанье
Провозвестница жена,
И исполнилась вещанья
Вдохновенного она;
И пожарище родное
Обозрев в последний раз:
«Дым и пар — здесь все земное,
Вечность, боги, лишь у вас!»
Как уходят клубы дыма,
Так уходят наши дни!
Боги, вечны вы одни, —
Все земное идет мимо!

* * *

<*ИЗ ГЕТЕ*>

Kennst du das Land?..

Ты знаешь край, где мирт и лавр растет,
Глубок и чист лазурный неба свод,
Цветет лимон, и апельсин златой
Как жар горит под зеленью густой?..
    Ты был ли там? Туда, туда с тобой
    Хотела б я укрыться, милый мой.

Ты знаешь высь с стезей по крутизнам?
Лошак бредет в тумане по снегам,
В ущельях гор отродье змей живет,
Гремит обвал и водопад ревет?..
    Ты был ли там? Туда, туда с тобой
    Лежит наш путь — уйдем, властитель мой.

Ты знаешь дом на мраморных столпах?
Сияет зал и купол весь в лучах;
Глядят кумиры, молча и грустя:
«Что, что с тобою, бедное дитя?..»
    Ты был ли там? Туда, туда с тобой
    Уйдем скорей, уйдем, родитель мой.

* * *

<ИЗ ШИЛЛЕРА>

Es lächelt der See...

С озера веет прохлада и нега, —
Отрок заснул, убаюкан у брега.
    Блаженные звуки
    Он слышит во сне;
    То ангелов лики
    Поют в вышине.

И вот он очнулся от райского сна, —
Его, обнимая, ласкает волна,
    И слышит он голос,
    Как ропот струи;
    «Приди, мой красавец,
    В объятья мои!»

* * *

<ИЗ МИКЕЛАНДЖЕЛО>

Молчи, прошу — не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать — удел завидный...
Отрадно спать, отрадней камнем быть.

* * *

(ИЗ ШИЛЛЕРА)

С временщиком Фортуна в споре
К убогой Мудрости летит:
«Сестра, дай руку мне — и горе
Твоя мне дружба облегчит.

Дарами лучшими моими
Его осыпала, как мать, —
И что ж? Ничем ненасытимый,
Меня скупой он смел назвать...

София, верь мне, будем дружны!
Смотри: вот горы серебра —
Кинь заступ твой — теперь ненужный, —
С нас будет, милая сестра».

«Лети! — ей Мудрость отвечала: —
Не слышишь? Друг твой жизнь клянет —
Спаси безумца от кинжала,
А мне в Фортуне нужды нет...»

* * *

<ИЗ ЛЕНАУ>

Когда, что звали мы своим,
Навек от нас ушло
И, как под камнем гробовым,
Нам станет тяжело, —

Пойдем и взглянем вдоль реки,
Туда, по склону вод,
Куда стремглав бегут струи,
Куда поток несет, —

Неодолим, неудержим,
И не вернется вспять...
И чем мы долее глядим,
Тем легче нам дышать...

И слезы льются из очей,
И видим мы сквозь слез,
Как всё быстрее и быстрей
Волненье понеслось...

Душа впадает в забытье —
И чувствует она,
Что вот помчала и ее
Великая волна.

В РИМЕ

(С французского)

Средь Рима древнего сооружалось зданье —
То Нерон воздвигал дворец свой золотой.
Под самою дворца гранитною пятой
Былинка с кесарем вступила в состязанье:
«Не уступлю тебе, знай это, царь земной,
И ненавистное твое я сброшу бремя».
— Как, мне не уступить? Мир гнется подо мной! —
«Весь мир тебе слугой, а мне слугою — Время».

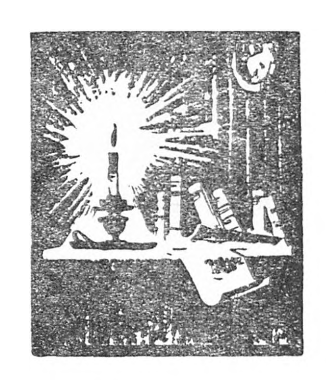
МОТИВ ГЕЙНЕ

Если смерть есть ночь, если жизнь есть день, —
Ах, умаял он, пестрый день, меня!..
И сгущается надо мною тень,
Ко сну клонится голова моя...

Обессиленный, отдаюсь ему...
Но все грезится сквозь немую тьму, —
Где-то там, над ней, ясный день блестит,
И незримый хор о любви гремит...

<Из Гете>

Радость и горе в живом упоенье,
Думы и сердце в вечном волненье,
В небе ликуя, томясь на земли,
    Страстно ликующей,
    Страстно тоскующей,
Жизни блаженство в одной лишь любви...



• ПИСЬМА •



1

И. С. ГАГАРИНУ

Минхен. 7/19 июля 1836.

Любезнейший Гагарин, вы заслуживаете премию добродетели за вашу снисходительную и неизменную дружбу ко мне и за то, как вы ее доказываете. По сделанному подсчету я получил от вас за последнее время два добрых и прекрасных письма, доставивших мне все то удовольствие, какое я могу получить от писем, и две русские книги, просмотренные мной со всем интересом, какой я способен еще проявлять к печатному слову. И за все эти благодеяния я не выразил вам своей признательности, не подал даже ни малейшего признака жизни. Сознаюсь, — это низко, но пусть это вас не расхолаживает. Пусть ваша дружба окажется выше моего молчания, ибо это молчание, как вам хорошо известно, так мало соответствует моему *я*, что скорее служит его отрицанием.

Ваше последнее письмо доставило мне особое удовольствие,—не удовольствие тщеславия или самолюбия (такого рода радости отжили для меня свой век), но удовольствие, которое испытываешь, находя подтверждение своим мыслям в сочувствии ближнего. В сущности как только человек расстался со сферой чувств, для него, пожалуй, не остается иной реальности, кроме этого сочувствия, этой умственной симпатии. На этом основаны все религии, все общества, все языки. И тем не менее, любезный друг, я сильно сомневаюсь, чтобы бумагомаранье, которое я вам послал, заслуживало чести быть напечатанным, в особенности отдельной книжкой. Теперь в России каждое полугодие печатаются беско-

нечно лучшие произведения. Еще недавно я с истинным наслаждением прочитал три повести *Павлова*, главным образом последнюю. Кроме художественного таланта, достигающего тут редкой зрелости, я был в особенности поражен возмужалостью, совершеннолетием русской мысли. И она сразу коснулась самой сердцевины общества. Свободная мысль сразилась с роковыми общественными вопросами и, однако, не утратила художественного беспристрастия. Картина верна, и в ней нет ни пошлости, ни карикатуры. Поэтическое чувство не исказилось напыщенностью выражений... Мне приятно воздать честь русскому уму, по самой сущности своей чуждающемуся риторики, которая составляет язву или скорее первородный грех французского ума. Вот отчего *Пушкин* так высоко стоит над всеми современными французскими поэтами... Но возвращаюсь к моим *виршам*: делайте с ними что хотите, без всякого ограничения или *оговорок*, ибо они — ваша собственность... То, что я вам послал, составляет лишь крошечную частицу *вороха*, накопленного временем, но погибшего по воле судьбы или, вернее, некоего предопределения. По моем возвращении из Греции, принявшись как-то в сумерки разбирать свои бумаги, я уничтожил большую часть моих поэтических упражнений и заметил это лишь много спустя. В первую минуту я был несколько раздосадован, но скоро утешил себя мыслью о пожаре Александрийской библиотеки. Тут был, между прочим, перевод всего первого действия второй части «Фауста». Может статься, это было лучшее из всего.

Однако ежели вы настаиваете на печатании, обратитесь к *Раичу*, проживающему в Москве; пусть он передаст вам все, что я когда-то отсылал ему и что частью было помещено им в довольно пустом журнале, который он выпускал под названием «Бабочка».

Но довольно об этом предмете... Подробности, сообщенные вами о нашей прекрасной Есфири и ее Мардохее, доставили мне большое удовольствие... На всякого, кто знает его, как вы и как вы имеет возможность наблюдать его в новом его положении, он несомненно должен производить весьма забавное впечатление. Сколько хлопот доставит он себе попустому! Как тщательно будет он зашифровывать то, что можно безнаказанно поместить в с.-петербургской газете. Надеюсь, однако, что вся эта затрата проницатель-



Эл. Ф. ТЮТЧЕВА

Акварель И. Шёлера 1830-е гг.

ности и осмотрительности не поставит его в неловкое положение. Впрочем, обаяние, природное обаяние его жены, сумеет, в случае надобности, предохранить его от последствий его осторожности. Будь у него друзья, они должны бы почаще обращаться к нему с наставлениями, какими напутствуют путешествующих по горам на маленьких горных лошадках, поступь коих столь верна и осторожна. Мне, само собою разумеется, до смерти хочется написать госпоже Амалии, но мешает глупейшее препятствие. Я просил ее об одном одолжении, и теперь мое письмо могло бы показаться желанием о нем напомнить. Ах, что за напасть! И в какой надо было мне быть нужде, чтобы так испортить дружеские отношения! Все равно, как если бы кто-нибудь, желая прикрыть свою наготу, не нашел для этого иного способа, как выкроить панталоны из холста, расписанного Рафаэлем... И, однако, из всех известных мне в мире людей она, бесспорно, единственная, по отношению к которой я с наименьшим отвращением чувствовал бы себя обязанным.

Ваш дядюшка уехал дней десять тому назад в Карлсбад, оставив меня в довольно большом затруднении. Уезжая, он пожелал уполномочить меня в качестве поверенного в делах при Гизе, увещевая меня в то же время не сообщать об этом в Петербург, в министерство. Это все равно что отправить письмо на почту, не надписав на нем адреса. Несмотря на всю охоту, я не мог исполнить этого желания, так как на другой же день по его отъезде получил бумаги, кои принужден был переслать в департамент. Таким образом его инкогнито в Карлсбаде грозит серьезная опасность.

Минхен опустел. В прошлом месяце я ездил курьером в Вену, где провел недели две. Моя жена еще не вернулась. Ожидаю ее на этой неделе. В Минхене видишь либо беременных, либо только что разрешившихся женщин. В числе первых красивая госпожа Анна, которая поселилась в доме *Майо* в Английском саду. Сейчас это единственное обитаемое место Минхена. Скоро и оно будет недоступным... Принц Карл уже принялся молиться, а Вебер почти закончил приданое для новорожденного... Не пишу вам про свадьбу Бургуэна с мадемуазель Идой, так же как про покушение Алибо. Подобные нелепости всегда слишком рано узнаются... Почти все верхи дипломатического корпуса разъехались,

здесь двигаются лишь *membra disjecta*[1] животного, что, однако, не мешает погоде быть уже две недели исключительно прекрасной. Госпожа де Сетто находится в Эглоссгейме вдвоем с нунцием, и уж конечно не я стану нарушать их tête-à-tête. Что касается... но довольно собственных имен. Простите.

Ф. Тютчев

2

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

<Петербург.> 11 июня 1837.

Благоволите, князь, простить меня за то, что, не имея положительно никаких *местных знакомств*, я беру на себя смелость обратиться к вам с просьбой не отказаться вручить кому следует причитающиеся с меня 25 рублей за подписку на 4 тома «Современника». В первом из них есть вещи прекрасные и грустные. Это поистине *замогильная* книга, как говорил Шатобриан, и я могу добавить с полной искренностью, что то обстоятельство, что я получил ее из ваших рук, придает ей новую цену в моих глазах.

Примите, князь, уверение в моем особом уважении.

Ф. Тютчёв

3

В. А. ЖУКОВСКОМУ

Турин. 6/18 октября 1838.

Милостивый государь

Василий Андреевич.

Отправляя в Вену нашего постоянного трехмесячного курьера, я долгом поставил послать его в *Комо,* для принятия приказаний его императорского высочества. Не имея сношения ни с кем из окружающих великого князя,

---

[1] Разрозненные части *(лат.)*.

простите ли вы мне, милостивый государь, что я вас осмеливаюсь обеспокоить просьбою дать знать, как и кому следует, о посылаемом курьере?

Я сам, известившись вчера только о прибытии великого князя в *Комо*, не замедлю туда явиться в надежде, что он не лишит меня счастия или, лучше сказать, вернее, согласнее с моим теперешним положением, не лишит меня утешения его видеть.

И от вас, — простите ли вы мне это требование, — и от вас я, вам чужой, почти вовсе не знакомый, жду и надеюсь утешения. Некогда, милостивый государь, я пользовался вашею благосклонностию. И в последнее время, я знаю через князя Вяземского и других ваших петербургских друзей, вы не раз отзывались обо мне с участием.

Проездом через Милан вы известились, может быть, о моем несчастии, о моей потере?.. И та, которой нет... сколько раз по возвращении своем из Петербурга и рассказывая мне про свою тамошнюю жизнь, упоминала она мне про вас... Вот почему, не будучи ни суевером, ни сумасбродом, я от свидания с вами жду некоторого облегчения...

Есть ужасные годины в существовании человеческом... Пережить все, чем мы *жили* — *жили* в продолжение целых двенадцати лет... Что обыкновеннее этой судьбы — и что ужаснее? Все пережить и все-таки жить... Есть слова, которые мы всю нашу жизнь употребляем, не понимая... и вдруг поймем... и в одном слове, как в провале, как в пропасти, все обрушится.

В несчастии сердце верит, т.е. понимает. И потому я не могу не верить, что свидание с вами в эту минуту, самую горькую, самую нестерпимую минуту моей жизни, — не слепого случая милость. Вы недаром для меня перешли Альпы... Вы принесли с собою то, что после нее я более всего любил в мире: отечество и поэзию... Не вы ли сказали где-то: *в жизни много прекрасного и кроме счастия*. В этом слове есть целая религия, целое откровение... Но ужасно, несказанно ужасно для бедного человеческого сердца отречься навсегда от счастия. Простите. Вера моя не обманет меня. Я увижусь с вами...

Ф. Тютчев

4

И. Н. и Е. Л. ТЮТЧЕВЫМ

Минхен. 1/13 декабря 1839.

Я получил ваше письмо, любезнейшие папенька и маменька, 24 числа прошлого месяца, в самый день именин маменьки. В этот день и накануне я много думал о вас и не смел надеяться на письмо. Оно доставило мне большое удовольствие. Мне не терпится свидеться с вами. И если бог продлит нам жизни до будущей весны, мы непременно увидимся. Дело это решенное, бесповоротно решенное. Моя жена пишет вам и вложит письмо в этот же конверт. Уже три месяца своим колебанием, своим откладыванием я мешал ей написать вам. Не сердитесь на меня, особливо же не сочтите за лень эту невозможность писать. Я решительно не понимаю, что это такое. Однако не беспокойтесь обо мне, ибо меня охраняет преданность существа, лучшего из когда-либо созданных богом. Это только дань справедливости. Я не буду говорить вам про ее любовь ко мне; даже вы, может статься, нашли бы ее чрезмерной. Но чем я не могу достаточно нахвалиться, это ее нежностью к детям и ее заботой о них, за что не знаю, как и благодарить ее. Утрата, понесенная ими, для них почти возмещена. Тотчас по приезде в Минхен мы взяли их к себе, и две недели спустя дети так привязались к ней, как будто у них никогда не было другой матери. Но я и не встречал натуры более располагающей к себе детей, нежели ее. Да, это натура весьма благородная и прекрасная, и я настоятельно поручаю ее вашей приязни. Подробности вы найдете в ее письме. Мы приехали сюда в конце сентября. Мы намеревались провести зиму в Петербурге, но ввиду того, что к этому времени положение Нести вполне определилось, нам пришлось отказаться от этого проекта. Но, как я уже говорил вам, он только отложен до будущей весны.

По приезде сюда я написал графу Нессельроде, чтобы сложить с себя должность секретаря в Турине и просить его разрешения провести зиму за границей. Он очень учтиво ответил мне согласием на мою просьбу. Теперь вот каковы мои намерения. В будущем мае мы поедем в Петербург, как я обязался перед министерством, и, если только

мне не предложат какого-либо поста положительно выгодного, какого-либо необычайного повышения — что мало вероятно — если, повторяю, не будет подобной счастливой случайности, я твердо решился оставить дипломатическое поприще и окончательно обосноваться в России. Нести желает этого не менее, чем я. Мне надоело существование человека без родины и пора подумать о приискании приюта для надвигающихся лет. Особливо же пора свидеться с вами, чтобы более вас не покидать. Да дарует нам господь еще несколько лет, дабы возместить потерянное время.

Предполагаю, что это письмо застанет вас еще в Минске у Дашеньки и ее мужа. Передайте им тысячу дружеских приветствий от меня. Я не писал Дашеньке после ее последнего письма. Но это потому, что есть вещи, о коих невозможно говорить, — эти воспоминания кровоточат и никогда не зарубцуются. Николушка уже, должно быть, от вас уехал. Если это так, то благоволите, прошу вас, доставить ему в Варшаву письмо моей жены. Что до меня, я рассчитываю написать ему непосредственно. Но в Варшаве ли он еще и каков его адрес?

Не пишу вам о нашем здешнем образе жизни; мы живем очень уединенно и тихо. Дети, Мальтиц и его жена, тетка Клотильды, ее отец и братья — вот кто составляет наше обычное общество. Я часто видаю *Северина,* который очень дружески ко мне относится. Из русских здесь еще старый граф *Толстой* со своей дочерью, графиней *Закревской,* которая всякий раз, когда я у него бываю, поручает мне передать вам поклон. На этот раз простите. Напишу вам через несколько дней.

5

ВАЦЛАВУ ГАНКЕ

<Мюнхен. 16 апреля 1843.>

Милостивый государь.

Как мне достойно благодарить вас за вашу память и за ваш драгоценный подарок? При виде этой пресловутой книжицы в ее новом щегольском наряде, этих многоразличных, многозначительных письмен одной Великой Семьи — особливо при виде вашего имени, я снова очутился в Праге,

над золотистыми струями вашей именитой Молдавы, на высотах Градчина, в тихой и минутной беседе с вами, милостивый государь.

Волшебный город эта Прага! — Я, москвич, должен сознаться, что ничего не видывал краше ее... Ни один город не оставил во мне такой живой памяти. Ни один город не смотрит на посетителя такими чудными, человечески-понятливыми глазами... В них столько жизни настоящей и столько пророческого... Вероятно, у вашей пророчицы Ванды[1] были такие же глаза. — В самом деле, нельзя, посетив Прагу, нельзя не чувствовать на каждом шагу, что на этих горах, под полупрозрачною пеленою великого былого, неотразимо и неизбежно зреет еще большая будущность!

Простите. На днях я отправляюсь на несколько месяцев в Россию. По расстоянию я буду далее от вас, по чувству — ближе... Ибо я буду там, где ваше имя, милостивый государь, не просто ценится, как европейская именитость, но где дорожат им, как родовым достоянием, — где с каждым днем, по мере развития народного самопознания, растет и крепнет сочувствие с вами и с вашими.

Простите, будьте счастливы и действуйте долго и успешно на пользу и благо вашей родины и всего славянского мира. Urbi et orbi[2].

Поручая себя вашей памяти и дружбе, с искренним почтением и преданностью имею быть,
милостивый государь,

ваш покорный слуга

Ф. Тютчев

Минхен.
Сего 16/28 апреля 1843.

6

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Москва. 14 июля <1843>.

Милая моя кисанька, ах, зачем я уже не на четвертой странице моего письма! Как тяжко гнетет мое сознание мысль о страшном расстоянии, разделяющем нас! Мне ка-

---

[1] В подлиннике слово «Ванды» рукою Ганки исправлено на полях: «Любуши» *(ред.)*.

[2] Городу и миру (*лат.*).

жется, будто, для того чтобы говорить с тобою, я должен приподнять на себе целый мир. Вот у меня под рукою, перед глазами, твой милый почерк, а любимая рука, что начертала эти буквы, — что делает она в эту минуту? Разлука представляется необъяснимой загадкой тому, кто умеет ее чувствовать...

Вчера, 13-го, между 2 и 3 часами пополудни я дорого дал бы за то, чтобы ты оказалась возле меня. Я был в Кремле. Как бы ты восхитилась и прониклась тем, что открывалось моему взору в тот миг! Беру в свидетели самого господина де Кюстина, которого, разумеется, нельзя заподозрить в пристрастии. Это единственное во всем мире зрелище. Отсылаю тебя к третьему тому его труда. Если тебе нравится Прага, то что же сказала бы ты о Кремле!

Оттуда я отправился посмотреть на дом, который принадлежал некогда моему отцу и где протекло все мое детство. Он представился мне как во сне, и каким постаревшим и изнуренным я почувствовал себя очнувшись! Мне пришлось вспомнить, что я обладаю тобою, дабы мое сердце не изнемогло и не растаяло. Однако нелепо пытаться передать эти ощущения. А как иные из них тягостны! Всякий раз, когда мне предстоит встреча со старым знакомцем, меня охватывает невыразимая тревога. Нет, я и не воображал, какие разрушения может произвести в бедном человеческом механизме двадцатилетний срок! Какое отвратительное колдовство! Люди, воспоминание о которых здешние места оживили во мне до такой остроты, что мне стало казаться, будто я только накануне расстался с ними, предстали передо мною почти неузнаваемыми от разрушений времени. О, что за ужас! Не могу не верить в некое страшное колдовство, когда вижу эти сморщенные, поблекшие лица, эти беззубые рты. Еще вчера мне попался на глаза такой пример. Это мой учитель русского языка; я расстался с ним двадцать лет тому назад, когда он был во цвете лет, а нынче это лишенный почти всех зубов человечек, со старческой физиономией, представляющей, так сказать, карикатуру на его прежнее лицо. Я никак не могу опомниться от этого удара.

Излишне говорить, что при каждом таком потрясении сердце во мне сжимается и устремляется к тебе. Но и ты постареешь... И мне кажется, что без меня ты больше во власти этого недуга, именуемого временем.

Бедная моя кисанька, чего бы ни дал я, чтобы увидеть тебя хоть на единый краткий миг. Как бы это успокоило меня!

Покончив с призраками, могу с радостью уверить тебя, что у меня есть все основания быть довольным своим путешествием. Все устраивается как нельзя лучше, и даже лучше, нежели я смел надеяться. Со стороны родителей я встретил прежнюю привязанность ко мне; они, право, трогательны своею преданностью и покорностью. Они входят во все мои намерения, во все мои светские обязанности; они со всем соглашаются, со всем примиряются. — Что касается дел, то вот что предложил мне отец. Он теперь же передает нам в полную собственность две трети своего состояния, предоставляя поделить по своему усмотрению доходы с земель, которыми мы будем владеть сообща. Само собой разумеется, что, так как на брате будут лежать все обязанности и все бремя управления — я не премину предоставить ему значительную часть дохода, скажем — две трети. Остающаяся часть составит по словам тех, кто знаком с нашими делами, никак не меньше 10—12 тысяч рублей в год. Такой порядок, впрочем, останется в силе лишь впредь до окончательной передачи наследства, которое, разумеется, будет разделено по совсем иному принципу — по принципу полного равенства. — Вот как обстоят дела. Для завершения и закрепления предложенных условий остается только разрешить несколько чисто формальных и несложных вопросов. Теперь все зависит от доброй воли и умения брата. Пока что, мне кажется, он воодушевлен самыми лучшими намерениями. Он готов пожертвовать собой и целый год, а если нужно будет, то и больше, безвыездно прожить в деревне. Подчас он старается изменить свое отношение к отцу, лучше которого, право, нет человека на свете. И не сочти за тщеславие или самообольщение, если я скажу тебе, что для их примирения мое присутствие здесь было далеко не бесполезно. Оно дало и другой, не менее приятный результат, а именно — я изменил мнение о моем зяте. Право, я повинен перед ним; я ошибался на его счет. Это было вызвано, вероятно, тогдашними обстоятельствами и состоянием моего здоровья. Он далеко не интриган, как я думал раньше; два года назад он погубил себя во мнении правительства излишней прямотой и независимостью характера. В подтверждение моих слов следовало бы при-

вести некоторые подробности, но достаточно тебе знать, что сейчас, а также в отношении всех предстоящих хлопот, его поведение со всех точек зрения безупречно. Вот тебе добрые вести, не так ли? — Прощай, моя милая кисанька. Складываю это письмо, если только не вздумаю потом его продолжить.

7

И. Н. и Е. Л. ТЮТЧЕВЫМ

С.-Петербург. 13 ноября 1844.

Как могли вы подумать, любезнейшие папенька и маменька, чтобы я, как бы ни сложились обстоятельства, покинул Россию — уж не говорю не повидавшись с вами, но даже не проведя с вами нескольких месяцев. Будь я назначен послом в Париж с условием немедленно выехать из России, и то я поколебался бы принять это назначение. Говорю вам это, чтобы доказать, сколь мало я расположен уезжать, — а жена моя еще того меньше. Одна мысль вернуться в Минхен действует на нее, как кошмар, и она только теперь, при сопоставлении, во всей полноте ощущает ту скуку, какую испытывала там в последнее время. А затем — почему бы не признаться в этом? — Петербург, в смысле общества, представляет, может статься, одно из наиболее приятных местожительств в Европе, а когда я говорю — Петербург, это — Россия, это — русский характер, это — русская общительность. Вот что ей нравится и вот почему она так стремится в Москву, ибо уверена что в Москве найдет это в еще большей степени.

Что касается меня, то, достигнув сорокалетнего возраста и никогда в сущности не живши среди русских, я очень рад, что нахожусь в русском обществе, и весьма приятно поражен выказываемой мне благожелательностью. Это не только льстит моему тщеславию. Тут другое чувство — чувство, которое лучше тщеславия. Что до моих интересов, до моих служебных дел, я имею полное основание надеяться, что в конце концов пребывание здесь и им послужит на пользу. До сих пор моя карьера терпела неудачу именно вследствие постоянного моего отсутствия. Все мои русские отношения завязались за границей. Вице-канцлер выказывает мне

внимание и, что еще важнее, интересуется также делом, — тем делом, которое я перед ним отстаиваю. Что до графини Не⟨ссельрод⟩, она была необычайно любезна со мной и также весьма ласково приняла ⟨мою жену⟩, которая намедни была у нее на вечере. К сожалению, она уехала вчера в Милан навестить приятельницу, у коей пробудет четыре недели. Это некстати. Довольно близко познакомились мы также с госпожой Зеебах, дочерью графа Нессельроде, доброй и симпатичной особой. На днях мы обедали у графини Воронцовой, которая принимает раз в неделю, и т. д. и т. д. Сегодня вечером я иду к госпоже Смирновой, у которой будет великий князь Михаил Павлович. Что касается великой княгини Марии Николаевны, которая вернулась в город, я надеюсь увидеть ее на этих днях. — Вот пустые подробности, но я сообщаю их вам, как доказательство своего усердия. Что до меня, то прошу вас только об одном, любезнейшие папенька и маменька: это быть вполне уверенными, что ваше желание видеть меня в Москве не сильнее моего желания оказаться там, и я уеду из Петербурга для того лишь, чтобы туда отправиться. Самый нежный привет Дашеньке и ее мужу.

8

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Четверг. <Петербург. Ноябрь—декабрь 1844.>

Вот, князь, статья в неизувеченном виде. Осмелюсь только просить вас прочесть ее поскорее, дабы я мог незамедлительно вернуть книгу владельцу, который ее требует. — Читайте только последние три главы: поляки, русские и общий обзор, все остальное находится почти без изменений в вашем экземпляре. — Но не прискорбно ли видеть, что иностранец, почти враг, имеет о нас, — о том, что мы есть и чем можем быть, — такое точное понятие и такой ясный исторический на нас взгляд, чего мы совершенно лишены; доказательством этому служит то, что у нас весьма многие, даже из числа наиболее передовых людей, прочтут эту статью и ничего в ней не поймут... Скажу больше: в ненависти этого иностранца заключается не толь-

ко больше понимания, но и больше симпатии. Сравните, прошу вас, его столь поэтический и, однако же, столь верный очерк карты России с теми гнусными мелкими карикатурами, якобы народными, коими мы принялись с некоторых пор прославлять нашу страну...

Одна из наиболее прискорбных наклонностей, замечаемых у нас, это — наклонность подходить ко всем вопросам с их самой мелочной и гнусной стороны, потребность проникать в хоромы через задний двор. Это в тысячу раз хуже невежества. Ибо в простой здоровой натуре невежество простодушно и забавно, тогда как эта наклонность изобличает и всегда будет изобличать одну лишь злость.

Читая некоторые из наших новых произведений, вдохновленных этой исключительной любовью к карикатуре, приходится зачастую сознаваться, что у нас карикатура — гораздо менее плод творческой фантазии, чем потребность самой натуры, а это совсем не одно и то же. Тут такая же разница, как между остроумием Аристофана и тем родом остроумия, которое, за неимением подходящего иносказания, можно бы назвать просто-напросто площадным...

Если бы я не знал, князь, как вы не любите одолжать книги, я решился бы попросить у вас несколько русских книг, например: один или два тома Гоголя, последнего издания, где находятся отдельные произведения, с которыми я еще не знаком. В каком положении ваша заметка о Крылове? Где можно видеть вас сегодня вечером? Я предполагаю отправиться вечером к Карамзиным.

Тысяча почтительных приветствий.

Ф. Т.

9

А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Москва. ⟨Июнь — август 1845.⟩

Моя добрая и милая Анна, воображаю, какое возбуждение произведут среди вас наши сегодняшние письма. Я обещал тебе вызвать вас к нам, как только это окажется возможным, и вот, как видишь, я исполняю свое обещание. Ввиду того, что обстоятельства заставляют нас провести

еще и будущую зиму в Петербурге, мы порешили, мама и я, выписать вас туда: твоих сестер, чтобы они продолжали свое учение в одном казенном институте, куда великая княгиня берется их поместить, тебя же — имеющую несчастье быть слишком старой — чтобы жить с нами. — Льщу себя надеждой, что ты одобришь такое устройство и соблаговолишь простить мне трудности передвижения, которые я вам навязываю. Но, разрешив главный вопрос, я, признаюсь, все же весьма озабочен, каким образом все это должно осуществиться. Мысль, что вам придется совершить это путешествие под охраной человека, которого еще следует отыскать, очень меня заботит. Ты узнаешь от тех, кому мама пишет по этому поводу, как мы желали бы все это устроить, но из-за расстояния, разделяющего нас, все указания, которые мы могли бы дать отсюда, поневоле будут слишком недостаточны. Самое верное, как и самое простое — это поручить вас более чем когда-либо покровительству божию.

Здесь все, моя добрая Анна, относятся к тебе и к твоим сестрам с самым живым и нежным интересом: об этом ты можешь судить по нескольким строкам, которые посылают тебе моя мать и сестра. Я дал им прочесть твои письма, полученные мною за последнее время, и они доставили им почти такое же удовольствие, как и мне самому. Они любят тебя так, как будто ты постоянно жила с ними. Льщу себя надеждой, что, с божьей помощью, ты найдешь в России больше любви, нежели где бы то ни было в другом месте. До сих пор ты знала страну, к которой принадлежишь, лишь по отзывам иностранцев. Впоследствии ты поймешь, почему эти отзывы, особливо в наши дни, заслуживают малого доверия. И когда потом ты сама будешь в состоянии постичь все величие этой страны и все доброе в ее народе, ты будешь горда и счастлива, что родилась русской.

Передай от меня тысячу нежностей твоим дядям Ботмер. Я получил недавно длинное письмо от твоего брата Карла, который много говорит о тебе. Что касается двух других твоих братьев — Оттона и Альфреда, то ты встретишь их в Петербурге. Когда будешь писать в Веймар, не забудь сказать обо мне дяде Мальтицу и передать ему, что я чувствую себя по отношению к нему самым недостойным и самым мерзким человеком. Он мне писал два раза во время моего пребывания в Петербурге и не получил

ответа из-за моей отвратительной лени, но видит бог, что его письма, его память и дружба мне в высшей степени ценны и дороги. Надеюсь, однако, что вскоре мне удастся стряхнуть кошмар, тяготеющий над нашей перепиской.

Но прежде всего, милая Анна, не забудь передать мое почтение госпоже Дитрих и поблагодарить ее от моего имени за всю ее доброту к вам. Я еще многое хотел бы сказать тебе, но все это может свестись к одному: я нежно люблю вас всех троих, самым искренним образом желаю вам успешного и счастливого путешествия и почту за особенное счастье увидеть вас в Петербурге здравыми и невредимыми. Тысячу и тысячу раз обнимаю тебя.

10

Е. Л. ТЮТЧЕВОЙ

Овстуг. Августа 31-го. Суббота. 1846.

Простите меня, любезнейшая маменька, что я не писал вам раньше, но почтовый день совпал как раз с днем нашего приезда, и в первую минуту я не мог бы написать вам хоть сколько-нибудь последовательно. Нечего говорить вам почему.

Я пишу вам из его кабинета, в двух шагах от дивана... окруженный вещами, которые ему принадлежали.

На другой день нашего приезда был праздник[1] Иоанна Постника. После обедни мы слушали панихиду на его могиле. Народу было довольно, и все были тронуты, глядя на Николушку, который горько плакал. Он в самый тот день получил письмо руки покойного, которое отправлено было к нему в Вену и не нашло его там.

Нечего говорить вам, как я был взволнован, очутившись здесь после двадцатишестилетнего отсутствия. Но из всего моего овстугского прошлого я нашел лишь два обломка, которые еще кое-как держатся: старый дом и Матвея Ивановича. Но человек более крепок и лучше сохранился, чем строение.

---

[1] От слов «Простите меня...» до «...был праздник» и от слов «Нечего говорить вам...» до «...мы с братом» написано по-французски, остальное по-русски *(ред.)*.

Что до нового дома, то он, право, весьма хорош, и вид со стороны сада очень красив. Я буду чрезвычайно счастлив, уверяю вас, видеть здесь всех моих будущим летом. Это будет также весьма удачливо и для Овстуга, который нуждается для своего оживления в присутствии существ более живых и более веселых, нежели мы с братом.

Вчера мы были у *Небольсиных,* которые гораздо живее были у меня в памяти, чем я думал. С первого взгляда мне все припомнилось. Тот же Н⟨иколай⟩ Павл⟨ович⟩, немного пожелтее и постарее, но так же отменно-добродушно-вежлив и гостеприимен, с некоторою изысканностью в языке и приемах, та же старушка сестра с своим угощением вареньями — и их умная, всеми и всем заведовающая кузина. Прежде них мы были у их брата, что женат на Озеровой. Тут уж не то... Нет того патриархального лоску, что на старших.

Завтра, воскресенье, мы пируем у Яковлева, а сегодня поутру явился к нам старичок Правиков.

О Варваре Андр⟨еевне⟩ я и не говорю. Она по вечерам — наша отрада, наше провидение, наше все.

Часов угрюмых облегчает бремя,
Живит беседу, окриляет время.

Но, несмотря на это окриление, вечера невыносимо скучны, и день в этом отношении малым чем уступает вечеру, так что по этой и по многим другим причинам я в будущую середу, т. е. пятого числа, ровно через неделю по приезде, решился — еду отсюда, как, впрочем, мне ни жаль Николушки... Следственно, я надеюсь быть с вами к 10-му или, поздно, 12-му числу сентября. Посему и прошу любезнейшего, деятельнейшего, всевспомоществующего Николая В⟨асильевича⟩ приказать взять для меня два места в новой почтовой карете *extra-post* к 18-му, если можно.

Ваше письмо, любезнейшая маменька, получили мы вчера. Очень рад и очень вам благодарен, что вы отменили поездку вашу к Троице. Надеюсь найти вас совершенно оправившимися. Брат будет писать к вам после.

Дашеньку и Н⟨иколая⟩ Василь⟨евича⟩ обнимаю и еще раз благодарю за их прошлое и будущее гостеприимство.

Простите. Целую ваши ручки.

Ф. Тютчев

11

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Овстуг. 31 августа 1846.

Милая моя кисанька, мне кажется, словно я пишу тебе с противоположного конца земли, и наивной представляется мысль, будто клочок бумаги, лежащий у меня под рукою, когда-нибудь до тебя дойдет — до такой степени я чувствую себя как бы на самом дне бездны...

А между тем я окружен вещами, которые являются для меня самыми старыми знакомыми в этом мире, к счастью, значительно более давними, чем ты... Так вот, быть может, именно эта их давность сравнительно с тобою и вызывает во мне не особенно благожелательное отношение к ним. Только твое присутствие здесь могло бы оправдать их. Да, одно только твое присутствие способно заполнить пропасть и снова связать цепь.

Я пишу тебе в кабинете отца — в той самой комнате, где он скончался. Рядом его спальня, в которую он уже больше не войдет. Позади меня стоит угловой диван, — на него он лег, чтобы больше уже не встать. Стены увешаны старыми, с детства столь знакомыми портретами — они гораздо меньше состарились, нежели я. Перед глазами у меня старая реликвия — дом, в котором мы некогда жили и от которого остался один лишь остов, благоговейно сохраненный отцом, для того чтобы со временем, по возвращении моем на родину, я мог бы найти хоть малый след, малый обломок нашей былой жизни... И правда, в первые мгновенья по приезде мне очень ярко вспомнился и как бы открылся зачарованный мир детства, так давно распавшийся и сгинувший. Старинный садик, 4 больших липы, хорошо известных в округе, довольно хилая аллея шагов во сто длиною и казавшаяся мне неизмеримой, весь прекрасный мир моего детства, столь населенный и столь многообразный, — все это помещается на участке в несколько квадратных сажен... Словом, я испытал в течение нескольких мгновений то, что тысячи подобных мне испытывали при таких же обстоятельствах, что вслед за мною испытает еще немало других и что, в конечном счете, имеет ценность только для

самого переживающего и только до тех пор, покуда он находится под этим обаянием. Но ты сама понимаешь, что обаяние не замедлило исчезнуть и волнение быстро потонуло в чувстве полнейшей и окончательной скуки... К счастью, мне подали твое письмо, прибывшее сюда за три или четыре дня до меня и любезно ждавшее меня на пороге, чтобы приветствовать мой приезд.

Путь был скучен, но не утомителен; дорога и постоялые дворы сносны. Мы каждую ночь останавливались на ночлег, а потому приехали сюда только на пятый день... На этот раз мне не удалось остановиться в Калуге и повидаться с госпожой Смирновой, но рассчитываю сделать это на обратном пути... Свидание с нею, приятное всюду и при любых обстоятельствах, будет мне сугубо приятным при возвращении из царства теней...

Сегодня суббота, 31 августа. Я уеду, наверно, числа 4—5 сентября и надеюсь быть в Москве к 10-му, где располагаю пробыть лишь столько времени, сколько потребуется на покупку мест в почтовой карете, которая должна привезти меня к тебе, — так что числу к 15—18-му надеюсь, с божьей помощью, завершить многотрудную задачу, которую я возложил на себя. Но я не сомневаюсь, что по приезде в Москву я получу от тебя письмо. Это совершенно необходимо.

Что касается дел — они, насколько я могу судить, находятся в удовлетворительном состоянии. Приказчик, которому поручено управление, тот Василий, о коем ты так много слышала, — действительно хорошее, честное и преданное существо, заслуживающее, мне кажется, полного доверия. Раздел совершится зимою; а до того времени наличные деньги будут разделены пополам. Что до окончательного расчета, то каждому достанется *по крайней мере* тысяч пятнадцать — двадцать доходу, и есть надежда, что в дальнейшем он еще возрастет. Во всяком случае, будущее предвидится лучше настоящего и дети могут рассчитывать на большее, чем мы сами... Единственная надежда, которою лично я дорожу, — это надежда увидеться с тобою... Прости, милая моя кисанька. Все еще надеюсь получить от тебя весточку еще до отъезда отсюда.

Мне не терпится узнать о твоих делах и деяниях после *19-го*. Скажи Анне, что я очень досадую на себя, что все еще

не написал ей, и прошу у нее прощения со всем смирением, какое только допускает отцовское достоинство. Но пусть она пожалеет мои нервы, которые от писания расстраиваются до последней степени. — Прощай. Обнимаю детей, особенно же их мать.

12

П. Я. ЧААДАЕВУ

С.-Петербург. 13 апреля 1847.

Наконец-то, дорогой Петр Яковлевич, в моих руках прекрасный подарок, любезно вручаемый мне вашей дружбой. Я был польщен и тронут более, чем могу то выразить. В самом деле, я мог ждать только скромной литографии; судите же, с каким признательным удивлением я получил от вас прекрасный портрет, столь удовлетворяющий всем желаниям и обращенный... столь обязательно именно ко мне... Говоря по-здешнему, я уподобился человеку, ожидавшему простого Станислава и вдруг увидевшему себя украшенным Анной на шее с бриллиантами... Еще раз примите выражения моей сердечнейшей благодарности. Портрет очень хорош, очень похож, и притом это сходство такого рода, что делает великую честь уму художника. Это поразительное сходство навело меня на мысль, что есть такие типы людей, которые словно медали среди человечества: настолько они кажутся делом рук и вдохновения Великого Художника и настолько отличаются от обычных образцов ходячей монеты...

Ваш портрет, любезнейший друг мой Петр Яковлевич, вполне удовлетворил бы всем моим желаниям, если бы вдобавок мог сообщить мне сведения, которые я желал бы иметь о вас, — о теперешнем состоянии вашего здоровья и вообще обо всем, что имеет отношение к вашему телесному и духовному существу. Почему бы вам в один из свободных часов не прийти к нему на помощь и не дать мне возможность узнать о вас все, что скрыто от меня его вынужденным безмолвием... несмотря на все его сходство?

Последние известия о вас, если не ошибаюсь, были нам доставлены *Поповым* при его возвращении в Москву и оказались далеко не так удовлетворительны, как я бы того

желал, по крайней мере в отношении вашего здоровья... Не решитесь ли вы предпринять наступающим летом что-нибудь более существенное, нежели все, что делали до сих пор в этом направлении? Почему, например, серьезно не подумаете вы о том, чтобы с возвращением хорошей погоды испробовать немецкие воды, если только хорошая погода в этом году намерена возвратиться к нам?.. Я убежден, что при вашем состоянии здоровья путешествие, то есть просто перемена места и настроения, было бы добрым началом поправки и, может быть, само по себе послужило бы уже исцелением. Подумайте об этом, любезный Петр Яковлевич, и сделайте мужественное усилие во имя лучшего из благ — здоровья...

Теперь, сказавши все существенное, я охотно поболтал бы с вами вволю о литературных и других наших занятиях прошедшей зимы, каковы «Переписка» *Гоголя*, ваш огромный «Московский сборник» и т. п., но увы! трудно беседовать на расстоянии шестисот верст, и что бы там ни говорили, а письменная беседа утомляет почти так же, как партия в шахматы по переписке... К тому же у меня есть надежда, что так или иначе мы свидимся в продолжении этого лета; вот почему прошу вас смотреть на это письмо более как на свидетельство о получении сделанного вами прекрасного подарка, чем как на выражение, хотя бы и не полное, дружественных чувств и неизменной любви преданного вам

Ф. Тютчева

13

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

⟨Петербург. Начало января 1851.⟩

Хорошенько сообразив все, я полагаю, что лучше будет в стихе: «И нет конца твоим стрелам» — поставить так: «И счету нет твоим стрелам», по той причине, что *конец* стрел может, пожалуй, означать *острие* стрел, и в таком случае фраза оказалась бы несколько двусмысленной.

Если в последней строфе вас смущает повторение слов *душа* и *духовный*, нельзя ли сказать так:

В себе отвел ты уголок
Для жизни, чувствами обильной,
И вся проникнута она (т. е. жизнь)
Святым огнем духовной силы.

Весь ваш Ф. Т.

Или еще так:

В себе отвел ты уголок
Для жизни, чувствами обильной,
И жизнь твоя была полна
Духовной светлости и силы.
и т. д.

14

Н. В. СУШКОВУ

⟨Петербург.⟩ 27 октября 1851.

Николай Васильевич, я сердечно умилился при виде вашего писания: в вас поистине избыток христианской любви — неутомимая, неистощимая, всеобъемлющая попечительность... от кедра до исопа, — от братниных поручений до моих стихов-подкидышей — благоговею — и молчу...

Итак, роковой 52-й год ознаменуется новым раутом. — Он всплывет как розовый листок над этим всемирным водоворотом — в этой мысли есть нечто несказанно трогательное, и я с умилением приношу вам мою лепту...

Романс из Гете несколько раз переведен был у нас, — но так как эта пьеса из числа тех, которые почти обратились в литературную поговорку, то она навсегда останется пробным камнем для охотников.

Но, переходя от рифм к поэзии, прошу при случае сказать графине Ростопчиной, что я все еще сетую о том, что не попал к ней прошлым летом в Вороново — и против всякого чаяния чаю ее приезда в Петербург.

Поручение ваше касательно Попова выполню, буде реченный Попов здесь, в чем сомневаюсь. — От к⟨нязя⟩ Вяземского теперь довольно трудно будет добиться стихов — даже и известия о нем весьма скудны и редки. То же самое и с братом Ник⟨олаем⟩ Ив⟨ановичем⟩. Я только и жду известия об его приезде в Париж, чтобы писать к нему, но в Париже ли он? Напишите. — Дашеньку от всей души обнимаю.

15

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

С.-П ⟨етербург.⟩ Суббота. ⟨3/15 октября 1853.⟩

С сегодняшней почтой пишу тебе лишь несколько слов. И знаешь почему? Потому что мне крайне стыдно, что хотя я и пишу из П⟨етербурга⟩, но не могу тебе сказать, будем мы воевать или нет. Ах, в какой странной среде я живу! Бьюсь об заклад, что в день Страшного суда в Петербурге найдутся люди, которые станут притворяться, что они об этом и не подозревают. Вот, впрочем, что кажется достоверным: князем Горчаковым только что получено от Турции требование очистить *княжества* в кратчайший срок. Это было бы, конечно, очень смешно, если бы не являлось началом событий столь важных и столь роковых, что никому из живущих ныне не охватить умом ни значения их, ни размаха... Я вернулся из *Царского,* куда ездил за новостями, но все, что мне удалось узнать, это — подробности, правда, очень любопытные, о вертящихся и *пишущих* столах; повидимому, только одни столы и занимаются текущими событиями, ибо именно стол, отвечая на мой вопрос, написал мне самым красивым своим почерком, что в *будущий четверг*, то есть 8/20-го этого месяца, появится манифест с объявлением войны. Итак, два важных вопроса должны будут сразу разрешиться самое позднее через пять дней (ибо сегодня 3/15 октября): во-первых, — вопрос о войне, а затем о том, — правду ли говорят столы. Хотелось бы мне прибавить к ним и третий, разрешение коего не перестает занимать меня посреди катастроф и чудес, но когда я спросил у стола насчет тебя, он набросал под моей рукой лишь фестоны и арабески, что меня вовсе не удовлетворило. Льщу себя надеждой, что в течение ближайшей недели я буду лучше осведомлен более обычным, но зато более точным путем — посредством письма, полученного по почте.

Здесь, — в салонах, разумеется, — беспечность, равнодушие и косность умов феноменальны. Можно сказать, что эти люди так же способны судить о событиях, готовящихся потрясти мир, как мухи на борту трехпалубного корабля могут судить об его качке... К счастью, это только пена, плавающая на поверхности, и так или иначе мы скоро увидим, что таится в глубине.

16

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

С.-Петербург. 24 февраля/8 марта 1854.

Вот уж подлинно, моя милая кисанька, разлука приводит к постоянным недоразумениям. Как можешь ты думать, что я настолько нерассудителен, чтобы, после того как уже восемь долгих месяцев был лишен твоего присутствия, не предпочел обречь себя на отсрочку еще в 5—6 недель скорее, нежели дать тебе пуститься в странствие в самое неблагоприятное время года? Конечно, я могу упрекать себя во многом, но есть упрек, коего я решительно не заслужил: он не приходил на ум даже демону, находящему удовольствие терзать меня в часы грусти и уныния, — это упрек в том, что будто бы я когда-то выразил требования, исполнение которых могло бы повредить твоему здоровью, и не ставил твоей личной безопасности выше всего остального на свете... Итак, позволь думать, что мне по меньшей мере излишне настаивать на отмене твоего путешествия, и ты избавишь меня от томительной тревоги, которую я испытаю, воображая, как ты отправляешься в это отвратительное путешествие по железным дорогам и *ледяным гостиницам*... Нет, поистине — с моего согласия ты так не поступишь, разве тебе захочется наказать меня за досаду, которую я, быть может, причинил тебе, позволив себе заявить — пожалуй, с чрезмерной горячностью — о той скорби и скуке, какую причиняет мне твое отсутствие. Но так или иначе последние мои письма, полагаю, достаточно изъяснили мою мысль и предотвратили недоразумение. Итак, я решительно не жду твоего возвращения к Пасхе и, не назначая дня твоего отъезда из Мюнхена, безусловно требую от тебя только одного: не предпринимать путешествия, достаточно неприятного и утомительного во всякое время года, ранее первых дней русской весны. Одним словом, я не хочу, чтобы ты пустилась в путь *в апреле*. Порешив на этом, мы на досуге условимся насчет остального. Помнится, я говорил тебе про *Гапсаль;* так вот, я попросил графиню Борх, которая тоже собирается туда ехать, разузнать о Гапсале у князя Суворова; он, как тебе известно, генерал-губернатор Прибалтийских провинций и только что назначен

командующим военными силами, призванными охранять все побережье. Его окончательное мнение не в пользу Гапсаля, и не потому, чтобы эта скромная местность подвергалась опасности со стороны неприятельского флота, а потому, что все это лето вам, без сомнения, пришлось бы провести в постоянной тревоге... Итак, остается предположение о даче под Москвой, но я жду твоего следующего письма, чтобы переговорить обо всем этом более толково.

Что касается Тами́, то им будет тотчас же уплачено. Я навестил Дмитрия сегодня утром и говорил с госпожой Тами́, чтобы успокоить ее относительно взноса нашего долга в самом ближайшем будущем. Здоровье Дмитрия очень хорошо, исключая его глухоты. Он продолжает принимать свой ⟨нрзб.⟩. — Женщине из дома Пикеева заплачено, и я получил обратно вексель, который и уничтожил.

И однако, кисанька моя, рядом со всеми этими улаженными или почти улаженными вопросами попрежнему еще остается *Восточный вопрос*. В глубине души своей я постоянно обсуждаю его с тобой, но как только берусь за перо — ничего не выходит... Слишком много пришлось бы мне писать, и я отступаю перед утомительностью и скукой подобных бесполезных писаний. Одно лишь слово. Ты лучше, чем кто-либо другой, знаешь, что я был одним из первых и из самых первых, видевших приближение и рост этого страшного кризиса, — и теперь, что он наступил и готовится охватить мир, чтобы перемолоть и преобразовать его, я не могу представить себе, что все это происходит на самом деле и что мы все без исключения не являемся жертвой некой ужасной галлюцинации. Ибо — больше обманывать себя нечего — Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Каким образом это случилось? Каким образом империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заговора? И, однакож, это было неизбежным. Вопреки всему — рассудку, нравственности, выгоде, вопреки даже инстинкту самосохранения, ужасное столкновение должно произойти. И вызвано это столкновение не одним скаредным эгоизмом Англии, не низкой гнусностью Франции, воплотившейся в авантюристе, и даже не немцами, а чем-то

более общим и роковым. Это — вечный антагонизм между тем, что, за неимением других выражений, приходится называть: *Запад* и *Восток*. — Теперь, если бы Запад был *единым*, мы, я полагаю, погибли бы. Но их два: Красный и тот, которого он должен поглотить. В течение 40 лет мы оспаривали его у Красного — и вот мы на краю пропасти. И теперь-то именно Красный и спасет нас в свою очередь.

17

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

С.-Петербург. 10/22 марта 1854

Итак, сегодня день, когда ты должна была покинуть Мюнхен, и это я тебя удержал. Да воздаст мне бог за это усилие благоразумия и самоотвержения, и пусть я не поплачусь за то, что действовал столь несвойственным моей природе образом. О, моя милая кисанька! Мне нужно сказать тебе так много, что у меня не хватает ни духу, ни желания начинать... Что за глупость — эти письма, когда дело идет о действительно близком сердцу. Уж от одной попытки я испытываю отвратительное ощущение бессилия и раздражения, и надо очень любить тебя, чтобы не послать к черту все это писание...

Прежде всего несколько слов об общем положении. Это положение таково: через четыре недели мы ожидаем прибытия в Кронштадт наших милых бывших союзников и друзей, англичан и французов, с их четырьмя тысячами артиллерийских орудий и всеми новейшими изобретениями современной филантропии, каковы удушливые бомбы и прочие заманчивые вещи, о которых столь занимательно рассказывается в газетах. Что же касается до нас, то я убеждаюсь в том, что мы в состоянии оказать им достойный их прием и что не одно английское судно выберется из драки жестоко искалеченным или же не выберется вовсе. Им придется пройти пятиверстный путь под огнем наших батарей, стреляющих раскаленными ядрами...

И, однако, не вполне лишено вероятия, что они прорвутся и что их канонерки проникнут до самой Невы, дабы доставить себе удовлетворение если не взять Петербург,

то нанести ему оскорбление. Ну что же, ладно! Пусть они позволят себе эту прихоть, если уж им так этого хочется, а мы посмотрим, будет ли им такая же удача с Петербургом, как их предшественникам — с Москвою.

Будь уверена, мой добрый друг, что мы приближаемся к одной из тех исторических катастроф, которые запоминаются навеки. Невозможно, чтобы было иначе; невозможно, чтобы приступ бешенства, обуявший целую страну, целый мир, каковым является Англия, не привел к чему-нибудь ужасному. Все это бешенство, и все это лицемерие, и это нелепое хвастовство, и эта бесстыдная ложь... Ах нет, они уж чересчур пересаливают, и господь в своем правосудии даст этим молодцам урок, которого они заслуживают.

До скорого свидания, кисанька моя милая. В настоящую минуту — сейчас два часа утра — я чувствую, что мой мозг слишком утомлен и нервы слишком расстроены, чтобы продолжать. — Ах, как печально бессилие!

18

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Москва. Среда. 9 июня ⟨1854⟩

Милая моя кисанька, вот мы снова обречены на переписку. Послезавтра, 11-го, исполнится ровно месяц, как ты вернулась ко мне после десяти месяцев разлуки, и вот уже девять дней, как ты опять покинула меня для новой разлуки, которая, чего доброго, продлится еще три месяца с лишком. Ну, так я имею малодушие признаться тебе, что это кажется мне ужасным и возмутительным и что я решительно не согласен примириться с этим положением, как с чем-то само собой разумеющимся и естественным. Нет, решительно нет...

Я полагаю, что теперь вы уже узнали от Анны все подробности несчастья, постигшего бедную госпожу Аврору и остальных членов семьи. Когда мне передали эту ужасную новость (в клубе, на другой день после вашего отъезда), я был совершенно ошеломлен ею. Это одно из таких подавляющих несчастий, что по отношению к тем, на кого они

обрушиваются, испытываешь, кроме душераздирающей жалости, еще какую-то неловкость и смущение, словно сам чем-то виноват в случившейся катастрофе. Здесь проездом из Петербурга был *Рябинин;* он посетил перед своим отъездом оттуда Софи́ и Лизу К⟨арамзиных⟩, уже извещенных о своем несчастье. Он рассказывал мне, будто бедная Софи́ впала в состояние полнейшего идиотизма, без слез, без воли, — она как бы не понимает того, что с нею случилось. Ах, вот кому господь послал непосильное испытание! И все-таки как далеко ее несчастье от той бездны горя, невозместимого и бесповоротного, которая вдруг разверзлась перед бедной госпожой Авророй!

Вот одна из самых горестных подробностей, сообщенных мне Рябининым. Был понедельник, когда несчастная женщина узнала о смерти своего мужа, а на другой день, во вторник, она получает от него письмо — письмо на нескольких страницах, полное жизни, одушевления, веселости. Это письмо помечено 15 мая, а 16-го он был убит. Вообрази, она имела нечеловеческое мужество, объяснимое только нервным возбуждением, прочесть вслух это письмо всей семье... Последней тенью на этом горестном фоне послужило то обстоятельство, что во всеобщем сожалении, вызванном печальным концом Андрея К⟨арамзина⟩, не все было одним сочувствием и состраданием, но примешалась также и значительная доля осуждения. И, к несчастью, осуждение было обоснованным. Рассказывают, будто государь (говоря о покойном) прямо сказал, что никогда не простит себе, что поторопился произвести его в полковники, — а затем стало известно, что командир корпуса генерал Липранди получил официальный выговор в приказе за то, что доверил столь значительную воинскую часть офицеру, которому еще недоставало *необходимого опыта.* Грустно, ах, как грустно! — Представить себе только, что испытал этот несчастный А. Карамзин, когда увидел свой отряд погубленным по собственной вине и должен был передать командование младшему чином, убедившись, что ему самому остается лишь пожертвовать жизнью, — и как в эту последнюю минуту, на клочке незнакомой земли, посреди отвратительной толпы, готовой его изрубить, в его памяти пронеслась, как молния, мысль о том существовании, которое от него ускользало: жена, сестры, вся эта жизнь, столь сладостная,

столь полная ласки, столь обильная привязанностями и благоденствием. — Бывают, однако, ужасные вещи на этом свете...

Но сделаем так, как делает жизнь, — перейдем к другому.

Вот уже несколько дней, как стоит великолепная погода. Что за благодать — лето, и как это решаются без него обходиться... Мне хочется думать, моя милая кисанька, что ты приехала в прошлую субботу и уже более или менее отдохнула. Отвратительная местность, отнявшая тебя у меня, вызывает во мне непреодолимую неприязнь, но раз ты там, я хочу верить, что благодаря летнему времени она несколько приукрасилась, чтобы получить хоть некоторую приятность в твоих глазах. Следственно, я не прочь отправиться туда за тобою, в комнату, освященную твоим присутствием, прошлым и теперешним, к окну, обрамляющему скромный горизонт, на котором так часто покоился твой взгляд. Одним словом, я охотно — *на время* — примирюсь со всем этим, если только у меня будет уверенность, что в данный момент тебе не слишком там плохо, а главное— и это основное условие — чтобы это отвратительное место рассматривалось лишь как переходная ступень, как временное пристанище, как случайное жилище, — словом, как самое что ни на есть преходящее и мимолетное. — Со своей стороны я утверждаю, что в качестве дачного местопребывания Москва, летняя Москва, — лучшее, что есть в России. Должно быть, в этой местности заключается нечто родственное моей природе.

По полуночи. Возвращаюсь домой в самом мрачном и тяжелом расположении духа. Ах, зачем тебя нет здесь... Ибо, чувствую, только твое присутствие могло бы его рассеять... Я вернулся от Виельгорских, где имел случай беседовать с сыном В⟨иельгорского⟩, сегодня же приехавшим из Петербурга. Все, что он мне рассказал о положении дел, все, что я вывел из его речей и рассуждений о направлении умов в министерстве, а может быть даже и выше, — вся эта подлость, глупость, низость и нелепость, — все это возмущает душу более, чем способно выразить человеческое слово... Еще раз, зачем ты не здесь!.. Если бы я мог по крайней мере вызвать в своей памяти сколько-нибудь живо твой милый образ, чтобы попробовать успокоиться.

Знаешь ли ты, что мы накануне какого-то ужасного позора, одного из тех непоправимых и небывало-постыдных актов, которые открывают для народов эру их окончательного упадка, что мы, одним словом, накануне капитуляции? Ты, зная меня, должна понимать, какое важное значение я придаю этим вопросам и какая часть моего существа отождествилась с известными убеждениями и верованиями, — ты одна можешь понять все, что я испытываю при одной мысли о том, что подобное несчастье совершится. Но я чувствую, что все, что я тебе говорю здесь, туманно, отрывочно, бессвязно и передает тебе лишь душевную тревогу, в которой я нахожусь. Я чувствую, наконец, что твое отсутствие тяготеет надо мною как кошмар или как приговор. — Покойной ночи. Я еще напишу тебе до отъезда. Завтра мы едем — Сушковы, Китти и я — за двадцать верст отсюда обедать у Леонида Голицына. Боюсь, что это будет гораздо более утомительно, чем развлекательно. — Но с таким чувством постоянной сердечной тоски можно ли находить какое-либо удовольствие в жизни?

Береги себя.

19

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

С.-Петербург. Суббота. 19 июня 1854.

Последняя почта снова доставила тебе лишь надписанный мной конверт, но так как этот конверт заключал письмо твоего брата, мне хочется думать, моя милая кисанька, что он тебя удовлетворил. Поистине, по части писания я должен был бы ограничиться одними надписями на конвертах, ибо это единственное, что я пишу вполне уверенно. Мой бедный рассудок так утомлен, так изнемог от утомления, что твердо помнит только собственные имена... Этому состоянию отупения я обязан, полагаю, тем, что не чувствую себя еще более страдающим, видя то, что происходит и что произойдет в дальнейшем. Правда, ничто из того, что происходит, не должно меня удивлять, — до такой степени совершающиеся действия точно соответствуют моему давнишнему представлению о действующих лицах. Но когда стоишь лицом к лицу с действительностью,

оскорбляющей и сокрушающей все твое нравственное существо, разве достанет силы, чтобы не отвратить порою взора и не одурманить голову иллюзией... Но страшная действительность и не думает о том, видят ее или нет. Ей достаточно того, что она существует... Она есть, она идет, она наступает. И мы еще далеко не коснулись самой сути того положения, какое она нам приготовила.

Разочарование меньшего значения, но также весьма досадное, — это история с квартирой, мысль о которой нас так приятно обнадеживала. Теперь придется снова приниматься за поиски. Не премину держать тебя в курсе своих поисков и находок, если таковые будут. У меня есть некоторые виды на дом Пущина, который тебе известен, неправда ли? Затем госпожа Ладомирская, которую я на днях встретил на пароходе, возвращаясь из Петергофа, говорила мне об одном доме рядом с ее, где, как она полагает, осенью будут сдаваться хорошенькие квартиры. Знаешь ли ты, что в будущем месяце она ожидает Вяземских и что они остановятся у нее, так как княгиня хочет быть тут, чтобы с бо́льшим толком и удобством заняться розыском помещения. Быть может, это был бы случай воспользоваться ее расторопностью также и для нас.

Я прибыл сюда во вторник, 15-го, и в этот же день Карамзины-Мещерские переехали в Царское Село. Я их еще не видел, но узнал, что бедная Софи К⟨арамзина⟩ в жалком состоянии. Катастрофа — смерть брата — только ускорила развитие ее болезни, хотя самый факт этой смерти на время отвлек ее от ее болезненной мнительности. По прошествии первого момента эта мнительность снова обратилась на нее самоё, ибо совершенно справедливо, что только здоровая натура способна глубоко чувствовать скорбь. По некоторым признакам опасаются, как бы бедняжка не кончила припадками буйного помешательства. И подумать только, что ей, этому столь кроткому или, вернее, столь слабому и безобидному созданию, угрожает подобная участь! Что за недостойная жестокость,— по крайней мере так кажется, — и трудно постичь глубокий и таинственный смысл, который может тут скрываться!..

Что касается госпожи Авроры, то она в Петергофе с обоими братьями своего мужа и их женами. Ее скорбь, говорят, прекрасна, полна покорности и слез, но, как мне передавали, ее силы слабеют на глазах.

Третьего дня я ездил в Петергоф навестить Анну. Подъезжая, мы заметили за линией Кронштадта дым неприятельских пароходов. С прошлого понедельника оба флота стоят в виду Кронштадта. До того они занимались лишь тем, что делали измерения и ставили буи. Недавно одно из наших судов, «Владимир», захватило у них под носом только что поставленный ими буй; за ним погнались и пустили ему вдогонку ядро, которое его не задело. Но этим и ограничилась пока их деятельность. Полагают, что ранее месяца они не предпримут ничего серьезного, так как только через месяц ожидают прибытия своих канонерок. Пока что петербургская публика принимает их, как некую very interesting exhibition[1]. Здешние извозчики должны поставить толстую свечу за их здравие, так как, начиная с понедельника, образовалась непрерывная процессия посетителей в Ораниенбаум и на близлежащую возвышенность, откуда свободно можно обозревать открывающуюся великолепную панораму, которую они развернули перед нами, невзирая на дальность пути и столько понесенных ими расходов. Намедни императорская фамилия отправилась туда пить чай, подняв в виду их флотов императорский штандарт, чтобы помочь им ориентироваться... Возвращаясь из Петергофа, мы слышали канонаду, продолжавшуюся полчаса и доносившуюся с их стороны. Не знаю, были ли бы они польщены производимым ими впечатлением, но достоверно, что во всем том, что я слышал вокруг себя, не было и тени враждебности, а только мягкая и доброжелательная насмешка, как единственно подходящий ответ этим шутникам дурного тона, которые непременно хотят, чтобы их принимали всерьез. В особенности много смеялись, припоминая известие, появившееся на днях в иностранных газетах, а именно, что в Петербурге смятение, что все население бежало и что 40 тысяч башкиров вызваны защищать столицу. И, однако, когда на петергофском молу, смотря в сторону заходящего солнца, я сказал себе, что там, за этой светящейся мглой, в 15 верстах от дворца русского императора, стоит самый могущественно-снаряженный флот, когда-либо появлявшийся на морях, что это весь Запад пришел выказать свое отрицание России и преградить ей путь к

---

[1] Очень интересное зрелище *(англ.)*.

будущему, — я глубоко почувствовал, что все меня окружающее, как и я сам, принимает участие в одном из самых торжественных моментов истории мира.

Князь Горчаков уехал третьего дня в Вену, вестником окончательного решения. Я его видел ночью перед его отъездом; по его словам, вот в чем заключается последнее слово, решительное слово, которое ему поручено передать: войны с Австрией не хотят, но если Австрия нам ее объявит, с ней будут воевать не на жизнь, а на смерть, воевать до полного уничтожения, и при содействии любых средств... Дай бог, чтобы это было так, но я ничему этому не верю... Еще рано...

Добрый день, милая моя кисанька. Суди по размерам этого письма, люблю ли я тебя. Да хранит тебя бог или провидение, как зеницу своего ока.

20

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург. Пятница. 23 июля 1854.

Ах, милая моя кисанька... Но нет, не хочу, чтобы ты возненавидела мои письма и пугалась, получая их. Итак, сделаю усилие воли и начну это письмо чем-либо вполне практическим. — Помнишь квартиру в доме Армянской церкви, — третий этаж, немного высоко, окнами на Невский проспект, — ту, что мы с тобой смотрели в первый год нашего пребывания в Петербурге? Она тебе тогда очень понравилась, и ты несколько раз мне потом о ней говорила. Это четырнадцать прекрасных комнат, с паркетными полами. Ну так вот, эта квартира будет свободна к половине сентября и с 1 октября ее можно будет снять. Сам хозяин, старик Лазарев, давнишний друг нашей семьи, пришел мне ее предложить. Она сдается — с дровами, водой и освещением лестницы — за 1400 рублей серебром в год, да 100 рублей лишних за конюшню и сарай. Но так как оный Лазарев прекраснейшее существо на свете и совершенно особенным образом расположен к нам, то я не сомневаюсь, что добьюсь от него значительной сбавки. Если бы ты была здесь, дело было бы слажено в одну минуту и — это буквально — ради твоих прекрас-

ных глаз, ибо к подобного рода обольщениям бедный старик Лазарев очень чувствителен. Но если бы ты была здесь, моя милая кисанька, я не находился бы в том грустном расположении духа, в каком нахожусь сейчас.

В твоем последнем письме от 13—14 июля есть одна фраза, вполне невинная, конечно, по мысли, но которая в настоящем положении получила, помимо твоего желания, характер самого горького сарказма. Это там, где ты говоришь по поводу 14-го числа этого месяца — годовщины твоего возвращения в Париж и вечера, проведенного в 〈нрзб.〉,— что старичок в этом году *гораздо счастливее* и что это тебя утешает. Видишь ли, моя киска... Если бы кому-нибудь, уже восемь дней как умершему, написали поздравительное письмо по случаю его выздоровления, и то неуместность приветствия была бы не более разительной... О, что за мерзкая вещь — разлука, и сколько зла причинили мне разлуки с тобой!.. Сейчас пять часов утра. Если бы в 11 часов я мог очутиться на железной дороге, чтобы ехать к тебе, я почувствовал бы себя воскресшим. Чего только не отдал бы я за то, чтобы оказаться возле тебя и проснуться утром в комнате рядом с твоей. А когда ты рассказываешь о прекрасных днях, которыми ты упиваешься, дыша полной грудью, и которые уходят и не вернутся, быть может, в течение многих лет, когда ты говоришь об Овстуге, прелестном, благоуханном, цветущем, безмятежном и лучезарном, — ах, какие приступы тоски по родине овладевают мною, до какой степени я чувствую себя виновным по отношению к самому себе, по отношению к своему собственному счастью, и с каким нетерпением стремлюсь к тебе... Но, увы, у меня в данную минуту в кармане нет ни копейки и не будет ранее 2 числа будущего месяца, а затем нужно было бы не быть таким разбитым и лишенным воли, каким являюсь я, — немощным и жалким выше всякого выражения... Я мог бы разжалобиться над самим собой, если бы отвращение, которое я сам себе внушаю, не превышало бы чувства жалости. — Я сейчас же напишу моему брату, чтобы поделиться с ним своими намерениями и попросить его облегчить мне их исполнение. Признание его достоинств в твоем последнем письме доставило мне большое удовольствие. Мне кажется, что там, где меня нет, всегда все хорошо обходится и что всюду только я один смущаю, калечу и порчу все.

Намедни у меня были кое-какие неприятности в министерстве — все из-за этой злосчастной цензуры. Конечно, ничего особенно важного — и, однакоже, если бы я не был так нищ, с каким ⟨наслаждение⟩м я тут же швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов, которые, наперекор всему и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего кретинизма. Что за отродье, великий боже, и вот за какие-то гроши приходится терпеть, чтобы тебя распекали и пробирали подобные типы! Но, чтобы быть вполне искренним, я должен тебе признаться, что эта неслыханная, эта безмерная посредственность вовсе не пугает меня с точки зрения самого дела, как это, естественно, должно было бы быть. Когда видишь, до какой степени эти люди лишены всякой мысли и соображения, а следственно и всякой инициативы, то невозможно приписывать им хотя бы малейшую долю участия в чем бы то ни было и видеть в них нечто большее, нежели пассивные орудия, движимые невидимой рукой.

Здесь известно, что австрийцы после разных кривляний решились, наконец, ввести свои войска в княжества. Это, повидимому, должно было бы вызвать конфликт и ускорить развязку. Ну, так я убежден, что ничего этого не будет и что развязка последует совсем с другой стороны, — борьба, которую готовят, не состоится, но катастрофа произойдет, — и в конце концов окажется, что все это вооружение и все эти армии накоплены не для того, чтобы сражаться, но чтобы под ними скорее треснул лед, который их держит. То, что произошло теперь в Испании, — первое предупреждение. Это — начало отлива.

Вчера я ездил к Анне в Петергоф. Был день именин ее великой княгини и еще трех великих княгинь. Я пообедал у нее с ее подругой — съел кусок сыра и выпил два стакана посредственного шампанского. Петергоф с его бьющими фонтанами был великолепен и весь полон шума вод, — казалось, будто идет дождь. Острова также очень красивы; много движения, большой съезд и т. д. и т. д. И, однако, ничто из всего этого, несмотря на оказываемый мне всюду прием, несмотря на... несмотря на... ничто не в силах успокоить и разогнать внутренний мрак, тогда как и четверти часа твоего присутствия было бы вполне

для этого достаточно... О, моя милая киска, то, что я тебе здесь говорю, — не выдумки. И если мне суждено когда-нибудь снова обрести хоть немного спокойствия и душевной ясности, то этим благом я буду обязан одной тебе, ибо ты одна имеешь на это власть и волю. Целую твои милые руки и очень хотел бы сейчас положить их себе на голову. До свидания.

21

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петерб<ург.> 27 июля 1854.

Шуба нашлась. Господин Комаров не миф. Он своей собственной персоной приходил ко мне объявить о своем приезде и о прибытии шубы, и я без промедления пошлю за ней в Лесной, где квартирует оный г. Комаров. Кстати о квартире, я только что подробно осмотрел ту, которую предназначаю для тебя в доме Армянской церкви. Она, безусловно, очень красивая, очень большая, очень удобная; правда, это немного высоко — счетом 78 ступенек, но, если не ошибаюсь, ты мне, кажется, последний раз говорила, что ничего не имела бы против квартиры, где могла бы парить на известной высоте над докучной толпой, и я думаю, что 78 ступенек окажут тебе в этом услугу, защитив тебя от пошлого люда. Итак, не это обстоятельство представляется мне сомнительным, а самая обширность помещения, которое таково, что вся семья и до своего рассеяния могла бы весьма просторно разместиться в ней, а что же будет теперь, после новых сокращений? Мой бедный рассудок теряется во всех этих недоумениях, и уж, конечно, не я возьму на себя инициативу какого-нибудь решения.

О моя милая кисанька, мне невыносимо грустно. Никогда не чувствовал я себя таким несчастным — и это посреди всего блеска, всего великолепия неба и летней поры. Я нуждаюсь в твоем присутствии, в одном твоем присутствии. Тогда я снова стану самим собой, овладею собой и опять сделаюсь доступным добрым и мягким влияниям извне. Вот, однако, письмо — письмо твоего брата, доста-

вившее мне большую радость, — прочти его, моя киска, и ты поймешь горестное удовольствие, которое я, читая его, испытал. На меня повеяло от него не только прошлым летом, озерами, горами Швейцарии; нет, дуновение шло из еще большего далека, гораздо большего далека. О моя милая кисанька, ты привела меня в эту страну, тебе надлежит и вывести меня отсюда, и чем скорее, тем лучше. Должен сознаться, я — жалкий человек. Я очень хотел бы услужить твоему брату, написав ему несколько фраз, как бы в ответ на заметку этого добрейшего г. Лоренси, еще более глупого, чем полагается быть французу, но в виду происходящего кризиса мне стало физически невозможно говорить. Я отнюдь не легковерный человек, увы! и с моей стороны было бы глупым притворством стараться скрыть свое глубокое, свое полное уныние. Быть может, не все еще потеряно, но все испорчено, разрушено и надолго посрамлено. Я никогда не обманывался насчет беспримерной посредственности этих людей, но самая эта посредственность меня и ободряла. Я глупо надеялся, что бог, которому я приписывал мои личные предпочтения, не допустит, чтобы эти люди были серьезно подвергнуты испытанию. Он допустил это, и теперь, несмотря на огромное значение вопроса, невозможно присутствовать без отвращения при зрелище, происходящем перед глазами. Это война кретинов с негодяями.

Если бы, вместо всего этого вздора, я мог написать тебе одни только слова: завтра я еду к тебе, — как бы это меня оживило. Но я впал в такое расслабление мысли и воли, что вопреки снедающей меня тревоге, от которой я хотел бы избавиться во что бы то ни стало, я не в состоянии ничего решить. На днях Анна высказала предположение, что так как о назначении Дарьи продолжают настойчиво говорить, ей, быть может, следовало бы вернуться в Петербург в конце августа. Но что и как тогда будет? Недавно я написал по этому поводу брату в Москву и жду его ответа. Все это ничуть бы меня не волновало, если бы я имел уверенность, твердую уверенность в том, что ты меня переживешь.

И, однако, вопреки и наперекор тому, что происходит и метется в тайниках наших душ, банальная жизнь, жизнь внешняя идет своим чередом. Намедни Наталия Строга-

нова — муж ее, как тебе известно, военный губернатор Островов — дала нам вечер в том доме, который занимала когда-то г-жа Крюденер; на этом вечере присутствовала великая княгиня Елена Павловна. Вчера очередь была за г-жой Калерджи, устроившей свой прощальный музыкальный вечер. Любопытнее всего был сияющий вид канцлера, так и расцветавшего, так и расплывавшегося от наслаждения, внимая этой музыке. Александр Великий в Вавилоне был не более чувствителен к звукам лиры Тимофея. Так вот, бьюсь об заклад, что среди всего этого общества я изображал из себя фигуру, совершенно сходную со всеми. После сего попробуйте по выражению лиц судить о том, что у людей на сердце.

Но поговорим лучше о вопросах, которые нас интересуют и действительно нас касаются. Я более чем когда-либо убежден, что ты должна оставить Мари́ при себе. Нелепо подвергать себя, без явной необходимости, подобному лишению, ибо для тебя оно было бы весьма велико, а я чувствую, что отныне моего присутствия недостаточно для заполнения пробела. Нет, милая моя кисанька, не всегда верно, будто нам следует поступать так, как для нас всего тяжелее, хотя противоположная система еще менее верна. Возвращение Дмитрия в темницу господ Тами́, конечно, тяжелое испытание для дорогого мальчика, но я рассчитываю на твое присутствие, как на смягчающее средство. Почему ты в своих письмах никогда не рассказываешь мне о Китти? Как ты ее находишь? Но я едва не забыл сказать тебе, что одновременно с твоим письмом получил деньги, присланные тобой,— 300 р. сер., за которые тебя благодарю. Из этих трехсот рублей я взял только двести, ибо в марте месяце занял в конторе Мальцева сто рублей, которые, оказывается, забыл вернуть. Спроси, однако, Василия Кузьмича, не имел ли он случай внести, по моему приказанию, сто рублей серебром в контору Дятьковичей в прошлом марте или апреле. Что касается долга в 700 р., ты можешь быть вполне уверена, что там были бы очень раздосадованы, если бы мы его уплатили. Ах, как все это мне надоело!

Госпоже Капелло заплачу сегодня же.

Я только что получил приглашение на обед к великой княгине Елене Павловне.

22

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

С.-Петербург. Среда. 18 августа 1854.

Все, исходящее от тебя, моя милая кисанька, освежает меня и благотворно на меня действует; поэтому и твое милое письмо от 10 сего месяца (правда, немного запоздавшее) тотчас пролило бальзам на мою душу. Ах, покоя, покоя, во что бы то ни стало! Все царства мира за каплю покоя. Но, видимо, все окружающее сговорилось его у меня отнять. А тут еще древнее устаревшее пугало — холера — возникает с новой силой, точно она обижена общим, установившимся по отношению к ней равнодушием. Что значит это внезапное ее вторжение, вновь охватившее всю Европу? Но, как ты сама понимаешь, меня беспокоит не Европа вообще, а лишь одна ее точка, Москва, где, говорят, болезнь распространяется с невообразимой силой. Вот почему я окончательно решился скорей туда отправиться, чтобы быть там раньше тебя. Итак, я выеду отсюда, как только мне можно будет отлучиться, и хочу надеяться, что это станет осуществимо на будущей неделе, то есть через восемь или десять дней. Очутившись в Москве, я несколько успокоюсь за тебя и увижу, что надо делать... Я не сомневался, что ты дотянешь свое пребывание в Овстуге до половины сентября, и теперь, ввиду этой чертовской холеры, такой довольно поздний срок меня как-то ободряет. До тех пор ее пыл немного утихнет, и, кроме того, так как я буду на месте гораздо раньше этого времени, то и увижу, что тебе предписать. А вдруг эта подлая холера вздумает проникнуть к вам! Ведь в этом не было бы ничего удивительного! Как же при этих условиях сохранить хотя бы относительное спокойствие и свободу мысли! Ах, моя милая кисанька, ты никогда не узнаешь, сколько крови испортили мне продолжительные разлуки! Как я завидую твоему брату, который в эту бедственную эпоху может по желанию выбирать себе наиболее подходящий приют, увозя с собою тех, кто ему дороже всего! Но должен признаться, что он более достоин этого счастья, нежели я. Воспоминание о его семейном быте также принадлежит к числу вещей наиболее благоприятно действующих на мое настрое-

ние. Я бы уж давно ответил ему, если бы мог на минуту преодолеть невыразимое отвращение, омерзение, смешанное с бешенством, которое вызывает во мне зрелище всего происходящего. О, негодяи! Бывают мгновения, когда я задыхаюсь от своего бессильного ясновидения, как заживо погребенный, который внезапно приходит в себя. Но, к несчастью, мне даже не надо приходить в себя, ибо более пятнадцати лет я постоянно предчувствовал эту страшную катастрофу, — к ней неизбежно должны были привести вся эта глупость и все это недомыслие. И одна лишь чрезмерность катастрофы минутами заставляла меня сомневаться в том, что мы осуждены видеть ее осуществление. Мальтиц совершенно прав, говоря в письме, которое я только что от него получил и тебе пересылаю, что хотелось бы умереть от избытка печали и отвращения. А это еще только начало! На этих днях мы узнали из иностранных газет, стало быть враждебных, об окончательном занятии Аландских островов, вследствие сдачи крепости. Теперь надо читать газеты... Читая их, понимаешь *флагеллантов* и тот род удовольствия, которое они испытывают, заставляя себя бичевать...

Ах, давай поговорим о другом. Ты можешь считать квартиру, о коей шла речь, прочно и крепко за нами. Но все это станет несколько более реальным в моих глазах только тогда, когда ты будешь здесь и сама ее увидишь. А мне кажется, что целые века отделяют меня от этого момента... Ну, что бог даст. Я все еще одной ногой в городе, другой на Островах и останусь в этом неопределенном положении до моего отъезда в Москву.

Я уж с неделю не видел Анны и не могу отправиться к ней завтра, как предполагал, ибо завтра обедаю у княгини Салтыковой, а вечер проведу у Юсуповой. Но как все это пусто и доставляет мало удовлетворения! На днях у нас был ужасный пожар в части города, смежной с царскосельской железной дорогой. Более ста домов стали добычей пламени; в огне погибли несколько женщин, детей и некоторое количество ⟨нрзб.⟩. Это уж, право, лишняя роскошь в данном положении и совсем не требовалось ⟨нрзб.⟩.

Смирнова, о которой ты мне пишешь, еще не приехала,— по крайней мере я этого не слышал,— а что касается Вяземских, никто из тех, кто мог бы иметь о них известия,

ничего о них не знает. Что до письма княгине, оно было отправлено тотчас по получении...

Предоставляю Анне заботу держать вас в известности относительно возможного назначения Дарьи. Судя по тому, что Анна узнала от В⟨оейковой⟩ об одном разговоре по этому поводу, есть основание думать, что дело решено, по крайней мере в принципе, но решение это держат про себя, предполагая огласить его лишь после того, как увидят Дарью по ее возвращении сюда. Вот почему Анна настаивает на желательности этого возвращения *до* 15 сентября, т. е. до переезда из Петергофа.

Моя милая кисанька, я, конечно, напишу твоему брату, но все-таки ты и сама расскажи ему обо мне и о моем чрезвычайном желании как можно скорее поехать к нему с тобой куда угодно — хотя бы опять на *Риги-Кульм,* к вершине которого ты, повидимому, навсегда почувствовала такое же влечение, как и я, и была столь добра, что отпраздновала годовщину своего пребывания там. То, что ты мне пишешь про бедного Яковлева (какой переход!), так же грустно, как и все прочее. Постарайся уверить его, не слишком упирая на его несчастье, в моем горестном ему сочувствии. Ах, бедный, милый человек, столь безобидный, что сделал он, чтоб заслужить подобную судьбу! И будут еще говорить, что это ему на благо! Что касается моего блага — то это ты, и я хочу, чтобы все это знали.

23

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Москва. Вторник. 30 ноября <1854>.

Благодарю, моя милая кисанька, за твое драгоценное письмо, хотя оно и совсем напрасно прикинулось таким решительным и угрожающим, чтобы придать себе важности. Каждое твое письмо является для меня письмом *единственным*, и я охотно сказал бы тебе причину, но предпочитаю, чтобы ты сама ее угадала. Но что действительно единственно в своем роде — это статья твоего брата; она единственна и превосходна по своему здравому смыслу, по смелости ума и честности. Несмотря на незначитель-

ность моих сношений с канцлером, я решил сообщить ему эту статью и, быть может, сделаю это отсюда и сегодня же. Он весьма оценит ее, так как всегда чрезвычайно одобрял все, что твой брат пишет о событиях дня, ибо, кроме ясности и умеренности, которыми так сильно подкупает канцлера образ мысли твоего брата, он находит в его статьях чувство искренней доброжелательности к России, как раз отвечающее его собственному национальному патриотизму. Правда, со стороны твоего брата эти чувства доброжелательности по отношению к нам имеют нечто *более бескорыстное* и заслуживающее большей похвалы. Вот, однако, к чему мы пришли! И пройдет время, — пожалуй, много времени, — прежде чем несчастная Россия,— та Россия, какою ее сделали, — осмелится позволить себе более живое сознание своего Я и своего Права, чем может иметь хорошо расположенный к ней иностранец. Что касается большинства публики, здесь происходит совершенно то же, что в Петербурге, что и во всей остальной стране; за исключением нескольких лиц, которые ясно видят, в чем дело, потому что всегда это ясно видели, так называемая публика, т. е. не подлинный народ, а подделка под него, испытывает здесь, как и в других местах, лишь глубокое смущение и разочарование, без малейшего понимания настоящего положения. Понимают, что сбились с пути, ибо завязли. Но где началось уклонение? с каких пор? как вернуться на правильный путь? и где он, каков он, этот правильный путь, — вот, конечно, чего эти люди не в силах угадать. Да иначе и не может быть. Тот род цивилизации, который привили этой несчастной стране, роковым образом привел к двум последствиям: *извращению* инстинктов и притуплению или уничтожению рассудка. Повторяю, это относится лишь к накипи русского общества, которая мнит себя цивилизованной, к публике,— ибо жизнь народная, жизнь историческая еще не проснулась в массах населения. Она ожидает своего часа, и, когда этот час пробьет, она откликнется на призыв и проявит себя вопреки всему и всем. Пока же для меня ясно, что мы еще на пороге разочарований и унижений всякого рода. Первая ставка проиграна, решительно проиграна,— и, если не свершится чудо, которого мы совсем не заслужили, нам придется пройти под *Кавдинскими вилами*, стараясь убедить себя в том, что в конце концов этот исход

не хуже других, и пытаясь силою навязать это убеждение строптивым.

Известия, которые ты сообщаешь мне о Гатчине, весьма огорчительны. Увы, увы, что такое человек? Но таково уж свойство великих политических потрясений: они не задерживаются на действительности второстепенной, но очень быстро настигают действительность главную, то есть человека, даже немощного и скорбного.

Путешествие Китти, кажется, отложено до нового распоряжения, и если оно состоится позже, то, разумеется, не на наш счет. Я озаботился точно установить этот пункт, дабы никто не оставался в неведении.

Теперь, моя милая кисанька, что сказать тебе про себя? — Что я все еще здесь и предвижу, что мне будет очень трудно уехать отсюда ранее 6-го. Моя мать, несмотря на свою обычную сдержанность, так настойчиво просит меня побыть с нею до этого срока, что у меня не хватает духу ни отказать ей наотрез, ни отделаться какой-нибудь выдумкой. Льщу себя надеждой, что это запоздание — положительно невольное — тебя несколько раздосадует, но не очень (слышишь ли?), не настолько, например, чтобы помешать тебе написать мне *второе единственное письмо*, на сей раз последнее, обещаю тебе.

Могу с уверенностью сказать, что я уж давно не видел столько народа, сколько вижу теперь. Меня попросту *разрывают на части*, но не это, конечно, могло бы меня удержать здесь. Я уж давно пресытился подобного рода удовольствиями. Салон Сушковых — если и не первый в Европе, то уж, конечно, один из самых многолюдных. Это вечная толчея. Он вполне мог бы уступить часть своего избытка нашему.

Здесь все просят передать тебе приветствия. Мой брат особенно. Я сообщил ему твое письмо.

Добрый день, моя киска. Посердись на меня немного, но будь совсем здорова. И будь уверена в одном, — а именно, что из нас двоих один всегда и везде оказывается наиболее выбитым из колеи отсутствием другого — и это опять-таки *я, я, я*. Обнимаю детей и целую твои милые руки.

С верой евангельского расслабленного надеюсь на *второе единственное*.

24

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

С.-П⟨етербург.⟩ Суббота. 21 мая 1855.

Нет, моя милая кисанька, для меня решительно нет ничего более мучительного, ничего, что глубже противоречило бы моей природе, чем химеры разлуки. Это — ежеминутное разочарование, лишение, досада. Всякий раз ты как бы заставляешь меня подвергаться ампутации. Я никого не виню, никого не упрекаю. Но дело в том, что, за исключением какой-нибудь весьма мучительной болезни, я не могу представить себе состояния хуже того, в какое приводит меня твое отсутствие. И если бы я мог выбирать, то предпочел бы снова, как было недавно, четыре недели пролежать больным на своей кушетке, чем испытывать нынешнее свое настроение. Однако нелепо быть до такой степени зависимым от чего-то, что вне нас, и настолько вне нас, что может даже оказаться отделенным расстоянием в несколько тысяч верст. Да, это нелепо, унизительно и главное неудобно.

Только третьего дня, 19-го, — больше, чем через две недели после твоего отъезда из П⟨етербурга⟩, — я получил, наконец, первое известие о твоем прибытии в Овстуг. Я не удивляюсь, что тебя там охватило ощущение, будто ты никогда оттуда не уезжала, и что это ощущение оказалось достаточно сильным, чтобы связать настоящую разлуку с разлукой прошлого года, ибо я сам испытываю нечто подобное, несмотря на то, что никогда не видел этих комнат иначе, как наполненными твоим присутствием. Но это потому, что мне сдается, будто с твоего отъезда эти комнаты не имеют прежнего облика, или, скорее, не имеют никакого. Это одни только стены. Вот я и заключился в своей собственной комнате, но даже и она представляется почти такой же ⟨нрзб.⟩, как остальные. Сегодня, однако, все это приобрело несколько менее чуждый вид, чем обычно, благодаря присутствию Дмитрия, который проводит эту ночь дома. Он появился сегодня около двух часов пополудни. Я послал его с Николаем навестить его друга, Костича. Антуанетта гуляла с ним в Летнем саду. Потом он отправился, все в сопровождении своего верного чичероне, обедать в Коломну, у одного из своих

приятелей, в обществе г-на и г-жи Тамі. Он только что вернулся и уже лег (сейчас около полуночи). Завтра, в воскресенье, я посылаю его в Царское, по просьбе Анны, опять в сопровождении вышеупомянутого Николая, так как я не могу ехать с ним сам, ввиду того, что меня потребовали завтра в час дня для принесения пресловутой присяги, которую я все откладывал до сих пор под разными предлогами. Ах, я готов приносить им всевозможные присяги, но если бы я мог одолжить им немного ума, это было бы гораздо для них полезнее. Все эти дни мы получали только плохие известия. Во-первых, известие о деле под Севастополем, где у нас выбыло из строя 2500 человек и которое все-таки окончилось поражением, так как мы были вынуждены покинуть на следующий день укрепления, которые отстояли накануне ценой такого кровопролития. Потом пришло известие о взятии Керчи, при входе в Азовское море, где оказалось всего семь батальонов для отражения неприятельского корпуса в 20 тысяч человек. Одним словом, несмотря на истинные чудеса храбрости, самопожертвования и т. д., нас постоянно оттесняют, и даже в будущем трудно предвидеть какой-нибудь счастливый оборот. Совсем напротив. Повидимому, то же недомыслие, которое наложило свою печать на наш политический образ действий, оказалось и в нашем военном управлении, да и не могло быть иначе. Подавление мысли было в течение многих лет руководящим принципом правительства. Следствия подобной системы не могли иметь предела или ограничения — ничто не было пощажено, все подверглось этому давлению, всё и все отупели. Теперь потребовалась бы огромная двигательная сила со стороны власти, чтобы исправить это положение дел, и, разумеется, до сих пор она никак не проявилась. Что касается здешних мест, то неприятельский флот вновь появился на горизонте, и паломничество любопытных в Ораниенбаум возобновилось пуще прежнего. На днях было довольно тревожное положение и даже прибыл государь, но все обошлось одним волнением. Я, однако, не удивлюсь, если в скором времени мы узнаем о какой-нибудь серьезной попытке неприятеля, хотя и не в ближайших окрестностях Петербурга, но на каком-либо важном пункте побережья. Несмотря на это, здесь пока тревожатся только за Севастополь.

Вчера вечером я ездил прощаться с В. Карамзиным, который ночью отправляется в Ямбург. Там была бедная госпожа Аврора, вся в слезах, которой этот отъезд должен был весьма жестоко напомнить другой. Никс М⟨ещерский⟩ через несколько дней следует за своим дядей. Антуанетта Блудова, которая благодарит тебя за память, получила хорошие известия о своем брате, находящемся сейчас в Симферополе; однако положение его было более тяжелое, нежели говорили. Что касается его тупоумного отца, то я наконец-то кое-как привел в порядок его работу, и вот записка, в которой он уведомляет меня о ее получении, давая мне понять, что этим дело еще не кончилось. Это глупо до смешного — дальше идти некуда! Алина К⟨озлова⟩ шлет тебе тысячу дружеских приветствий. Я еще не знаю результата ее переговоров по поводу (нрзб.), но нисколько не сомневаюсь в успехе. Она уже писала об этом Дарье. Вот записка на твое имя, которую я только что получил от поверенного Вяземских. Госпожа Смирнова последние дни была опять очень больна. Мне сообщили, что, вместо того чтобы ехать в деревню, она решила провести часть лета в Царском. Так же поступили и некоторые другие, ибо ожидаемые важные события заставили всех отложить свой отъезд в деревню. Короче говоря, мне кажется, что до сих пор уехала одна ты. И правда, пока еще никто не трогался из города, но это благодаря приятной температуре воздуха, установившейся в последнее время и не уступающей ноябрю месяцу. Только два дня, как мы начинаем согреваться. Это атмосферическое обстоятельство немного утешает меня в запоздании коляски, которая будет готова только на этой неделе. А еще — мне хотелось сказать тебе и то и се и это... Ах, что за дурацкий способ разговаривать посредством переписки! Нет, честное слово, это невыносимо.

25

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

С.-Петербург. Понедельник. 20 июня 1855.

Я не постигаю, моя милая кисанька, почему ты жалуешься, как, например, в письме от 12-го, полученном мной третьего дня, что я редко тебе пишу. Мне кажется, что

я щедро наделяю тебя этим отвратительным бумагомараньем и что скорее я могу вздыхать о крайней (нрзб.) тех листков, легких и редких, которые мне приходится ожидать целую неделю, чтобы поймать хоть один. Но, по правде сказать, если бы они были столь же многочисленны, как листья в лесу, это меня ничуть не утешило бы. Письменное сообщение между тобой и мной всегда будет представляться мне чем-то омерзительным и противоестественным, и не дай бог, чтобы я когда-либо к нему привык... В конце концов этот способ свидетельствования друг другу о своем существовании является глупой насмешкой и заставляет меня испытывать в точности то ощущение, какое присуще одноруким и прочим калекам, воображающим, что у них болит недостающий им член... Ах, да что об этом говорить... Но дабы внести некоторое разнообразие в монотонность вступительной части моих писем, вот, моя киска, прочти-ка это маленькое добавление, которое известит тебя о великом событии, наконец-то совершившемся,— о возвращении четы Вяземских. Намедни, — это было в прошлую субботу, — вернувшись домой с вечера Одоевских, я нашел записку Соболева, сообщавшего мне сию счастливую новость. Так как на другой день, в воскресенье, я должен был рано утром ехать в Петергоф, то отложил до вечера желаемое свидание, но по возвращении домой вместо свидания нашел лишь эту записку, принесенную Щукой, посланным мной на разведки, так что до сих пор я не могу рассказать тебе в качестве *очевидца* о милом князе, по словам Щуки имеющем превосходный вид и, конечно, вполне опровергшем зловещие предсказания, коими он заключил, садясь в коляску, наше прощание: он сказал, отъезжая, что я не увижу его больше или увижу в состоянии хуже смерти. Я очень люблю предвещания несчастья, когда они так блестяще опровергаются. Хорошо хоть что-нибудь урвать у врага, а кроме того, это добрый знак для будущего. Я не знаю еще, где они поселятся. Вчера в Петергофе, где об их приезде было уже известно, *Воейкова,* у которой я был с Анной, говорила нам, что принц Ольденбургский, дабы продолжить начавшуюся дружбу, предложил им помещение у себя в Петергофе; однако Щука подробно рассказал мне совещание, свидетелем коего он оказался, между княгиней и ее обойщиком относительно того, что следует предпринять в ее *вилле*

в Лесном, куда она рассчитывает переехать собственной персоной в будущую среду. Предоставляю все эти факты на вашу оценку, чтобы вы могли вывести из них те предположения, какие покажутся вам наиболее вероятными. Что бы ни случилось, тебе не трудно будет представить себе *среду*, введя в нее милейших Блудовых, не менее милейшего Плетнева, Мещерских-Карамзиных и меня, конечно наименее милейшего из всех. Кстати об Антуанетте, она спрашивает про тебя всякий раз, как меня видит, и поручает передать тебе от нее тысячу нежностей. Откуда ты взяла, что отправка «Allgemeine» стоит так дорого? Разве я тебе не писал, что весь абонемент на полгода обходится лишь в 1 р. серебром. Надеюсь, что вы успокоитесь на этом. Посылаю тебе сегодня еще три номера. Последний из этих номеров содержит первое телеграфическое известие об их поражении 6/18 сего месяца под Севастополем. Испытываешь истинное наслаждение, читая в их подлых газетах подробности этого разгрома, которые против их воли пробиваются наружу сквозь все недоговариванье и вранье. На сей раз столько было пролито крови, что она просачивается сквозь их лукавство и, несмотря на все ухищрения редакции, ничего не удается скрыть. Но еще более поражаешься, наблюдая, как мы здесь поддерживаем их ложь и их утайки пошлым смирением наших бюллетеней и непостижимым старанием преуменьшить потери врага в наших донесениях. Так, например, в последнем бюллетене не решились сказать, что в этом деле они оставили в наших руках *тысячу сто* человек, из коих четыреста сдались *без боя*, точно так же, как не посмели сознаться, что по всем собранным сведениям неприятель потерял в общей сложности свыше *пятнадцати тысяч* человек. А когда этих идиотов спрашивают о причине всей этой сдержанности, они вам говорят, что это для того, чтобы не раздражать общественного мнения. Так, например, на днях бедный Мальцев вообразил, будто ему будет дозволено в какой-то невинной статье для «Journal de St.-Pétersbourg» сказать, что англичане ведут *пиратскую* войну у наших берегов. Представь, канцлер заставил его вычеркнуть это выражение, как слишком оскорбительное. И вот какие люди управляют судьбами России во время одного из самых страшных потрясений, когда-либо возмущавших мир! Нет, право, если только не предположить, что бог на небесах насмехается над

человечеством, нельзя не предощутить близкого и неминуемого конца этой ужасной бессмыслицы, ужасной и шутовской вместе, этого заставляющего то смеяться, то скрежетать зубами противоречия между людьми и делом, между тем, что есть и что должно бы быть, — одним словом, невозможно не предощутить переворота, который, как метлой, сметет всю эту ветошь и все это бесчестие. Лет тридцать тому назад барон *Штейн*, человек наиболее ненавидевший это отродье, встретившись с нашим теперешним канцлером на каком-то конгрессе, писал про него в своих письмах: «Es ist der armseligste Wicht den ich jemals gesehen habe»[1]. Все это во всех подробностях находится в биографии Штейна, недавно изданной в Германии.

Пока у нас все еще, как в видении Иезекииля. Поле усеяно сухими костями. Оживут ли кости сии? Ты, господи, веси! Но, конечно, для этого потребуется не менее чем дыхание бога, — дыхание бури. Ах, как я хотел бы рассказать тебе все это устно. Моя милая кисанька, любишь ли ты меня еще немножко? Прощай... Иду погрузиться в ванну.

26

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Москва. Пятница. 9 сентября 1855.

Самое правильное, моя милая кисанька, это дать времени делать свое дело: оно все унесет и все устроит, а потому лучше всего дозволить этому двигателю увлекать себя, оказывая ему как можно меньше противодействия. На это философическое размышление навела меня мысль о моем путешествии, кое-какие подробности которого я хотел было тебе сообщить, но по прошествии недели оказалось, что я не сохранил о нем ни малейшего воспоминания... Однако поистине удивительно, а также весьма унизительно, что восьми дней поверхностных впечатлений было вполне достаточно, чтобы если не изгладить, то по крайней мере ослабить подавляющее и ошеломляющее впечатление севастопольской катастрофы. Я 400 верст ехал вдоль телеграфной нити, но она ничего мне о том не поведала, и только от брата, у которого мы с Катериной по приезде останови-

---

[1] Это самое жалкое существо, которое я когда-либо видел (*нем.*).

лись, я узнал эту ужасную новость. Возможно, если бы я написал тебе тотчас же, то сказал бы что-нибудь очень красноречивое и очень захватывающее. Теперь же слишком поздно... К тому же в ту минуту, как я тебе пишу, великолепное утреннее солнце проникает в мою комнату, и я лелею мысль, что в эту же минуту оно тем же светом заливает твой балкон и расстилающийся под ним и перед ним сад, расцвеченный тысячью осенних красок, и всю эту панораму, слишком хорошо знакомую, с которой — хочется думать — ты при первой возможности меланхолически распрощаешься, — как и я вот-вот распрощаюсь с той, что в течение восьми дней предоставляла мне Москва.

Обитаемый Кремль производит в самом деле необычайное и своеобразное впечатление. При виде всей этой толчеи суетливой жизни, этого движения экипажей, этой толпы, запрудившей дворцовую площадь и одушевленной интересом нынешней минуты, казалось, будто чары рассеялись и жизнь возобновляется после целых веков перерыва; но затем, когда на лестницах или в коридорах доводилось встречать знакомые петербургские лица — Александрину Долгорукую, г-жу Захаржевскую и т. д. и т. д.,— сон быстро сменялся действительностью.

Однако вчера, 8-го, в то время, когда во всех соборах совершалась обедня, я поднялся на первую площадку Ивана Великого, покрытую народом, ожидавшим — не знаю, тщетно или нет — появления государя на большой внешней лестнице или при выходе его из одного из соборов. И тут меня вдруг вновь охватило чувство сна. Мне пригрезилось, что настоящая минута давно миновала, что протекло полвека и более, что начинающаяся теперь великая борьба, пройдя сквозь целый цикл безмерных превратностей, захватив и раздробив в своем изменчивом движении государства и поколения, наконец закончена, что новый мир возник из нее, что будущность народов определилась на многие столетия, что всякая неуверенность исчезла, что суд божий совершился. Великая империя основана... Она начинала свое бесконечное существование там, в краях иных, под солнцем более ярким, ближе к дуновениям юга и Средиземного моря. Новые поколения с совсем иными воззрениями и убеждениями господствовали над миром и, уверенные в достигнутых успехах, едва помнили о тех печалях, о той тоске и

темной ограниченности, в которой мы живем теперь. И тогда вся эта сцена в Кремле, при которой я присутствовал, эта толпа, столь мало сознававшая, что должно совершиться в будущем, и теснившаяся, чтобы видеть государя, который так недолго просуществует и жизнь которого так скоро будет подорвана и поглощена при первых же испытаниях великой борьбы, — вся эта картина показалась мне видением прошлого и весьма далекого прошлого, а люди, двигавшиеся вокруг меня, давно исчезнувшими из этого мира... Я вдруг почувствовал себя современником их правнуков.

И вот именно вследствие этого присущего моему уму свойства охватывать борьбу во всем ее исполинском объеме и развитии, я бываю подчас менее чувствителен к неудачам и бедствиям настоящего момента, хотя временами и удручен печалью и отвращением и, чтобы не совсем потерять бодрости и интереса к жизни, должен вспомнить, что ты где-то около меня... Восточный вопрос, которому суждено пережить наше поколение и который будет трепать и терзать его до конца нашего существования, напоминает мне остроумные слова брата г-жи Смирновой. Когда ею овладевал приступ нетерпения и гнева против мужа, он говорил ей: «Вбей себе хорошенько в голову, что, если ты проживешь до 80 лет с лишним, твой муж переживет тебя ровно на год...»

Из новостей сообщу тебе *одну* довольно прискорбную, которая, быть может, тебе еще неизвестна. На днях государь получил извещение, что его тетка, вдовствующая королева, собирается приехать на постоянное жительство в Россию вследствие ссоры с сыном, который из сумасбродства вздумал послать ленту своего высшего ордена Людовику Бонапарту в знак приветствия по случаю падения Севастополя, а императору Всероссийскому, вероятно, в виде утешения. Патриотическое негодование королевы вполне законно; однако ее приезд ожидается не без некоторого опасения.

Милая моя кисанька, я мог бы написать тебе еще целые тома, но отвратительное перо, движущееся в моих пальцах и оставляющее на бумаге отвратительные письмена, до крайней степени раздражает мои нервы и отнимает всякую свободу мысли, оставляя в сердце большой запас нежности. Но еще больше я любил бы тебя воочию. Да хранит тебя бог.

27

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<С.-Петербург.> Суббота. 17 сентября <1855>.

Милая моя кисанька, итак с прошлого вторника я снова водворился в Петербурге, — ровно через шесть недель после того, как покинул это приятное местопребывание. На этот раз я совершил путешествие в многочисленном обществе знакомых. Кроме княгини Юсуповой, тут были Муравьевы, граф Перовский, бывший министр внутренних дел со своим племянником графом Алексеем Толстым, голландский посланник г-н Дюбуа, и т. д. и т. д. Это было не так скучно, как путешествие по ту сторону Москвы, однако все-таки весьма утомительно, и я порядком измучился, но не столько по причине неудобств для себя лично, сколько в предвидении того, как потом измучаешься ты. И, однако, чего бы я ни дал, чтобы знать, что ты уже на этой пресловутой железной дороге и первая часть путешествия, полная всяких передряг, которые трудно предусмотреть и преодолеть, осталась для тебя позади.

Приехав сюда, я нашел квартиру наводненной малярами и мусорщиками, уже окончившими половину работы (твои комнаты уже отделаны) и собирающимися приняться за мою комнату, так что на первые ночи я перенес свое временное ложе в твою спальню.

В данную минуту мое писание прервано Щукой, который подал мне твое письмо. Поэтому позволь мне на мгновение тебя покинуть, чтобы тебя прочитать...

Благодарю, моя киска, ты пишешь, как никто другой, и невозможно лучше тебя излагать свои мысли... Твой слог почти столь же выразителен, и выразительность его почти столь же приятна, сколь приятно выражение твоего милого и прелестного лица... Что касается содержания твоего письма, помеченного 11-м, то известия, полученные с тех пор, раскрыли перед тобой все значение севастопольской катастрофы... О да, ты вполне права, — наш ум, наш бедный человеческий ум захлебывается и тонет в потоках крови, повидимому, — по крайней мере так кажется, — столь бесполезно пролитой... И это ужасное бедствие, вероятно, только исходная точка, первое

звено целой цепи еще более страшных бедствий... Я считаю Крым потерянным и армию князя Горчакова поставленной в очень тяжелые условия. Здесь почти все разделяют это мнение — и действительно нельзя обманывать себя относительно огромной опасности положения. Ибо что может быть серьезнее такого положения, когда даже некоторые успехи — в той мере, в какой они возможны — только продлили бы, как это было под Севастополем, агонию защитников и, самое большее, заставили бы противника направить на другое место свой удар, хотя и там не было бы ни малейшей надежды отвести или отразить его. Никогда еще, быть может, не происходило ничего подобного в истории мира: империя, великая, как мир, имеющая так мало средств защиты и лишенная всякой надежды, всяких видов на более благоприятный исход!

Чтобы получить более ясное понятие о сущности этой борьбы, следует представить себе Россию, обреченную только одной рукой отбиваться от гигантского напора объединившихся Франции и Англии, тогда как другая ее рука сдавлена в тисках Австрии, к которой тотчас примкнет вся Германия, как только нам вздумается высвободить эту руку, чтобы попытаться схватить теснящего нас врага... Для того чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах. Если бы кто-нибудь, желая войти в дом, сначала заделал бы двери и окна, а затем стал пробивать стену *головой*, он поступил бы не более безрассудно, чем это сделал два года тому назад незабвенный покойник. Это безрассудство так велико и предполагает такое ослепление, что невозможно видеть в нем заблуждение и помрачение ума одного человека и делать его одного ответственным за подобное безумие. Нет, конечно, его ошибка была лишь роковым последствием совершенно ложного направления, данного задолго до него судьбам России, — и именно потому, что это отклонение началось в столь отдаленном прошлом и теперь так глубоко, я и полагаю, что возвращение на верный путь будет сопряжено с долгими и весьма жестокими испытаниями. Что же касается конечного исхода борьбы

в пользу России, то, мне кажется, он сомнителен менее, чем когда-либо.

Все эти общие соображения не мешают мне глубоко сочувствовать весьма законным тревогам твоего брата, который, конечно, имел право ожидать более удовлетворительного результата от стольких поистине изумительных усилий, упорства и самоотверженности на пользу своей семьи.

Но вот бумага кончается, а я еще ничего тебе не сказал. Вчера я обедал у Блудовых с Козловой и т. д. Все тебе очень кланяются и очень желают твоего возвращения. Сегодня я послал за Дмитрием, который чувствует себя прекрасно. Сейчас он обедает у Мельниковых, а вечером поедет в сопровождении Пала́геи к Анне в Царское, где я рассчитываю встретиться с ним завтра, в воскресенье. Там ожидают сегодня императрицу-мать; государь возвращается 28-го.

Город в отношении общества еще довольно безлюден. Кое-кто еще на Островах; Вяземские, кажется, еще в Лесном и т. д. и т. д.

Но как могу я говорить с тобой на расстоянии тысячи верст? Раз и навсегда я требую, чтобы ты вернулась, — слышишь ли?

28

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

С.-Петербург. Понедельник. 23 июля 1856.

Милая моя кисанька, третьего дня в Петергофе, среди празднеств и официальных поздравлений, я получил твое письмо от 16-го с потрясающей вестью о внезапной и жестокой смерти бедного С. Мещерского. Нет, непрочность человеческой жизни — единственная вещь на земле, которую никакие разглагольствования и никакое ораторское красноречие никогда не в силах будут преувеличить. Я вспомнил, что в последний раз видел его с женой на костюмированном балу у великого князя Константина Николаевича, где несколько минут просидел за одним столом с ними, и они, спокойно сидя рядом, и не предчувствовали, какая пропасть готовилась раскрыться между ними, и кто знает,

великий боже, может быть, не они одни были так же беззаботны за этим столом! Я по крайней мере могу отдать себе печальную и горькую справедливость в том, что чувство тоски и ужаса уже много лет стало привычным состоянием моей души, — и если этого недостаточно для умилостивления судьбы, то во всяком случае несчастье не застигнет меня врасплох. Ах, уж конечно я не наведу на себя ее ударов избытком спокойной уверенности, и, однако, все эти ужасы, все эти непрекращающиеся беспокойства сводятся для меня к одному страху, к одной заботе. Я подобен человеку, который заранее знает, какой род смерти ему предопределен, и вследствие этого всегда и во всем видит предвестников события, коего должен опасаться. Но нет сомнений в том, что мое постоянное прискорбное умонастроение беспредельно обостряется под влиянием разлуки... Ах, где то сказочное время, когда жилось беспечно, дышалось свободно и люди спокойно ходили по земле, не подозревая, что под ногами уже подложена мина.

Однако в настоящую минуту даже те ужасные впечатления, о которых ты сообщила в своем письме от 16-го, начали для тебя, вероятно, сглаживаться, так что потрясение, которое они во мне вызвали, покажется тебе до известной степени анахронизмом. Но дело в том, что, несмотря на болезненную живость моего ума, некоторые впечатления настолько соответствуют состоянию моего духа, что, к несчастью, принимают характер навязчивой идеи.

Приехал ли князь Оболенский? Уехал ли он уже? Увез ли он с собой Софи́ Мещерскую? А ты, моя милая кисанька, что ты делаешь? На чем ты порешила?

Слушай, я тебе уж это говорил и повторяю. Я не хочу, чтобы ты подчиняла время своего возвращения другим удобствам, кроме *твоих* собственных. Я слишком хорошо знаю и понимаю справедливый ужас, который ты испытываешь при мысли о возвращении на зиму в Петербург, и чувствую себя огорченным и униженным возможностью быть включенным в это отвращение, впрочем весьма законное. И так как ты возвращаешься сюда к 12-му или 19-му, ты можешь быть уверена, что я не уеду отсюда, не повидав тебя. Нет уж, конечно, по собственному побуждению я не соглашусь подвергнуть себя лишним случайностям неизвестного. Если ты вернешься 12-го, я уеду в Москву только 19-го; если ты приедешь 19-го, ну тогда я уеду 22-го или 23-го

и все-таки попаду к сроку, чтобы сделать там, что мне полагается. Итак, вот что решено: ты поступишь, как захочешь и как тебе удобнее, ничуть не заботясь о том, что может быть приятно другим, начиная с меня. И, однако, моя милая кисанька, признаюсь, что двадцать раз в день я для своего успокоения говорю себе, что свижусь с тобой, быть может, через три, а не через четыре недели. Но прежде всего мне нужны две вещи: чтобы ты вернулась вполне здоровой, а я чтобы был изъят из того чувства отвращения, которое охватит тебя по приезде.

Почему ты не дала Мари́ написать мне? Я был очень польщен удовольствием, которое ей доставило мое письмо. Не знаю, возможно, моя обычная лень и помешала бы мне ответить на ее второе послание, но, конечно, оно было бы прочитано с таким же удовольствием, как и первое. При этом позволь мне, моя милая кисанька, повторить тебе то, что я говорил по поводу Мари́ перед твоим отъездом, т. е. если бы оказалось, — чего не приведи бог, — что ее здоровье внушает тебе хотя бы ничтожные опасения и ты находишь нужным принять предложение, сделанное Ментками, — то повторяю, моя киска, полагайся целиком на меня: отвезу ее к ним я и никто другой.

Вчера я получил письмо от моей матери, которой отвечу завтра. Бедная старушка очень озабочена тем, чтобы я прилично и достойно сыграл свою роль на коронации, и в виде поощрения старается меня уверить, что этого требует от меня благодарность к царской семье. Все это предвещает мне большую скуку,— но, может быть, когда я тебя увижу, все покажется мне в другом свете.

Да сохранит и оградит тебя бог, моя милая кисанька.

29

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Москва. Воскресенье. 9 сентября <1856>. В полночь.

Ах, до чего мне это надоело, боже мой, до чего мне все это надоело, — и как я хотел бы увидеть твое милое лицо, чтобы дать отдых своим глазам и успокоить свою душу!.. Я только что вернулся с пресловутого маскарада, который

должен был собрать в залах Кремлевского дворца не то пятнадцать, не то двадцать тысяч душ, и, право, мне кажется, что так оно и было. Толпа была огромная. Мы под руку с Китти шли, или, вернее, плелись, в полонезе, и вдруг, благодаря внезапному повороту первых пар, столкнулись с царской четой, что дало повод государю посоветовать Китти не потерять своего отца в толпе, а ему самому даст завтра пищу для рассказа, который очень его позабавит. Что же касается меня, то должен признаться, что все это движение, весь этот блеск, все это величественное зрелище и символическая пышность, под которой вдруг узнаешь столь знакомые лица, оставшиеся так откровенно, так смиренно самими собой, все это представляется мне сном, — так это живо и в то же время бессвязно и не похоже на действительность. Вот, например, старуха Разумовская и старуха Тизенгаузен (я называю их, потому что они последние, с кем я говорил) и рядом с ними князья Мингрельские, Татарские, Имеретинские, самые подлинные, с их великолепными одеяниями и торжественными лицами, имеющие за собой кровавое прошлое, — и даже, как сегодня вечером, например, два живых и настоящих китайца, — а в двухстах шагах от этих залитых светом зал, переполненных столь современной толпой, там, под сводами — гробницы Ивана III и Ивана IV.

Если можно было бы предположить, что шум и отблеск того, что происходит в Кремле, достиг до них, как бы эти мертвецы должны были изумиться! Иван IV и старуха Разумовская! Как похоже на сон то, что мы называем действительностью! Но уже не сон, милая моя кисанька, то, что от всего этого я устал и ощущаю огромную потребность с тобой свидеться, и, если бы не моя бедная, старая мать, так настойчиво требующая, чтобы я задержался здесь возможно дольше, я уехал бы не позже завтрашнего дня. И, однако, в глубине души я твердо решил отложить свой отъезд самое большее на 8 или 10 дней. Я уступлю ей еще эту неделю и появлюсь у тебя в середине следующей, т. е. около 20-го или 21-го сего месяца. К этому времени царская семья покинет Москву. Императрица-мать отбывает уже послезавтра в более теплые края. Великая княгиня Мария Николаевна, говорят, уезжает в Крым — и не без причины. Великая княгиня Елена Павловна отправляется на год

за границу, так же, как супруга великого князя Константина Николаевича, и т. д. Но что за пустяки я тебе здесь рассказываю! А вот что заинтересует тебя больше. Намедни, на первом большом придворном балу я очутился за ужином около незнакомого генерала, который вдруг обращается ко мне с вопросом, как поживает его милый Дима и помогли ли ему ванны Аренсбурга. Этими словами он себя назвал. Мой собеседник, как ты догадываешься, был генерал Мельников, умный человек. Недавно мне довелось сделать другое знакомство, имеющее отношение до тебя. Это —молодой Актон, сын леди Грэнвилль. Он в самом деле молодой человек, очень тонкого воспитания и обращения и точь-в-точь такой, каким ты его описала, о чем я и не преминул ему сказать. Я встретил его на вечере у г-на Бахметьева, который непременно хотел, чтобы я с ним познакомился, и должен сказать, что этот вечер, где из иностранцев был только он один, произвел на меня самое грустное впечатление, — до того я был поражен контрастом между природным аристократизмом этого молодого человека и вульгарностью, также прирожденной, всего, что его окружало. К этому еще прибавилось, благодаря множеству подробностей, которые он сообщил мне о Мюнхене, живейшее воспоминание обо всем этом прошлом, как будто тысячелетней давности. Одним словом, я почувствовал, что сердце у меня сжалось от самой настоящей тоски по былом. О милая моя кисанька, — лишь бы ты была жива и мне осталась... Леди Грэнвилль я встретил на балу у князя Голицына, но едва успел обменяться с ней несколькими словами. А что до бала, — который был очень хорош в своем роде, хотя кое в чем так же старомоден, как и сам амфитрион, — то ты от души посмеялась бы над отчаянием, написанным на лице его племянника, милейшего князя Михаила Голицына, в котором было оскорблено его природное чувство элегантности и стремление к фешенебельной роскоши. Так, например, жалуясь мне на странное соображение, каким руководствовался его дядя в своем выборе, или, вернее, отсутствии выбора, приглашенных, он не мог прийти в себя от его причудливой фантазии пригласить на бал *пятнадцать* врачей московского факультета.

Может быть, мне следовало бы описать тебе вчерашний народный праздник, но я на нем не был и хорошо сделал, ибо, как я и предчувствовал, этот якобы народный праздник

был так же безобразно устроен, как и нелепо задуман. Это была раздача всевозможной еды, подпорченной дождем, который поливал ее в течение двух дней, и этим угощали двести тысяч человек, топтавшихся в грязи и всяких отбросах! А теперь, без перехода, несколько слов о несчастном Оттоне, который все еще здесь, каждый день обедает у Сушковых и положительно близок к сумасшествию, так как находится уже в той стадии лихорадочной говорливости, неистощимой, безудержной, в какой мы его уже однажды видели. Вот малый, который причинит нам немало хлопот.

Моя шуба нашлась, но я еще не брал ее с почты.

Милая моя киска, брось плохие шутки и напиши мне немедленно... Покойной ночи. Два часа утра. Целую тебя тысячу раз и иду спать. Да хранит тебя бог.

30

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

<Петербург.> Вторник. 9 июля <1857>.

Вот, князь, два стихотворения Мея, про которые я вам говорил на днях и которые показались мне достаточно замечательными, чтобы сообщить их вам. То, которое озаглавлено «Вихорь», основывается, как сказал мне автор, на одном народном поверье, которого я не знал и которое вам, быть может, тоже неизвестно, но оно, несомненно, отличается самой яркой и самой оригинальной фантастичностью. Есть еще три или четыре пьесы в том же роде, как, например, «Домовой», образующие как бы законченный цикл русской народной демонологии.

Кстати о Мее: я сообщил ему сделанное вами на его счет замечание, и он просил меня представить вам его оправдание, подкрепленное моим свидетельством. И действительно я могу по совести подтвердить, что здоровье его в плачевном состоянии.

Конечно, я не премину явиться на ваш любезный зов 12 июля.

Тысяча почтительных приветствий.

Ф. Тютчев

31

А. Д. БЛУДОВОЙ

<Петербург.> Суббота. 28 сентября <1857>.

Возвращаю вам ваш дневник, дорогая графиня. Если бы я не опасался пышных слов, то сказал бы вам, что прочел его не только с восхищением и интересом, но с благоговейным умилением, и это не было бы преувеличением... Да, конечно, если бы дух, которым проникнуты эти несколько листков, мог каким-либо чудом переселиться во всех нас, сделаться душой власти, администрации, высших классов, — одним словом, всей официальной России, — тогда, быть может, нам и удалось бы спастись, то есть Святая Русь смогла бы осуществить преобразования, ставшие неизбежными, не проходя через все испытания, столь ею заслуженные.

В истории человеческих обществ существует роковой закон, который почти никогда не изменял себе. Великие кризисы, великие кары наступают обычно не тогда, когда беззаконие доведено до предела, когда оно царствует и управляет во всеоружии силы и бесстыдства. Нет, взрыв разражается по большей части при первой робкой попытке возврата к добру, при первом искреннем, быть может, но неуверенном и несмелом поползновении к необходимому исправлению. Тогда-то Людовики шестнадцатые и расплачиваются за Людовиков пятнадцатых и Людовиков четырнадцатых.

По всей вероятности, то же самое постигнет и нас в том страшном кризисе, который — немного раньше или немного позже, но неминуемо — мы должны будем пережить. С моей точки зрения, все будущее задуманной реформы сводится к одному вопросу: стоит ли власть, призванная ее осуществить, — власть, которая вследствие этой реформы сделается как бы верховным посредником между двумя классами, взаимоотношение коих ей надлежит упорядочить, — стоит ли она выше двух классов в нравственном отношении? И здесь — поймите меня правильно — я говорю не о нравственности ее представителей, более или менее подначальных, и не о нравственности ее внешних органов, составляющих ее руки и ноги... Я говорю о самой власти во всей сокровенности ее убеждений, ее нравствен-

ного и религиозного credo[1], одним словом — во всей сокровенности ее совести. Отвечает ли власть в России всем этим требованиям? Какую веру она исповедует и какому правилу следует? Только намеренно закрывая глаза на очевидность, дорогая графиня, можно не замечать того, что власть в России — такая, какою ее образовало ее собственное прошедшее своим полным разрывом со страной и ее историческим прошлым, что эта власть не признает и не допускает иного права, кроме своего, что это право — не в обиду будь сказано официальной формуле — исходит не от бога, а от материальной силы самой власти, и что эта сила узаконена в ее глазах уверенностью в превосходстве своей весьма спорной просвещенности. Переберите одного за другим всех наших государственных и правительственных деятелей, прислушайтесь к их словам, вникните в самую суть их убеждений, и вы найдете, за одним или двумя исключениями, что у всех, даже у лучших, повидимому, нет иного *credo*, кроме того, о котором я только что сказал... Одним словом, власть в России на деле *безбожна*, ибо неминуемо становишься безбожным, если не признаешь существования живого непреложного закона, стоящего выше нашего мнимого права, которое по большей части есть не что иное, как скрытый произвол. В особенности грустно и безнадежно в настоящем положении то, что у нас все общество — я говорю об обществе привилегированном и официальном — благодаря направлению, усвоенному им в течение нескольких поколений, не имеет и не может иметь другого катехизиса, кроме катехизиса самой власти.

Вот почему мне кажется неизбежным, что в продолжение первого времени по крайней мере, — а долго ли они продлятся, эти первые времена, господь ведает, — истинное значение задуманной реформы сведется к тому, что произвол в действительности более деспотический, ибо он будет облечен во внешние формы законности, заменит собою произвол отвратительный, конечно, но гораздо более простодушный и, в конце концов, быть может, менее растлевающий... И вот почему, графиня, слово ваших крестьян есть, может быть, последний крик всей исторической России: *мы не хотим быть казенными*[2].

---

[1] Исповедание веры (*лат.*).

[2] Начиная со слов: «И вот почему, графиня...», написано по-русски.

И тем не менее никто лучше меня не сознает того, что мы пройдем через эту фазу, — мы обязаны через нее пройти, чтобы понести в пути все наказания, столь нами заслуженные.

Целую ваши ручки, такие честные, и еще раз благодарю вас за удовольствие, доставленное мне чтением вашего дневника.

Ф. Тютчев

32

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург. Четверг. 5 июня 1858.

Вчера — наконец-то, наконец-то! — я имел грустное удовлетворение вновь увидеть на твоем письме, — на двух твоих письмах, прибывших, по обыкновению, одновременно — эту ненавистную помету: *Овстуг;* они пришли ровно через *восемнадцать* дней после вашего отъезда в это прелестное место, о котором, благодаря тому, что ты там, я вынужден проявлять заботливость — нежную, но совершенно противоречивую, ибо она содержит в себе по меньшей мере столько же ненависти, сколько любви... А в нынешнем году к этому присоединилось и нечто иное, — а именно весьма реальное беспокойство. Я не воображаю себе, будто под вас подложена мина, но вполне очевидно, что теперь мы уже не стоим на прежней твердой и неколебимой почве и что в одно прекрасное утро можно проснуться на оторванной от берега льдине... И подумать только, что там, в этом затерянном краю, я подвергаю тебя подобным случайностям, тебя, которая, если бы все шло своим разумным течением, и за тысячу верст не должна бы к нему приближаться, — тогда как сам в это время глупо и подло живу здесь, в величайшей и полнейшей безопасности. Ах, все это мне поделом и еще более укрепляет меня в чувствах, которым я предаюсь... Тишина, господствующая в стране, ничуть меня не успокаивает; но не потому, чтобы я считал ее неискренней, а потому, что она основана на очевидном недоразумении, на безграничном доверии народа к власти, на его вере в ее к нему доброжелательность и благонамеренность. Когда же приходится видеть то, что делается, или, вернее, не делается здесь, — всю эту слабость и непоследовательность, эту вопиющую недостаточность мер

ввиду абсолютно реальных затруднений, — невозможно при наличии такой явной нерадивости правительства, столь противоречащей данному положению, невозможно, говорю я, не поддаться самым серьезным опасениям. Ибо не только никто не знает здесь, что происходит в комитетах и до чего доведена начатая работа, но никто как будто и не интересуется этим. Об этом деле говорят так мало, как если бы оно было решено и подписано лет двадцать назад; однако очевидно, что ни к одной реформе еще не приступлено всерьез и все вопросы поставлены, как status quo[1].

Но я негодую на себя, моя милая кисанька, негодую, что распространился перед тобою на общие темы в то время, когда ты находишься за тысячу верст от меня и лично и непосредственно подвергаешься всем случайностям нынешнего положения вещей; еще раз — я сознаю себя достойным полного презрения. Мой брат все еще здесь и попрежнему в ожидании общего собрания акционеров, которое должно состояться через неделю; так вот, мой брат совсем не способен, как по свойству своего ума, так и по складу своего характера, применяться к современным обстоятельствам и не может ни перенести их неопределенности, ни понять их важности... Тотчас по возвращении в Москву он поедет к вам в деревню, а оттуда не замедлит отправиться за границу — не без некоторых угрызений совести и колебаний. Наконец-то мне удалось пристроить его в *клубе*, где он проводит половину дня в известном кругу, сходном с тем, к какому он привык. На днях (это было в прошлое воскресенье) мы поехали обедать к Анне, которую застали более чем когда-либо раздраженной от усталости в этот день именно потому, что это было воскресенье, о чем я не подумал. Но после первого неприятного момента все обошлось довольно прилично. На другой день, в понедельник, я обедал у князя Щербатова, попечителя университета, в обществе господ Хрущова и Валуева. Разумеется, за этим обедом только и говорилось, что о печати, о цензуре, о нахальной глупости одних, о малодушии других, о неспособности всех и т. д.; все это было уже тысячу раз сказано, все это тысячу раз верно, и все-таки ни к чему не ведет. Щербатов окончательно подал в отставку и настаивает на

[1] Сохранение сложившегося положения (*лат.*).

ней. В прошлый вторник (то есть третьего дня) я обедал в Лесном у Вяземских в обществе г-на Павлова, очень известного московского литератора, но которого ты, кажется, не знаешь. Это человек большого ума и таланта, тот самый, который по настоянию своей жены, не менее известной, чем он, был когда-то арестован графом Закревским и временно выслан в Пермь. Он здесь по делам. Несмотря на свой ум, он чувствует себя призванным основать политико-литературный журнал, который, разумеется, будет ученее и гораздо выше всех уже существующих. Так как он встретил сочувствие и посильную поддержку лишь во мне одном, то и уцепился за меня со всей энергией отчаяния, что могло бы надоесть всякому, менее меня ищущему общества и нуждающемуся в нем, особенно в обществе такого умного человека, как он. Вчера мы с ним вместе обедали у Баратынских, уже водворившихся в своей новой и очень красивой квартире на Михайловской площади. Накануне госпожа Б⟨аратынская⟩, навестив перед тем моего приятеля Делянова, который сейчас болен, сама приезжала звать меня. Но незадолго до обеда приглашение великой княгини Екатерины Михайловны похитило ее у нас, что, впрочем, не помешало обеду быть очень вкусным и довольно оживленным. Я узнал также, что Хомяков и Тургенев сейчас находятся здесь. Но, боже мой, что тут интересного для тебя! Ах, какая глупая вещь — письмо!

Тамú, которого я встретил намедни в министерстве иностранных дел, сказал мне, что Дима благополучно выдержал свой второй экзамен и будет теперь же сдавать третий. Я обещал ему заехать за ними в коляске на будущей неделе, чтобы прокатить их на Острова, что, повидимому, доставило добрейшему Тамú большее удовольствие, чем эта прогулка того заслуживает. Как ты смешна, моя милая кисанька, со своим мнимым долгом в 201 рубль. Ты мне должна только *60*, слышишь ли, только шестьдесят, которые мне не понадобятся раньше двух или трех месяцев. Но вот бумага кончается. Ах, до чего это глупая вещь—письмо! Целую вас всех, но тебя тысячу раз особенно.

P. S. Замечаю, что я не то чтобы забыл, но, вернее, упустил сообщить тебе тысячу важных эпистолярных вещей. Но это потому, что, когда я пишу, я никогда не говорю ни того, что хотел бы, ни так, как хотел бы, — вот это-то и внушает мне безмерное отвращение к писанию. Итак,

оставив тебя в моем последнем письме под впечатлением известия, что на следующий день я буду фигурировать в качестве дежурного камергера в программе праздника, я вижу, что в этом письме ни слова не сказал тебе о совершившемся событии... Ну, теперь слишком поздно исправлять это упущение, и ты ничего не узнаешь. Однако это было очень красиво и очень торжественно, но, к сожалению, и очень продолжительно. Вызванные к 9 часам утра в Зимний дворец, в одиннадцать часов мы находились еще на большом дворе, рассаженные по каретам в ожидании минуты выезда. Площадь — вся покрытая войсками, так же, как крыши — зрителями; барабаны, бьющие поход; великолепное солнце и невыразимое смешение музыки всех полков, начинавшей играть национальный гимн по мере того, как государь объезжал ряды. Я находился в предпоследней карете процессии, золоченой по всем швам, запряженной шестью лошадьми и сопровождаемой придворными лакеями. Передо мной сидели два болвана, вероятно старше меня, ибо они помещались в глубине кареты. Один из них — господин Зубов, женатый на кузине госпожи Эйлер. Я чувствовал себя смешным, а еще более скучающим. Около часу освящение кончилось. Крестный ход — я добровольно принял в нем участие, следуя вне рядов подле Александры Долгорукой, которая особенно была хороша в этот день, — крестный ход вернулся в собор. Тут-то я, почувствовав себя разбитым от усталости, изнуренным от голода, да еще убедившись в том, что мое дальнейшее присутствие совершенно излишне (а впереди еще была поистине ужасающая перспектива только что начавшейся обедни — архиерейской обедни, а за ней панихиды по пяти государям, основателям и создателям собора: Петре I, Екатерине II, Павле, Александре I и Николае, и не менее торжественного и длинного молебна за царствующего императора), — тут-то я, повторяю, под влиянием всех этих настоятельных и непреодолимых причин, сделал то, что так свойственно моей природе — я сбежал... и, одинокий и великолепный, шел по улицам, ослепленным моим блеском, чтобы кратчайшим путем добраться до своей комнаты, своего халата и завтрака, в котором я ощущал крайнюю потребность. Но успокойся, все обошлось прекрасно и закончилось без меня, и никто даже и не заметил того, что меня нет на месте.

33

А. М. ГОРЧАКОВУ

<Петербург.> Вторник. 21 апреля 1859.

Князь, хочу просить вас об одном одолжении и, чтобы не отнимать у вас времени, прямо скажу вам, в чем дело: это — курьерская экспедиция в Берлин в течение первой половины будущего месяца. Если бы случайно у вас оказались, князь, какие-нибудь бумаги или какие-либо инструкции в Мюнхен, я был бы счастлив взять на себя их доставку, так как после Берлина мне бы хотелось поехать на несколько дней в Мюнхен... А теперь, князь, позвольте мне еще раз сказать вам, и из самой глубины моего сердца: да поможет вам бог, — ибо более, чем когда-либо, вы — человек необходимый, человек незаменимый для страны. Ах, дал бы бог, чтобы это был лишь пустой комплимент, а я, кажется, достаточно вас знаю, князь, чтобы быть уверенным в том, что вы вполне разделяете горечь, которую испытываю я, утверждая это перед лицом настоящего положения, довольно-таки серьезного уже в данный момент и которое с минуты на минуту может невероятно ухудшиться.

Но не опасности создавшегося положения сами по себе пугают меня за вас и за нас. Вы обретете в самом себе достаточно находчивости и энергии, чтобы противустать надвигающемуся кризису. Но что действительно тревожно, что плачевно выше всякого выражения, это — глубокое нравственное растление среды, которая окружает у нас правительство и которая неизбежно тяготеет также над вами, над вашими лучшими побуждениями.

Я, право, не знаю, стояло ли когда-нибудь во главе какого бы то ни было общества что-либо столь же посредственное в отношении души, характера и ума, как то, что стоит во главе нашего. Все, что я примечаю, все, что я слышу вокруг себя, внушает мне как бы предчувствие невероятной подлости, которая пока еще назревает и, чтобы осмелеть, ждет новых осложнений, но которая в данный момент не преминет разразиться открыто... И союз с Австрией еще раз сделается формулой для всех этих устремлений... Следует заметить, что в настоящее время союз с Австрией

или какой бы то ни было постыдный полувозврат к этому союзу не имеет более определенного и особенного смысла и значения, но сделался как бы credo всех этих подлостей и посредственностей, как бы лозунгом и условным знаком всего антинационального по эгоизму или происхождению...

И вот эти-то люди являются вашими естественными врагами... Они не простят вам разрушения системы, которая представляла как бы родственные узы для всех этих умов, как бы политическое обиталище всех этих убеждений. Это — эмигранты, которые хотели бы вернуться к себе на родину, а вы им препятствуете... Я знаю, князь, что до сих пор вы пользовались сочувственной поддержкой государя, и надо надеяться, что она не изменит вам и впредь... Это имеет огромное значение... но все-таки этого недостаточно... Перед лицом создавшегося положения и ввиду того, во что оно может превратиться, сам государь по вопросам внешней политики не менее вас нуждается в более твердой точке опоры, в национальном сознании, в достаточно просвещенном национальном мнении, а тут, как нарочно, неумелость или взаимные предубеждения позволили накопиться недоразумениям между печатью и правительством... Все это, я знаю, было сказано и пересказано сотню раз; в силу беспрестанных повторений сделалось нелепой, тошнотворной пошлостью, и тем не менее в данных условиях эти общие места, более чем когда-либо, приобретают острую злободневность...

Одним словом, князь, для вас, так же, как и для самого государя, нет против среды, осаждающей и более или менее угнетающей вас обоих, нет, говорю я, другой точки опоры, другого средства противодействия, как во мнении извне, в великом мнении — в выражении общественного сознания... Но для этого нужно разрешить ему высказаться и даже вызывать его на это...

Система, которую представляете вы, всегда будет иметь врагами тех, кто является врагами печати. Как же печати не стать вашей союзницей?..

Я еду, князь, на три или на четыре дня в Москву. Я увижу кое-кого из этих господ... Что хотите, чтобы я им передал?

Ф. Тютчев

34

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Москва. Понедельник. 27 апреля 1859.

Ну, моя милая кисанька, получила ли ты мою телеграфическую депешу, вызванную моим желудочным заболеванием? Пока что мне кажется, будто прошел целый век с тех пор, как я тебя покинул, и если бы это зависело только от меня, я тотчас, не откладывая на завтра, уехал бы к тебе — до того меня подгоняет уверенность в несомненности шестого числа будущего месяца и неуверенность в моем собственном отъезде. Льщу себя надеждой, что письмо, которое я рассчитываю наверняка получить сегодня же, — *сегодня же получить*, прольет какой-нибудь свет на этот последний вопрос. Полагаясь на письма Дарьи, которые, думаю, достаточно подробно изложили наше предыдущее времяпрепровождение, я расскажу тебе только о состоявшемся третьего дня у Сушковых полурауте из лиц частью мне знакомых, частью неизвестных и завершившемся ужином, а также и о вчерашнем публичном заседании некоего литературного общества, только что воскресшего после более чем тридцатилетнего перерыва, — общества, к которому, помнится, я, увы, когда-то принадлежал в качестве члена-сотрудника. На этот раз я совершил невероятный подвиг, так как был *вполне* готов к часу дня, дабы присутствовать на этом заседании с многочисленной публикой (даже дамами), но, должен признаться, более многочисленной, чем нарядной. Мне пришлось занять место действительного члена за длинным столом, покрытым красным сукном, где я и восседал, подобно другим, в кротком величии, под благожелательными взглядами общего любопытства. Председатель *Хомяков* на сей раз был во фраке и, скорчившись на своем кресле, представлял самую забавную из когда-либо виденных мною фигур председателей. Он открыл заседание чтением весьма остроумной речи, написанной прекрасным языком, на вечную тему о значении Москвы и Петербурга. Затем читали письмо приятеля моего Павлова, все трепещущее злободневностью и которому очень рукоплескали, затем стихи об Италии и т. д. Я сидел между *Шевыревым* и *Погодиным*. Все вместе взятое носило отпечаток безмятежной торжественности, слегка умерявшейся чуть приметным оттенком

смешного. Женская половина слушателей в целом показалась мне некрасивой, но преисполненной сочувствия и интереса к заседанию, на коем она присутствовала. Положительно Москва архилитературный город, где все эти писатели и читатели принимаются, как нечто весьма серьезное, и где, само собой разумеется, господствует и управляет кружок, — я имею в виду литературный кружок, самый невыносимый из всех. Я был бы не в состоянии жить здесь, в этой среде, столь мнящей о себе и чуждой всем отголоскам извне. Так, например, я не уверен, чтобы ребяческий интерес к вчерашнему заседанию не преобладал в мыслях здешней публики над интересом к грозным событиям, готовящимся за рубежом. Сегодня я обедаю с Сушковым у друга моего Павлова, где будет редактор «Русского вестника». Вчера, на заседании, я видел Ал. *Карамзина*, который очень настаивал на том, чтобы я навестил его жену, живущую, увы, в Замоскворечье. У меня набралась тысяча подобных поездок, которые я, быть может, и попытался бы осуществить, если бы не невероятное нагромождение на улицах булыжников и камней, которые положительно мешают движению. Я ничего не сказал тебе из того, что хотел сказать, но я жду твоего письма. От души целую мою дорогую Марй. А тебя, моя милая кисанька?

35

Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

<Петербург. Конец ноября 1859.>

Спасибо, моя милая дочь, за твое сердечное внимание. Как было бы мне приятно, моя добрая и дорогая Китти, поблагодарить тебя за более удовлетворительные вести о твоем здоровье! Ах, твое злосчастное здоровье составляет не меньшую из моих забот, и я предупреждаю тебя, что решительно не согласен разделять чересчур героическую покорность, с которой ты принимаешь свое теперешнее состояние, как нечто окончательное. Нет, конечно, так не должно быть и нельзя в твоем возрасте считать себя обязанной уступать поле битвы болезни.

Ах, моя милая дочь, конечно, много добрых фей явилось одарить тебя при твоем рождении, но вслед за ними

какая-то старая колдунья — все та же — постаралась испортить их лучшие дары. Эта злая фея была, повидимому, старой девой!

В настоящую минуту мы здесь прямо закружились в балах. Мы танцуем, хотя и не на вулкане, но очень похоже, что на болоте, которое может в конце концов поглотить нас. Будущее, конечно, не радужно и не успокоительно, в какую сторону ни посмотри. — А когда мы увидим нашу милую Дарью? Тысячу дружеских приветствий дяде и тетке и тысячу нежностей тебе.

36

А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

С.-Петербург. Вторник. 10 октября 1861.

Моя милая дочь, спасибо, что не отчаялась во мне и продолжала со мной беседовать, невзирая на мое молчание. Что до меня, то не могу сказать, с каким умилением я читал твои ⟨письма⟩, которые приходили сюда, — внешне все проникнутые светом и довольством, а в сущности такие грустные и безотрадные... Ах, моя бедная Анна, я, значит, не ошибся, я был прав, когда верил, что в твоей душе заложены могучие источники счастья, так и рвущиеся наружу, и что только среда, в которую ты была поставлена судьбой, мешала до сих пор их развитию... И точно так же, как ты нашла в себе способность наслаждаться очарованием дивного неба и прекрасной природы, ты сумела бы и... но мне тяжело останавливаться на этом и праздно, как эхо, откликаться на те меланхолические думы, которым ты часто имела повод предаваться, размышляя о страшной загадке, в силу коей столько способностей и энергии, вложенных в нас, обречены судьбой никогда не выйти наружу и не быть употребленными в интересах нашего собственного и чужого счастья... И все-таки, дочь моя, хотя я сам, конечно, жалкое создание, отнюдь не героическое, но никто выше меня не оценит нравственной заслуги человека, который за отсутствием счастья умеет, когда нужно, заменить его *долгом*... И вот почему, прибавлю я, моя дочь — не *немая*, как та, в комедии. Однако это не мешает мне глубоко сочувствовать сердечному горю, какое ты испытаешь, очнувшись от золотых сновидений, которые охватили тебя всю, стали для

тебя подлинной, драгоценной и спасительной действительностью, но которые все более и более будут бледнеть и рассеиваться с первых же минут твоего пробуждения... Кое-что в твоих письмах, как ты сама понимаешь, я прочел не без некоторого удовлетворения, похожего на чувство удовлетворенного... авторского самолюбия... Я узнал свою кровь в том предчувствии, какое вызвал в тебе юг России; соприкоснувшись с ним, ты поняла, что там — арена предопределенной ей великой будущности, что эта будущность, отвратить которую не смогут все наши усилия, возможна только там... и что, под страхом самых жестоких кар, надо будет решительно и возможно скорей оторваться от унижений настоящей минуты, чтобы двинуться навстречу нашим грядущим судьбам. Засим, доброй ночи.

37

М. И. ЖИХАРЕВУ

С.-Петербург. 30 ноября 1863.

Милостивый государь,
от души благодарю вас за драгоценный подарок. Не без умиления узнал я в присланной вами фотографии знакомую, памятную местность — этот скромный ветхий домик, о котором незабвенный жилец его любил повторять кем-то сказанное слово, что весь он только одним духом держится.

И этим-то его духом запечатлены и долго держаться будут в памяти друзей все воспоминания, относящиеся к замечательной, благородной личности одного из лучших умов нашего времени. Еще раз благодарю вас усердно.

С истинным уважением пребываю
вашим покорным слугою.
Ф. Тютчев

38

А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

С.-Петерб<ург>. 8 августа <1864>.

Александр Иваныч!
Все кончено — вчера мы ее хоронили...
Что это такое? Что случилось? О чем это я вам пишу —

не знаю... Во мне все убито: мысль, чувство, память, все... Я чувствую себя совершенным идиотом.

Пустота, страшная пустота. И даже в смерти не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то...

Сердце пусто — мозг изнеможен. Даже вспомнить о ней — вызвать ее, живую, в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу.

Страшно, невыносимо. Писать более не в силах, да и что писать?..

Ф. Тчв.

39

А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

С.-Пет<ербург>. Четверг. 13 августа <1864>.

О, приезжайте, приезжайте, ради бога, и чем скорее, тем лучше! Благодарю, от души благодарю вас!

Авось либо удастся вам, хоть на несколько минут, приподнять это страшное бремя, этот жгучий камень, который давит и душит меня... Самое невыносимое в моем теперешнем положении есть то, что я с всевозможным напряжением мысли, неотступно, неослабно, все думаю и думаю о ней, и все-таки не могу уловить ее... Простое сумасшествие было бы отраднее...

Но... писать об этом все-таки не могу, не хочу, — как высказать эдакий ужас!

Но приезжайте, друг мой, Александр Иваныч! Сделайте это доброе христианское дело. Жду вас к воскресенью. Вы, разумеется, будете жить у меня. Привозите с собою ее последние письма к вам...

Обнимаю милую, родную Марью Александровну и детей ваших.

Страшно, невыносимо тяжело.

Весь ваш Ф. Тютчев

40

Я. П. ПОЛОНСКОМУ

<Петербург.> Суббота. 15 августа <1864>.

Что с вами, друг мой Яков Петрович, что ваше здоровье?— О, как мне больно, и за вас и за себя, что вы нездоровы.

Мне с каждым днем хуже. Надо ехать, бежать — и не могу решиться. — Воля убита, все убито.

Знаете ли, что мне пришло в голову в моем тупом отчаянии? — Что, если бы вы мне дали увезти себя за границу — хоть на несколько недель? Отпуск получить не трудно, а вы бы спасли меня — в буквальном смысле спасли? — Подумайте и отвечайте. Еще почти неделя до моего отъезда.

Вам от души пред⟨анный⟩

Ф. Тютчев

41

Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Женева. 8/20 сентября 1864.

Благодарю, моя милая дочь, — я получил почти одновременно оба твои письма от начала этого месяца, а также и то, в котором ты писала обо мне госпоже Петровой... Дочь моя... я хотел бы написать тебе слезами, а не чернилами. В твоих словах, в их интонации я ощутил нечто столь нежное, столь искренно, столь глубоко прочувствованное, что—знаешь ли — мне почудилось, будто я слышу отзвук другого голоса... никогда в течение четырнадцати лет не говорившего со мной без душевного волнения, того голоса, что и посейчас еще звучит в моих ушах и которого я никогда, никогда более не услышу... Спасибо, дочь моя, спасибо, что так со мной говорила... Глубоко растрогало меня в твоих словах и соответствие наших мыслей... Ибо в ту минуту, как ты писала мне, что с нетерпением ожидаешь, когда-то я скажу тебе, что *ты мне можешь быть на что-нибудь полезна*, — я говорил сам себе, я даже сказал это Анне, что если б что и могло меня подбодрить, создать мне по крайней мере видимость жизни, так это сберечь себя для тебя, посвятить себя тебе, мое бедное, милое дитя, — тебе, столь любящей и столь одинокой, внешне столь мало рассудительной и столь глубоко искренней, — тебе, кому я, быть может, передал по наследству это ужасное свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду любви, которая у тебя, мое бедное дитя, осталась неутоленной. Ах, да, если бы я мог, за неимением лучшего и в ожидании лучшего, быть чем-нибудь в твоей жизни, создать тебе по крайней мере некое обманчивое подобие жизни в пустоте и тщете твоего существования,

так вот, может статься, — это и меня вывело бы из того безнадежного оцепенения, в коем я нахожусь и которое лишает меня даже способности подыскать слова для его выражения. Одним словом, я желал бы, дочь моя, чтобы эти оставшиеся во мне осколки жизни души и сердца, ни к чему более не пригодные, были пригодны тебе. Избави меня боже быть неблагодарным, но никто не может себе представить моего состояния — оцепенение оно или мука, но оно всегда отчаяние...

Говеть я буду на будущей неделе и именно здесь, а не в другом месте; до сих пор я чувствовал, что моя душа — как бы тебе сказать — слишком неустойчива, дабы приступить к этому таинству, — помолись обо мне...

Скажи Китти, что я обнимаю ее от всего сердца и благодарю. Я знаю, я понимаю, сколько горячего чувства таится за ее рассудительностью, и как подчас нелегко дается ей эта рассудительность... Да сохранит вас обеих господь, и да воздаст он вам за вашу любовь к вашему бедному отцу.

42

Я. П. ПОЛОНСКОМУ

Ницца. 8/20 декабря 1864.

Друг мой, Яков Петрович! Вы просили меня в вашем последнем письме, чтобы я написал вам, когда мне будет легче, и вот почему я не писал к вам до сегодня. Зачем я пишу к вам теперь, не знаю, потому что на душе все то же, а что это — то же — для этого нет слов. Человеку дан был крик для страдания, но есть страдания, которых и крик вполне не выражает...

С той минуты, как я прошлым летом встретил вас в Летнем саду и в первый раз высказался перед вами о том, что мне претило, — и до сей минуты, если бы год тому назад все мною пережитое и перечувствованное приснилось бы мне с некоторой живостью, то — мне кажется — я, не просыпаясь, тут же бы на месте и умер от испуга. — Не было, может быть, человеческой организации, лучше устроенной, чем моя, для полнейшего восприятия известного рода ощущений. — Еще при ее жизни, когда мне случалось при ней, на глазах у нее, живо вспомнить о чем-нибудь из нашего прошедшего, нашего общего прошедшего, — я помню,

какою страшною тоскою отравлялась тогда вся душа моя — и я тогда же, помнится, говорил ей: «Боже мой, ведь может же случиться, что все эти воспоминания — все это, что и теперь уже так страшно, придется одному из нас повторять одинокому, переживши другого», но эта мысль пронизывала душу — и тотчас же исчезала. А теперь?

Друг мой, теперь все испробовано — ничто не помогло, ничто не утешило, — не живется — не живется — не живется...

Одна только потребность еще чувствуется. Поскорее торопиться к вам, туда, где что-нибудь от нее осталось, дети ее, друзья, весь ее бедный домашний быт, где было столько любви и столько горя, но все это так живо, так полно ею, — так что за этот бы день, прожитый с нею тогдашнею моею жизнью, я охотно бы купил, но ценою — ценою чего?.. Этой пытки, ежеминутной пытки — этого удела — чем стала теперь для меня жизнь... О друг мой Яков Петрович, тяжело, страшно тяжело. Я знаю, часть этого вы на себе самом испытали, часть, но не все, — вы были молоды, вы не четырнадцать лет...

Еще раз меня тянет в Петербург, хотя и знаю и предчувствую, что и там... но не будет по крайней мере того страшного раздвоения в душе, какое здесь... Здесь даже некуда и приютить своего горя.

Мне бы почти хотелось, чтобы меня *вытребовали* в Петерб〈ург〉 именем нашего комитета, к чему, кажется, есть и причины — вследствие нездоровья г. Комар〈овского〉 — что он, бедный? Очень, очень отрадно будет мне с вами увидеться, милый мой Яков Петрович. Скажите то же от меня и Майкову. — Обоих вас от души благодарю за вашу дружбу, и много, много дорожу ею... Господь с вами. — Простите и до близкого свидания.

Ф. Тютчев

43

А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Ницца. 13/25 декабря 〈*1864*〉.

Друг мой Александр Иваныч, вы знаете, как я всегда гнушался этими мнимопоэтическими профанациями внутр〈еннего〉 чувства, этою постыдною выставкою напоказ своих язв сердечных... Боже мой, боже мой, да что общего



А. Ф. ТЮТЧЕВА (АКСАКОВА)

Фотография Г. Деньера 1865 г.

между стихами, прозой, литературой, целым внешним миром и тем... страшным, невыразимо невыносимым, что у меня в эту самую минуту в душе происходит, — этою жизнию, которою вот уже пятый месяц я живу и о которой я столько же мало имел понятия, как о нашем загробном существовании. И она-то — вспомните же, вспомните о ней — она — жизнь моя, с кем так хорошо было жить, так легко и так отрадно, она же обрекла теперь меня на эти невыносимые адские муки.

Но дело не в том.

Вы знаете, она, при всей своей поэтической натуре, или, лучше сказать, благодаря ей, в грош не ставила стихов, даже и моих — ей только те из них нравились, где выражалась моя любовь к ней — выражалась гласно и во всеуслышание. Вот чем она дорожила: чтобы целый мир знал, чем она для меня — в этом заключалось ее высшее не то что наслаждение, но душевное требование, жизненное условие души ее...

Я помню, раз как-то в Бадене, гуляя, она заговорила о желании своем, чтобы я серьезно занялся вторичным изданием моих стихов, и так мило, с такою любовью созналась, что так отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя (не имя, которого она не любила, но *она*). И что же — поверите ли вы этому? — вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение, мне как-то показалось, что с ее стороны подобное требование *не совсем великодушно*, что, зная, до какой степени я весь ее («ты мой собственный», как она говорила), ей нечего, незачем было желать и еще других печатных заявлений, которыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности. За этим последовала одна из тех сцен, слишком вам известных, которые все более и более подтачивали ее жизнь и довели нас — ее до Волкова поля, а меня — до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке... О, как она была права в своих самых крайних требованиях, как она верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при моем тупом непонимании того, что составляло жизненное для нее условие! Сколько раз говорила она мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, но что будет поздно. Я слушал и не понимал. Я, вероятно, полагал,

что так как ее любовь была беспредельна, так и жизненные силы ее неистощимы — и так пошло, так подло на все ее вопли и стоны отвечал ей этою глупою фразой: «Ты хочешь невозможного...»

Теперь вы меня поймете, почему не эти бедные, ничтожные вирши, а мое полное имя под ними я посылаю к вам, друг мой Ал⟨ександр⟩ Ив⟨аныч⟩, для помещения хотя бы, напр., в «Русском вестнике».

Весь ваш Ф. Тютчев

44

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Москва. Среда. 12 января 1866.

Итак, свадьба Анны, эта свадьба, предмет столь долгих забот, стала, наконец, совершившимся фактом...

Как все, что представляется нашему уму несоразмерно значительным, будь то ожидание или позже воспоминание, занимает мало места в действительности! — Сегодня утром, в 9 часов, я отправился к Сушковым, где нашел всех уже на ногах и во всеоружии. Анна только что окончила свой туалет, и в волосах у нее уже была веточка флердоранжа, столь медлившего распуститься... Еще раз мне пришлось, как и всем отцам в подобных обстоятельствах — прошедшим, настоящим и будущим держать, в руках образ, стараясь с такой же убежденностью исполнить свою роль, как и в прошлом году. Затем я проводил Анну к моей бедной старой матери, которая удивила и тронула меня остатком жизненной силы, проявившейся в ней в ту минуту, когда она благословляла ее своим знаменитым образом Казанской божией матери. Это была одна из последних вспышек лампады, которая скоро угаснет. Затем мы отправились в церковь: Анна в одной карете с моей сестрой, я — в другой следовал за ними, и остальные за нами, как полагается. Обедня началась тотчас по нашем приезде. В очень хорошенькой домовой церкви было не более двадцати человек. Было просто, прилично, сосредоточенно. Во время свадебной церемонии мысль моя постоянно переносилась от настоящей минуты к прошлогодним воспоминаниям... Когда возложили венцы на головы брачущихся, милейший Аксаков в своем

огромном венце, надвинутом прямо на голову, смутно напомнил мне раскрашенные деревянные фигуры, изображающие императора Карла Великого. Он произнес установленные обрядом слова с большой убежденностью, — и я полагаю, или, вернее, уверен, что беспокойный дух Анны найдет, наконец, свою тихую пристань. По окончании церемонии, после того как иссяк перекрестный огонь поздравлений и объятий, все направились к Аксаковым, я — в карете Антуанетты, и по дороге мы не преминули обменяться меланхолическими думами о бедной *Дарье*.

Обильный и совершенно несвоевременный завтрак ожидал нас в семье Аксаковых, славных и добрейших людей, у которых, благодаря их литературной *известности*, все чувствуют себя, как в своей семье. Это я и сказал старушке, напомнив ей о ее покойном муже, которого очень недоставало на этом торжестве. Затем я попросил позволения уклониться от завтрака, ибо с утра испытывал весьма определенное и весьма неприятное ощущение нездоровья. Иван, только что вернувшийся, уверяет меня, что он с избытком заменил меня на этом завтраке.

Начинает смеркаться, и я вынужден кончить. Я ощущаю те же сумерки во всем моем существе, и все впечатления извне доходят до меня, подобно звукам удаляющейся музыки. Хорошо или плохо, но я чувствую, что достаточно пожил — равно *как чувствую, что в минуту моего ухода ты будешь единственной живой реальностью, с которой мне придется распроститься.*

45

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург. Четверг. 21 июля <*1866*>.

Милая моя кисанька, прежде всего я должен извиниться перед тобой за большую нескромность, но она была, так сказать, невольной, ибо искушение было чересчур сильным. Речь идет о письме твоего брата. Я знал, что это письмо содержит первое впечатление, произведенное на него событиями, которые только что совершились, — самый живой голос событий, и, не имея возможности войти в комнату,

где он говорил, я подслушал у дверей. Вот почему конверт был вскрыт незаконным взмахом перочинного ножа... Ну так вот, поверишь ли, я не раскаиваюсь в совершенной мною нескромности, до того эти несколько замечательных строк ярко освещают все положение и подтверждают мои собственные оценки.

Война только прервана. То, что теперь окончилось, было лишь прелюдией великого побоища, великой борьбы между наполеоновской Францией и немцами, и т. д. и т. д. Ее вызовет южная Германия, вопреки своим презренным династиям непреодолимо тяготеющая к северу. Что бы ни делала Франция, она не сможет примириться с объединением всей Германии. Для нее это вопрос жизни. Ей, может быть, не удастся этому помешать, но она попытается это сделать. И этим она, однако, будет обязана политике Наполеона III, которой столь восхищались за ее ловкость и дальновидность глупцы всего света. Никогда еще не бывало подобной мистификации.

Я только что провел три дня между Ораниенбаумом и Петергофом, ведя политические прения со всеми членами августейшей семьи, которые все разделены между собою своими немецкими симпатиями и антипатиями. Словом, это — Германия в сокращенном виде. Единственное, что совершенно отсутствует, это — русская точка зрения на вопрос. Это навело меня на печальные раздумия. Впрочем, со мной были исключительно ласковы и любезны. Я снова виделся с великой княгиней Марией Николаевной, с которой у меня был длинный разговор на балу, состоявшемся под ее покровительством в Петергофе. Она совершенно на стороне Наполеона и не постигает, каким образом человек, столь ей нравящийся, может не быть лучшим союзником России, в особенности после тех шагов, которые он сделал нам навстречу. Ибо он только что обратился с собственноручным письмом к государю, предлагая ему союз и убеждая его забыть прошлое. Подобное письмо — очень знаменательное признание. Что же касается до моего милейшего приятеля князя, он положительно запутался, — и то же самое можно сказать, увы, о всех этих людях, в которых не находишь ни малейшего понимания, ни малейшего glimpse[1] русской действительности, представите-

[1] Проблеск *(англ.)*.

лями коей они должны бы быть. Это такое полное неведение самых основных начал вопроса, что всякое серьезное рассуждение с ними невозможно... И вот почему я примиряюсь с нашим вынужденным бездействием в данную минуту, ибо их действительное бессилие составляет нашу единственную гарантию против гибельных последствий их недомыслия. Это — люди, которые сели бы не в тот вагон, но, по счастью, опоздали на поезд.

Эту ночь я спал в большой гостиной, так как разрушение уже достигло моей комнаты, где собираются ломать печь, чтобы превратить ее в камин.

Благодарю мою добрую Мари за ее приложение к твоему письму и прошу ее передать дружеские приветствия Бирилеву и нежности малютке. Пусть они оба доставляют ей возможно меньше беспокойств. Вот несколько слов Данилову, который, я полагаю, еще с вами; если же он вас уже покинул, то нужно бы переслать их ему немедленно, чтобы, возвращаясь из имения своего отца, он проехал через Овстуг, дабы привести в порядок порученное ему мною дело, если только он уже этого не выполнил.

Здесь стояла все время холодная и дождливая погода. Болезнь идет на убыль, и о ней больше не говорят. Что касается меня, я, кажется, предпочел бы перенести хороший приступ холеры, чем испытывать это жалкое недомогание, которое не убивает, но отравляет жизнь, капля за каплей...

Двор останется в Петергофе до первых чисел августа, когда государь предполагает совершить путешествие, начав его с Варшавы. Что касается императрицы, то она, я думаю, водворится в Царском.

...Ах, что за болтовня все это и до чего тошнотворно существование в известном возрасте, и как пора было бы с этим покончить!..

Да хранит вас бог.

46

А. Ф. АКСАКОВОЙ

Петербург. 1 февраля. <18> 67.

Моя милая дочь, надеюсь, ты исправно получила письмо, которое я послал тебе в одном конверте с письмом к Китти. Дополняю его.

Твой муж, — зная меня, как он знает, — надеюсь, ничуть не сомневается в том, что, даже если бы я и считал возможным в чем-либо изменить выражение его мысли, то не сделал бы этого. Я слишком дорожу смелой и откровенной честностью его мысли, такой, какова она есть. Впрочем, только дураки не понимают, что если всегда легко, имея в руках власть, принудить человека к молчанию, то совершенно невозможно без конца заставлять его говорить не своим, а чужим голосом. Я хотел бы лишь, чтобы вы имели ясное и точное представление о настоящем положении вещей.

Еще раз, Валуев более склонен быть *приятелем* «Москвы», чем ее противником или преследователем... Вообще говоря, — хотя в этом и тяжело признаться, — среди нынешних людей, стоящих у власти, бедный, столь очерненный Валуев еще обладает побуждениями, наименее противными рассудку, и некоторой долей понимания. Несчастье его в том, что он поставлен в невозможное положение, гораздо более невозможное именно для него, чем для всякого другого, принимая во внимание его дряблый и неустойчивый характер. Он уверен, правда, что, уступая, он спасает принцип, но все это чистейшая иллюзия. Тем не менее, конечно, можно держать сто против одного, что тот, кто при настоящих условиях заменит Валуева, заставит живо сожалеть о нем, а этот преемник уже больше не гипотеза; весьма возможно, что им будет, — по крайней мере временно, — человек, только что назначенный его товарищем, и это не кто другой, как *Левашов*, — самый прискорбный выбор, какой только мог быть сделан, и сделан он, вероятно, лишь ввиду будущего отсутствия Валуева, который собирается в конце августа отправиться за границу, как он мне сам сказал вчера. — Итак, возвращаясь к его личным чувствам по отношению к «Москве», вот в каком положении дело: ему опять пришлось ломать копья с Шуваловым, на этот раз по поводу статьи от 28 января, каковая статья, по заявлению самого Валуева, обладает лишь одним недостатком — *она слишком справедлива*, это — *трюизм*, как он выразился. И вот эта-то чрезмерная очевидность и колет им глаза. Известные интонации голоса действуют им на нервы, точно так же, как в музыке известные сочетания звуков заставляют выть собак. Впрочем, положение печати становится совершенно невыносимым вследствие того, что

в конце концов все зависит от неизбежно случайного и произвольного впечатления одного человека, обуреваемого всякого рода влияниями, и, как бы мимолетно ни было это впечатление, оно становится законом... И зачастую, как говорил мне Валуев, достаточно бывает одной черты красного карандаша, поставленной наобум под тем или иным местом статьи (которая никогда не будет прочитана целиком), чтобы определить это впечатление. А ведь подобный произвол нигде не оказывает такого большого влияния, как в области умственных предметов, не обладающих — увы! — в своем внешнем проявлении органической сопротивляемостью предметов чисто материальных. И вот почему я сказал бы вам, — если бы так думал, — что в интересах «Москвы» желательно, чтобы газета, по крайней мере на первое время, твердо усвоила некоторую сдержанность по отношению к личному составу правительства. Но все увещания в этом смысле столь же отвратительны, как смешны, и не ведут ни к чему.

Вчера, наконец, г. Юркевич, собственный корреспондент его величества, имел удовлетворение видеть свою газету запрещенной, а самого себя — преданным суду. Говорят, что к этому-то он и стремился, в надежде, что прекращение его газеты даст ему право преспокойно положить в карман деньги своих подписчиков. Что касается меня, то я продолжаю считать его просто-напросто *юродивым*, а не жуликом. Несомненно, что до последнего времени он пользовался поддержкой в высших сферах и что в ответ на сделанные о нем представления государь отвечал многим: «За что вы все на него нападаете?»[1]

47

Е. Э. ТРУБЕЦКОЙ

<Петербург.> Среда. 3 мая <1867>.

Благодарю вас, дорогая княгиня, за ваши добрые слова, столь теплые и проникновенные, — и пусть небо навсегда оградит вас от горестей, которые вы так хорошо понимаете у других и которым так хорошо умеете сочувствовать.

---

[1] Слово «юродивый» и фраза в кавычках — в автографе написаны по-русски.

Бедная моя дочь поручает мне выразить вам, насколько она была тронута свидетельствами вашего участия.

Я все еще осужден на затворничество, и подтверждением упорства моей болезни является то, что, вопреки живейшему желанию явиться к вам на поклон, мне до сих пор не удалось восторжествовать над нею...

Между тем все как будто устраивается наилучшим образом. Остается только раскрыть объятия — и дипломатия, весьма гордая своей изворотливостью, невинно воображает себе, что лишенная принципов и вооруженная до зубов Европа желает лишь укрепиться в состоянии окончательного мира.

Но, конечно, это *мы* идем навстречу самому суровому уроку, самому убийственному разочарованию, и, поистине, это будет нам поделом. Несмотря на полвека опыта, не хотят понять, что как бы ни старалось правительство, какие бы чувства, хоть самые добродетельные, самые великодушные и самые бескорыстные оно ни испытывало, но если оно перестает быть представителем и воплощением национальных интересов страны, если оно осуществляет лишь политику личного тщеславия, — то оно никогда не заслужит за рубежом ни благодарности, ни даже уважения... Им будут пользоваться в своих выгодах, и над ним по праву будут смеяться.

Самые ожесточенные враги политики г-на Бисмарка не откажут ему в уважении, ибо видят в нем самого энергичного, самого убежденного представителя национальной идеи, тогда как наше преувеличенное миролюбие доставит нам в конце концов только свистки и шиканье. Высмеют — и вполне заслуженно — труд, который мы берем на себя, чтобы привести к согласию державы, слишком естественно расположенные к тому, чтобы быть в согласии всякий раз, когда дело идет об оспаривании и отвоевании у России ее исторического права, или даже об отрицании права *человеческого*, права на существование этих несчастных народностей, которые в глазах Запада непростительно повинны в том, что тяготеют к нам. Таково заслуженное проклятие, гнетом лежащее над страной, где высшие классы, та среда, которой живет и питается правительство, давно уже перестали принадлежать ей из-за своего жалкого воспитания.

Тысяча самых искренних и почтительных приветствий.

Тютчев

48
А. Ф. АКСАКОВОЙ

Петербург. Вторник. 15 августа 1867.

Я попрежнему настораживаю ухо и обращаю к тебе все тот же тревожный вопрос: ma fille Anna, ne vois tu rien venir?[1] Впрочем, так как ты, возможно, еще на ногах и lesefähig[2], то эти несколько строк я адресую тебе.

Тешу себя надеждой, что мое поспешное возвращение в Петербург не осталось бесполезным для ваших интересов и что благодаря ему удалось отвратить угрозу второго предостережения, нависшую над «Москвой». Но в особенности мне хочется, чтобы вы верно и живо представили себе положение, как оно есть, а это, конечно, не легко, ибо оно со всех сторон нелепо. Так, например, милейший Похвиснев и теперешний управляющий министерством князь Лобанов, при моих переговорах с ними по возвращении, не без некоторой грусти жаловались мне на заботу, причиняемую им стремительностью агрессивных выпадов «Москвы», которые, по их мнению, таковы, что им придется снять с себя ответственность за последствия. Особенно взбудоражила их, как этого и можно было ожидать, одна из последних статей по поводу дополнительного указа о печати. И на этот раз тоже речь идет не о существе вопроса, но о форме, и только форме. Они охотно допустили бы какую угодно критику по поводу принятой меры, лишь бы она была предъявлена в менее колючем виде, менее резко и с некоторым оттенком банальной и официальной почтительности по отношению к власти, которую они считают себя обязанными поддерживать во что бы то ни стало, хоть и стонут под бременем этой обязанности. Но *ливрея* обязывает, так же как и благородное происхождение, и они твердо убеждены, что соблюдением этого этикета укрепляется безопасность правительства... Я, разумеется, ухватился за случай высказать им весьма горькие истины по поводу гораздо более серьезного вреда, который чинят престижу правительства неописуемые стеснения в управлении печатью, полное отсутствие разумности и честности в решениях высших

---

[1] Моя дочь Анна, не видишь ли ты приближение чего-либо? *(франц.)*

[2] Способна читать *(нем.)*.

инстанций, рабская или корыстная снисходительность к одним и грубая строгость к другим. Для подкрепления этих утверждений у меня не было недостатка в примерах и фактах: Катков — с одной стороны, с другой — «Весть», пресловутая статья в «Биржевых ведомостях» и т. д., и т. д., и т. д. Мне не противоречили, даже признали нелепость существующего режима по делам печати. Но тем не менее *служба обязывает*, и с этого их не сбить... Итак, было бы бесполезно стараться внести сколько-нибудь разумности в такой режим; среди всей этой глупости можно двигаться лишь ощупью, — так, например, всякий раз, как зайдет речь о каком-нибудь правительственном акте, особенно о новом, следует тщательно воздерживаться от сарказма, — от сарказма в особенности — они его не выносят, — и доказывать им, что они дураки, почтительно прося прощения за столь великую вольность. Прежде всего следует придерживаться известной формы и, может быть, этой ценой удастся *спасти самую суть,* что важнее всего. Тысячу нежностей твоему мужу.

49

М. Ф. БИРИЛЕВОЙ

<Петербург. Вторая половина августа 1867.>

Обращаюсь теперь к тебе, моя милая Мари̇, чтобы поблагодарить тебя за письмо, несколько успокоившее и очень заинтересовавшее меня. Что касается моих опасений, которые могли бы быть устранены лишь личным присутствием, отсылаю тебя к тому, что я только что написал мамà, умоляя тебя *никогда ничего не скрывать* от меня под предлогом оберегания моих нервов, не стоящих того, чтобы о них заботились, да к тому же ничто не могло бы лучше успокоить и наладить их, как полная уверенность в том, что я точно осведомлен...

Что касается подробностей, которые ты сообщаешь мне относительно того, что происходит у тебя на глазах, то твое свидетельство представляет для меня такую цену, что я хочу сообщить эту часть твоего письма Аксакову для его личного сведения.

Увы! ничто не позволяет думать, чтобы факты, отмечаемые тобою в Брянском уезде, являлись исключением. *Разложение* повсюду. Мы двигаемся к пропасти не от из-

лишней пылкости, а просто по нерадению. В правительственных сферах бессознательность и отсутствие совести достигли таких размеров, что этого нельзя постичь, не убедившись воочию. По словам людей наиболее осведомленных, благодаря нелепым переговорам о последнем займе, постыдным образом потерпевшим неудачу, банкротство возможно более чем когда-либо и станет неминуемым в тот день, когда мы будем призваны подать признак жизни. И тем не менее, даже в виду подобного положения вещей, произвол, как и прежде, дает себе полную волю. Вчера я узнал от Мельникова подробность, поистине ошеломляющую. Во время последнего путешествия императрицы ей предстояло проехать на лошадях триста пятьдесят верст между двумя железными дорогами, причем на каждый перегон требовалось двести лошадей, которых пришлось пригнать за несколько сот верст и содержать в течение недель в местности, лишенной всего и куда надо все доставлять. Ну так вот, знаешь ли, во что обошлось государству это расстояние в триста пятьдесят верст? В сущую безделицу: *полмиллиона* рублей! Это баснословно, и, конечно, я никогда не счел бы это возможным, если бы цифра не была засвидетельствована мне таким человеком, как *Мельников*, который узнал об этом от одесского генерал-губернатора.

Вот когда можно сказать вместе с Гамлетом: *что-то прогнило в королевстве датском.*

Теперь вот что происходит в области внешней политики. Фуад-паша приезжал в Ливадию и отбыл оттуда с лентой святого Александра. Что же случилось? Согласилась ли Турция на наши предложения, подписала ли наш меморандум? Ничуть не бывало. Я читал депешу Игнатьева, который дает отчет канцлеру в том, что произошло. Хоть сквозь землю провались при виде подобной глупости и несостоятельности... Одни фразы, одни неясные обещания; ни одного обязательства, имеющего хоть сколько-нибудь серьезное значение. Бедный Горчаков протестует против ленты святого Александра, и на сей раз снова его мнение не принимается во внимание. С ним не считаются, не находя нужным предугадывать моральное впечатление, какое неминуемо произведет подобная *несообразность* не только на общественное мнение России, но и всего христианского Востока, а также и всех остальных стран.

Тысячу дружеских приветствий твоему милейшему мужу.

50

Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург. 15/27 сентября <18>67.

Милая моя дочь, я сознаю себя самым недостойным из отцов и самым преступным из корреспондентов. Вот уже столько недель, как я получил твое письмо из Биаррица, все пропитанное дыханием океана, и до сих пор еще не поблагодарил тебя за него, а между тем письмо это дало мне возможность остро ощутить живительное дуновение, веющее с моря, и часто я ловлю себя на том, что мысленно сажусь рядом с тобой на балконе, с высоты которого открывается бесконечное пространство... Ах, этот балкон, повисший над Атлантикой, должен дать тебе обязательно почувствовать всю обширность расстояния, отделяющего тебя от *Старого Пимена*, этой средиземнейшей из колоколен... И как трудно бывает человеку, мне по крайней мере, освободиться от гнета совершенно непривычных впечатлений и сохранить сознание собственной личности. Этот переход нетруден лишь при избытке молодости, когда внутренняя жизнь так громко поет в человеке, что заглушает все внешние звуки... Но я полагаю, моя милая дочь, что когда от волн океана ты переносишь свой взгляд на маленький человеческий муравейник, кишащий в Биаррице, то, как и повсюду, тебя вновь охватывают впечатления, которые вполне естественно связаны с твоей обычной жизнью. Ибо, конечно, одного вида пребывающих там русских, с их акцентом и своеобразными оборотами речи, достаточно, чтобы вернуть тебе живейшее ощущение отсутствующего отечества. За исключением этих элементов, Биарриц должен быть в настоящую минуту очень интересен, благодаря присутствию императорского сфинкса, который, правда, уже не представляется прежним неразгаданным сфинксом. Его присутствие, должно быть, привлекло в Биарриц именитых дипломатов, которые тут, как и повсюду, волнуются и стараются давать направление мировой политике, а она более чем когда-либо катится сама по себе, унося все и давя все на своем пути.

Я живу здесь в ежедневном ожидании родов Анны. Можно ли представить себе подобную ошибку в расчете, и как мы были далеки от действительности, когда шесть недель тому

назад, в Москве, ожидали с минуты на минуту ее разрешения. Но все это ненормальное течение запоздалой беременности является весьма тревожным. Вчера я имел известия об Аксаковых через князя Черкасского, только что прибывшего из Москвы и направляющегося за границу. Он мне сказал, что Анна стала огромна. Вот эпитет, который кажется мало подходящим для нее... На днях я имел письмо от Дарьи из Швальбаха, — она, видимо, довольна и весела. Что же касается известий из Овстуга, то они лишь наполовину успокоительны в смысле здоровья мама̀ и весьма мало утешительны во всех прочих отношениях. Впрочем, я имею основание опасаться, как бы влияние Мари́ не склонило ее мать решиться провести всю зиму в деревне, что было бы весьма прискорбно.

Здесь все как-то пусто и смутно в ожидании возвращения государя, и люди встречаются лишь на улицах или вечером в театре. — Но я дошел уже до конца моей бумаги. Итак, прощай, дочь моя, да хранит вас бог. Тысячу дружеских приветствий твоей милой тетке.

51

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург. 8 октября <1867>.

В ту минуту, когда я пишу это, светит самое лучезарное солнце. Небо мглисто-голубое, прелестное. Это как бы летний день, затерявшийся в октябре. Мне хочется думать, что тот же самый свет заливает в настоящую минуту Овстуг, золотя увядшие листья на деревьях и блестящую грязь тропинок.

Ничто так кротко и утешительно не соединяет живых, как свет. Древние хорошо это понимали; недаром они всегда говорят о свете с умилением.

Вчера я не получил от вас писем, хотя последнее время они всегда приходят по воскресеньям.

Намедни мы с Димой устроили вечер. Это был политико-литературный вечер. Давно уже я обещал его устроить господам из Управления по делам печати и комитетов. Чай, мороженое и пунш служили угощением на этом празднестве, которое из моей спальни перенеслось в большую

гостиную. Разошлись в час ночи. Щука отнесся ко всему этому вполне серьезно. Издержки составили *семь* рублей.

В будущую среду, 11-го числа этого месяца, состоится свадьба короля эллинов. Вот король, которого не слишком донимают заботы трона. Как жаль, что это не может продолжаться до бесконечности! Но кто должен чувствовать себя менее приятно в настоящую минуту — это император Наполеон, поставленный в безвыходное положение рядом ошибок. И вот теперь ему предстоит либо допустить падение папы, либо самому разрушить созданную им Италию. Словом, это — уже не только человек, это — целый мир, доведенный до абсурда. То, что происходит в настоящий момент, имеет огромное значение, но, находясь у самого подножия пирамиды, мы не можем отдать себе отчета в ее высоте.

Но что представляет гораздо меньшее значение и легче поддается оценке, это — любовная интрига бедного канцлера, все еще ожидающая своего завершения. Будущая канцлерша еще не вполне решилась стать таковой и для принятия окончательного решения ожидает в недалеком будущем приезда некоего герцога. Никогда еще не совершалось большей глупости с меньшим увлечением. Что касается согласия мужа, то в этом почти уверены. Он довольно покладист. Он хотел бы только обеспечить себе средства, чтобы провести несколько лет за границей, и для того предлагает своему преемнику купить его имущество за сто двадцать тысяч рублей. Вот в чем в настоящую минуту заключается затруднение. Все это издали кажется довольно-таки некрасивым, но при близком общении впечатление притупляется и сглаживается...

Вчера имел известие об Анне, чей status quo[1] продолжает сохраняться и становится затяжным. Но и этому придет конец. Что касается ее сестер, за последнее время я имел о них лишь косвенные сведения.

Намедни, на моем вечере, в гостиной, как бы внезапно разбуженный присутствием и голосами всех этих господ, я словно увидел видение. Я видел вас троих, заканчивающих одновременно три пасьянса, но проявляющих к этому занятию весьма различную степень интереса...

Да хранит вас бог.

Ф. Т.

---

[1] Существующее положение (*лат.*).

52

А. Ф. АКСАКОВОЙ

Петербург. 3 декабря <*1867*>.

Моя милая дочь, если что-либо могло увеличить мое нежное уважение к твоему мужу, так это, без сомнения, тот акт гражданского мужества, который он только что совершил, и, судя по впечатлению, произведенному здесь его статьей, все русское общество разделяет это чувство. Я советовал ему другое, но очень охотно признаю, что он поступил лучше, последовав своему собственному побуждению... Практический результат сего в божьей воле. Но факт столь добросовестно-энергического протеста... нравственной силы против того... что не является ею — никогда не пропадет. Еще раз, здесь впечатление было общее и весьма серьезное.

Отныне всем будет ясно, что те условия, какие предъявляются печати в России, таковы, что подобных им нет нигде. Разум целой страны по какому-то недоразумению подчинен не произвольному контролю правительства, а безаппеляционной диктатуре мнения *чисто личного*, мнения, которое не только в резком и систематическом противоречии со всеми чувствами и убеждениями страны, но, сверх того, и в прямом противоречии с самим правительством по всем существенным вопросам дня; и именно в силу той поддержки, какую печать оказывает идеям и проектам правительства, она будет особенно подвержена гонениям этого личного мнения, облеченного диктатурой. Подобной аномалии не бывало никогда и нигде, и невероятно, чтобы не искали способа ее устранить. Однако уже несколько дней, как в известном кругу усиленно поговаривают о том, чтобы принять положение, выдвинутое прежде, то есть чтобы третье предостережение зависело от разрешения Комитета министров. Это немного, я знаю, но все-таки кое-что. Нам-то с тобой хорошо известно, что зло не в этом, что оно коренится глубже. Есть *привычки* ума, под влиянием коих печать сама по себе уж является *злом*, и, хоть бы она и служила власти, как это *делается у нас* — с рвением и убеждением, — но в глазах этой власти всегда найдется нечто лучшее, чем все услуги, какие она ей может оказать: это — чтобы печати не было вовсе. Содрогаешься при мысли о

жестоких испытаниях, как внешних, так и внутренних, через которые должна пройти бедная Россия, прежде чем покончит с такой прискорбной точкой зрения... Пока же, моя добрая Анна, я с мучительным беспокойством жажду знать, как отразилась на твоем здоровье эта мучительная развязка, которую ты всегда предвидела и считала неизбежной, и какие материальные последствия она будет иметь для вас.

С нетерпением жду известий от вас. Жму руку Ивану Сергеевичу. Я счастлив и горд, что такой человек, как он, является твоим мужем. Да хранит вас бог.

53

Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург. Вторник, 26 марта 1868.

Милая моя дочь. Повидимому, мне суждено было испытать на себе истину изречения, что человека предает домашний его, — и вот на такого-то рода предательство, без сомнения совершенно неумышленное, я и собираюсь тебе жаловаться. Речь идет о только что появившемся, весьма ненужном и весьма бесполезном издании сборника виршей, которые были бы годны разве лишь на то, чтобы их забыли. Но так как, несмотря на все отвращение, которое я принципиально к этому питал, я кончил тем, что дал свое согласие — из чувства лени и безразличия, то потому и не имею права на это сетовать. Все же я имел основание надеяться, что издание будет сделано с известным разбором и что не напихают в один жиденький томик целую кучу мелких стихотворений «на случай», всегда представлявших лишь самый преходящий интерес данного момента; вновь же воспроизведенные, они тем самым становятся совершенно смешными и неуместными. Я отделаюсь тем, что окажусь в роли тех жалких рифмачей, которые по-дурацки влюблены в малейший вырвавшийся у них стишок, — и хотя я, пожалуй, и не совсем в таком положении, но уж примирюсь, без особого труда, из одного отвращения и безучастия, даже с этой нелепой бессмыслицей. Однако то, что в этой несчастной книжонке воспроизвели несколько строк по адресу князя Вяземского, позаботившись проставить в

заголовке его имя, его собственное имя! — это, признаюсь, уже слишком... и я настоятельно умоляю, чтобы, если возможно, избавили меня от неминуемых последствий этой проделки... Я попытаюсь временно приостановить продажу издания у здешних книготорговцев до тех пор, пока не исправят эту удивительную оплошность, сохранив, если возможно, злосчастное стихотворение, но без упоминания Вяземского. Следовало бы позаботиться о том, чтобы внести ту же поправку и в оглавление...

И столько возни по поводу такого совершенно ненужного пустяка, от которого так легко было воздержаться! Бедный, милый Аксаков! Вот вся благодарность, которую он получит от меня за все свои старания... Зато большую благодарность он получит после выхода первого номера его «Москвы», ожидаемого здесь с живейшим нетерпением.

Тысячу дружеских приветствий дяде Сушкову. Его книга о покойном Филарете читается поистине с большим интересом, последние страницы захватывающи.

А теперь, милая моя дочь, позволь мне обнять тебя и пожелать тебе, так же, как и всему семейству, хорошо провести праздники. Храни вас бог.

Ф. Тютчев

54

Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург. 9/21 апреля 1868.

Мне думается, милая моя дочь, что мне пора напомнить о себе, и для этого пользуюсь случаем, вполне естественно представляющимся мне при приближении годовщины дня, с которого между нами возникли отношения некоторой близости. Это восходит, правда, к временам столь же далеким, как эпоха Троянской войны, даже воспоминание о коих для меня не более, как сон, почти совсем изгладившийся из памяти. И вот таким-то образом все, что было *нами,* постепенно испаряется, по мере того как по той или другой причине перестаешь заботиться о разрешении всех мелких затруднений. Но ощущение еще живого прошлого постоянно охватывает меня всякий раз, когда мне случается

проходить по большой набережной мимо того пустого места, которое занимал когда-то последний дворец, где ты жила и где провела столько часов, казавшихся тебе такими долгими и такими томительными, а теперь превратившимися в ничто. Но на сей раз по крайней мере стены, которые видели тебя страдающей, имели скромность исчезнуть, а это, по-моему, более переносимо для человеческого чувства, нежели бесстрастная устойчивость материальных вещей, которые видели наш жизненный путь и больше о нас не вспоминают.

Мне хочется думать, дочь моя, что ты прочтешь эти несколько строк прекрасным весенним утром, под лучезарным солнцем, среди одушевления жизни, идущей своим обычным ходом, и испытаешь лишь мимолетное чувство снисходительной жалости ко всем этим общим местам,— не более реальным, чем все остальное, — написанным бедным стариком, унылым и мрачным.

Предоставляю другим, более предприимчивым, чем я, заботу рассказать тебе, моя милая дочь, о том, что здесь происходит, как будто можно письменно передать друг другу нечто большее, чем листок белой бумаги с небольшой долей чернил на ней. А мне, мне нужно твое действительное присутствие, и нет ничего невероятного в том, что в течение лета я устрою себе этот праздник. — Такое свидание убедит нас в нашем обоюдном бытии и поможет нам думать иногда друг о друге. Но прежде всего береги себя и да будет жизнь твоя легка. Целую тебя от глубины моего сердца.

55

Н. И. ТЮТЧЕВУ

Петербург. 13 апреля <18> 68.

Благодарю тебя, друг ты мой, за любовь твою к нам, столько раз выказанную на деле, и которая не нуждалась бы в новых выражениях, но в таком деле нас — а меня и подавно — глубоко тронуло твое деятельно-заочное участие в этом несколько неожиданном семейном деле. Еще раз благодарю.

Предстоящий брак, конечно, довольно своеобразен. Точно ребенок, который из любви к своей доброй няне вдруг

бы женился на ней. Но так как бедному Диме, кажется, уже предназначено в некоторых отношениях всю жизнь оставаться ребенком и, следственно, нуждаться в няне, то подобный брак и был для него единственно возможный, единственно целесообразный. Она, — будущая жена его, — очень добрая, разумная девушка, уже отрекшаяся было от всякого замужества и только вследствие своей почти материнской заботливости о Дмитрии решившаяся, наконец, и не без труда, выйти за него замуж... Вся эта история несколько оживила во мне память о моих страстных отношениях во время оно к давно минувшему Николаю Афанасьевичу.

Вчера я писал к Анне. Опасения мои были основательны: предостережение состоялось. На этот раз оно просто было вызвано оскорбленным самолюбием Похвиснева, но потворство такому дрянному делу со стороны Тимашева не предвещает ничего хорошего. Все они более или менее мерзавцы, и, глядя на них, просто тошно, но беда наша та, что тошнота наша никогда не доходит до рвоты. Была речь в Главном управлении о предании газеты суду и об ее совершенном прекращении в случае осуждения, но, разумеется, на это они не отважились, и вот что должно бы было втоптать в грязь это подлое ведомство: это его рассчетливая тупость при таком грубом произволе. Они чувствуют себя как бы в простенке между общественным мнением и самостоятельным судом и в этой пустоте душат втихомолку все, что у них под рукою. — А иногда и на самого Аксакова становится досадно за то, что он — конечно, в ущерб самому себе — вызывает такие безобразные явления.

Прости, друг ты мой, надеюсь видеться с тобою в первой половине мая месяца. Господь с тобою.

56

Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург, 13/25 мая ⟨1868⟩.

Я вижу, моя милая дочь, что мое бедное изображение навеяло на тебя грусть и меланхолию, и я невольно подумал о впечатлении, произведенном на Гамлета видом некоего черепа, когда-то хорошо знакомого ему и любимого

им... Alas, poor Jorick![1] Именно так, дочь моя. Читая твое милое письмо, я почти готов был растрогаться над самим собой, но на это у меня недостает душевных сил... Вот что значит так окончательно пережить себя...

А затем, — признаться ли тебе в этом? — я предпочел думать о тебе и на этой почве ощутил себя менее бесплодным. Я, как при вспышке молнии, представил себе всю твою жизнь и в свою очередь почувствовал себя преисполненным грусти и жалости. Для того, кто знает тебя, как я, со всем тем, что бог вложил в твое существо, и со всем, что жизнь подавила и уничтожила, неведома судьба трагичнее твоей. — Но оставим это и поговорим о другом.

Третьего дня, наконец, после бесчисленных колебаний решено было, что поездка императрицы в Киссинген состоится. За тебя мне это доставило удовольствие, ибо я знаю, что тебе этого хотелось. Но, с другой стороны, когда известно отвращение заинтересованной особы к решению, которое она в конце концов дозволяет себе навязать, вопреки всем своим протестам, когда видишь вблизи деяния, присущие всему этому режиму, всей этой рутине, столь ребячески серьезной и столь нелепо необоснованной, и когда восходишь к первоисточнику всего этого, при виде всех этих решений, так длительно оспариваемых и в которых так же быстро раскаиваются, как только они приняты, — говоришь себе — или скорее сознаешь, что говорить больше нечего... Ты понимаешь, что если я останавливаюсь на этом новом проявлении непоследовательности, так это не из-за факта самого по себе, а потому, что он служит симптомом общего положения...

Я буду, кажется, сопровождать мама́ и Мари́ до Москвы, куда меня вызывает тревожная настойчивость моего бедного брата, в котором потребность видеть меня дошла почти до животного инстинкта, от чего он становится для меня еще более трогательным. Но на сей раз я смогу пробыть в Москве лишь очень недолго, а затем, по возвращении сюда, постараюсь сообразить, что мне предпринять летом. Я чувствую себя все время издерганным, как и был, впрочем, всю мою жизнь, с той только разницей, что некоторая былая устойчивость теперь во мне исчезла. Единственно, что я знаю наверное, это что я очень хотел бы свидеться с тобой и не хотел бы уйти из этого мира, не повидав тебя еще раз...

---

[1] Увы, бедный Йорик! *(англ.)*

57

Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург. 3 января ⟨1869⟩.

Спасибо, милая моя дочь, за столь приятный подарок, каким была для меня новость о твоем скором приезде. Ничто не могло мне быть более приятным, ибо со времени нашего последнего свидания в Москве мне тебя постоянно недоставало...

Вчера вечером я получил также письмо от Анны, и так как в настоящую минуту она и ее муж, должно быть, уже получили послание, которое повез им Ваня, я стараюсь угадать, что из этого получится. Но я решительно настаиваю на всех утверждениях, которые содержатся в моем письме к ним. Положение вещей таково, каким я его изложил.

Что касается нашей повседневной жизни, то мы вертимся в обычном кругу развлечений начавшегося карнавала. Вчера было первое представление Патти, которое, разумеется, дало повод к вспышке всяких расточительных сумасбродств, являющихся отличительной чертой художественных оценок русской публики. Но я не хочу впадать в тон газетного фельетона.

Здесь получено известие о несчастном случае, едва не постигшем великую княгиню Марию Николаевну и сопровождавшее ее общество на железной дороге между Венецией и Флоренцией. Весь свадебный поезд едва не погиб от столкновения двух железнодорожных составов. Впрочем, я получил это известие от старой княгини Вяземской, а в газетах об этом не читал еще... Что касается самого князя, то он болен и лежит в постели, — по словам его жены, вследствие доблестных подвигов в день Нового года. Намедни мы были у него на литературном вечере; нам прочли статью, которую он написал по поводу романа Толстого и которая должна появиться в журнале Бартенева. Это довольно любопытно с точки зрения воспоминаний и личных впечатлений и весьма неудовлетворительно со стороны литературной и философской оценки. Но натуры столь колючие, как Вяземский, являются по отношению к новым поколениям тем, чем для малоисследованной страны является враждебно настроенный и предубежденный посетитель-иностранец. Это *Кюстины* новых поколений.

А кстати о Бартеневе: доставь мне удовольствие, дочь моя, поблагодари его, когда ты его увидишь, за его щедрость ко мне.

В настоящее время здесь находится князь Черногорский, приехавший, как я полагаю, искать помощи и совета. Пока что он получил шубу, которую государь подарил ему в день Нового года... Это, кажется, все, что мы можем предложить в настоящую минуту христианству Востока...

До скорого свидания, милая моя дочь. Тысячу дружеских приветствий в настоящем, а на будущее — столько же несбыточных пожеланий всему семейству, начиная, как всегда, с моего брата, которого я очень хотел бы снова повидать.

Сердечно твой
Ф. Т.

58

Е. К. ЗЫБИНОЙ

Петербург. Понедельник. 28 апреля ⟨*1869*⟩

Чем мне отблагодарить вас, сударыня, за все те слова, сдоль любезно преувеличенные по моему адресу, которые вы соблаговолили сказать на ухо маленькой мышке, рискуя даже ввести в заблуждение вашу наивную питомицу? В этом признании, поверьте мне, меня не столько тронули похвалы, как то, что я, так сказать, в качестве третьего лица, был принят в ваше поэтическое сообщество, нашел доступ в ваш заветный круг, посещаемый столькими прекрасными снами и грациозными вдохновениями.

Поэзия в конце концов прекрасная вещь — надо с этим согласиться.

Вот уголок мира, которого я не знаю, где я никогда не был... И что же? Благодаря нескольким прекрасным стихам, навеянным искренним чувством, вы превратили для меня эту неведомую область, эту географическую абстракцию, в живую действительность, в одно из излюбленных пребываний моей мысли в поисках самых утонченных впечатлений... Наступает весна, и скоро я увижу, как чудесные деревья, стоящие так близко друг к другу на границе вашего сада, покроются листьями, чтобы быть еще ближе.

Да, весна — единственная революция на этом свете, достойная быть принятой всерьез, единственная, которая по крайней мере всегда имеет успех. И нужны такие натуры, как ваша, — и при том в вашем счастливом возрасте, — чтобы быть настоящими героями этой революции, потому что ваши весны не имеют морщин и, как говорит великий английский поэт, вся земля в этот утренний час года и жизни улыбается так, как будто бы она не заключала могил...

Какого еще счастья можно пожелать тому, кто обладает такой полнотой существования? Остается сделать единственное пожелание, но которое заключает все другие: пусть эта сила жизни найдет возможность перелиться в дружеское сердце, достойное ее понять и разделить. В этом отношении судьба немногих могла бы быть такой счастливой, как ваша, сударыня.

Соблаговолите передать мое почтение вашей матушке и будьте достаточно добры, чтобы сохранить для меня до будущей зимы небольшое место в вашей памяти.

Ф. Т.

59

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Курск. Суббота. 26 июля ⟨1869⟩.

Моя милая кисанька, ты, конечно, не ожидала получить от меня письмо, помеченное Курском? Но я подумал, что лучше, чем написав тебе, я не могу употребить избыток досуга, которым здесь располагаю. Впрочем, я ничуть не сожалею о своей долгой остановке в Курске.

Итак, вот еще одно из тех мест, которое — не будь оно в России — давно бы уже служило предметом паломничества для туристов. Во-первых, расположение его великолепно и смутно напоминает окрестности Флоренции, как бы смешно ни показалось подобное утверждение. А затем, совершенно особенное впечатление произвела на меня моя вчерашняя прогулка по возвышенностям. У подножия этих возвышенностей, на которых расположен город, представь себе реку, искрящуюся на солнце и усеянную сотнями купающихся. Можно было вообразить себя перенесенным ко временам мифологическим! Действительно, вся местная молодежь, юноши и девушки, наподобие нескольких стай уток и гусей, резвились тут столь же непринужденно, как

эти водяные птицы. Это мне напомнило одну французскую пьесу, которую я когда-то видел в Париже, — «Тайны лета», появившуюся также под влиянием тогдашней тропической жары и, с моей точки зрения, поэтически воспроизводившую различные сцены, олицетворяющие возврат целого населения благодаря жаре к чисто первобытному состоянию.

Вечером до позднего часа раздавалась музыка в общественном саду, совсем еще недавно разведенном — это правда, но чудесно расположенном. Одним словом, я унесу из Курска самое благоприятное впечатление, и оно останется таковым, если только не повторится, ибо в сущности лишь в самые первые минуты ощущается поэтическая сторона всякой местности. То, что древние именовали *гением места*, показывается вам лишь при вашем прибытии, чтобы приветствовать вас и тотчас же исчезнуть...

Жара все еще очень сильная. Существуешь только благодаря сквознякам, за что потом расплачиваешься обострением ревматизма.

На станции *Городец* я провел *два* томительных часа, так как третьего дня изменили расписание поездов. В пути я вновь встретился с Фоминой, которая занимала отдельное купе. Она была со мной приветлива, но сдержанна, очевидно опасаясь, как бы я не попытался водвориться в ее уголке.

Теперь *полдень*, — в четыре часа я уезжаю в Киев. Я узнал, что там готовится великолепная иллюминация по случаю прибытия царской семьи, которое состоится вечером 30-го числа.

Я мог бы долго ожидать ответа от В. Карамзина, который, как здесь полагают, еще не покинул Петербурга.

По приезде в Киев пошлю тебе телеграфическую депешу.

В данную минуту я весь в поту и всеми порами вбираю в себя сквозняки.

Тысячу нежностей Мари́. Как поживает бедный больной?

Ф. Т.

60

М. Н. ПОХВИСНЕВУ

Село Овстуг. ⟨12 авгу́ста 1869.⟩

Милостивый государь Михаил Николаевич.

Полагая ваше превосходительство у́же возвратившимся в Петербург, чувствую потребность заявить перед вами

и о моем существовании. Я только что воротился из Киева, который удалось мне видеть во всем его блеске, при встрече им императорской фамилии. Но я не могу конкурировать с «Московскими ведомостями», в которых вы, конечно, прочли очень удовлетворительное описание вечера 30 июля, который не скоро забудется всеми теми, кто тут присутствовал. Теперь же я решительно на возвратном пути и не позднее 25-го числа этого месяца предполагаю водвориться в недро Комитета ин⟨остранной⟩ цензуры. — Но позвольте этому возвращению предпослать мою усерднейшую и настоятельную просьбу к вашему превосходительству, заключающуюся в том, чтобы по случаю 30 августа министерство благоволило вспомнить о моем уже несколько устаревшем представлении касательно наград и повышений, испрашиваемых мною для чиновников Комитета, *вполне* их заслуживших, как это известно и вам, почтеннейший Михаил Николаевич. Древние утверждали, что Кара, хотя и хромая, но все-таки, наконец, настигает преступного. Пускай же и Награда возьмет пример с этой неторопливой, но верной возмездницы... В особенности смею обратить ваше благосклонное внимание на З. М. Добровольского, кассира нашего Комитета, самого честного и усердного сподвижника нашего, и труд которого далеко не соразмерно оплачивается его скудным жалованием.

Извините, прошу вас, многоуважаемый Михаил Николаевич, что еще до моего появления я начинаю докучать вам... Но мне было бы крайне прискорбно, если бы пользы людей, мне близких, могли пострадать от моего случайного отсутствия из Петерб⟨урга⟩.

Примите уверение в моем истинном уважении и преданности.

Ф. Тютчев

61

А. Ф. АКСАКОВОЙ

С.-П<етербург.> 3 апреля 1870.

Если я тоже, моя милая дочь, так долго молчал, то потому, что ничего не мог рассказать интересного, хотя бы даже сна, столь занимательного, как твой, который и в передаче поразил меня своей образностью. Что за таинственная вещь сон, в сравнении с неизбежной пошлостью

действительности, какова бы она ни была!.. И вот почему мне кажется, что нигде не живут такой полной настоящей жизнью, как во сне...

Если то, что мы делаем, ненароком окажется историей, то уж, конечно, помимо нашей воли. И, однако, это — история, только делается она тем же способом, каким на фабрике ткутся гобелены, и рабочий видит лишь изнанку ткани, над которой он трудится.

Третьего дня у нас были поставлены в театре славянские живые картины перед весьма многочисленной публикой, выказавшей больше похвального рвения, нежели понимания. Присутствовали все великие князья и т. д. и т. д. Вспомнив то, что было пятнадцать лет назад, приходишь к неоспоримому выводу, что идея сильно подвинулась... *E pur si muove*,[1] хотя в некоторые минуты это движение ощутимо не более, чем движение земли...

Недавно здесь по поводу назначения князя Оболенского было произнесено другое имя, и его не слишком испугались. Зато в известной клике раздражение, если не тревога, было очень сильно... Намедни мне пришлось участвовать в почти официальном споре по вопросу о печати, и там было высказано — и высказано представителем власти — утверждение, имеющее для некоторых значение аксиомы, — а именно, что свободная печать невозможна при самодержавии, на что я ответил, что там, где самодержавие принадлежит лишь государю, ничто не может быть более совместимо, но что действительно печать, — так же, как и все остальное, — невозможна там, где каждый *чиновник* чувствует себя самодержцем. Весь вопрос в этом. Но дабы признать, что это так, следует, чтобы и самодержец в свою очередь не чувствовал себя *чиновником*.

Но прости, дочь моя, — это словопрение должно казаться тебе тошнотворным, каково оно и есть на самом деле; буду же для разнообразия говорить о другом, о себе, например, т. е. своем здоровье — старой и жалкой ветоши, которую надо бы кое-как подправить, но тут-то мне и недостает убеждения, вот почему я до сих пор пребываю в полной нерешительности относительно того, что мне делать будущим летом. В данную минуту у меня твердо установлено лишь одно: намерение съездить к вам в Москву в следующем

[1] А все-таки она вращается (*итал.*).

месяце. Все эти планы, ежегодно возникающие у живых, производят странное впечатление, когда их встречаешь в переписке тех, которых уже нет... и именно так я вполне естественно рассматриваю свои собственные планы.

Да хранит вас бог.

62

А. Ф. АКСАКОВОЙ

Тёплиц. 31 июля/12 августа ⟨*1870*⟩.

То, что происходит перед нашими глазами, уже не действительность. Это как бы сценическое представление большой драмы, задуманной и поставленной по всем правилам искусства. Все так ясно, так хорошо обосновано, так последовательно. Кажется, будто читаешь на афише какое-нибудь знакомое заглавие: «Наказанный плут» или нечто в этом роде... С другой стороны, размах событий ускользает от всех людских оценок.

Война началась ровно *восемь* дней назад, и вот уже судьба Франции поставлена в зависимость от случайности одного сражения, которое, быть может, разыгрывается в настоящую минуту. И дело идет не о чем ином, как о падении, явном и очевидном падении страны, общества — целого мира, каким является Франция. Думается, будто грезишь.

Прежде всего вот французская армия; она всегда почиталась чем-то из ряда вон выходящим и совершенным, а не лучше австрийцев сопротивляется превосходству прусских армий. Происходит нашествие в обратном порядке: французская земля заполонена, столица, Париж, объявлена на осадном положении, отчизна в опасности, и императрица Евгения, подобно второй Жанне д'Арк в кринолине, вызывается взять на себя спасение Франции. Эта примесь смешного в событиях наиболее трагических всегда бывала признаком великих явлений и завершающихся судеб.

Благодаря тому, что Вторая наполеоновская империя представляет собой как бы подделку под Первую, можно точной исторической формулой определить фазис, в какой она вступила: это Сто дней Наполеона III. Поэтому каждый,

у кого в памяти сохранились гнусные подробности той эпохи, читает как бы по *либретто* все, что должно произойти теперь: борьба партий не на живот, а на смерть, и подлое предпочтение низких выгод. Хорошо, если б я ошибался в своих предвидениях! Ведь падение Франции, сколь ни заслужено оно глубоким внутренним разложением нравственного чувства, было бы тем не менее огромным бедствием со всех точек зрения, особливо же с точки зрения нашей собственной будущности... Ибо насколько соперничество сил, образующих Западную Европу, составляет главнейшее условие этой будущности, настолько же окончательное преобладание одной из них явится страшным камнем преткновения на открывшемся перед нами пути, и пуще всего на свете — неминуемое осуществление объединения Германии, этого пробуждения легендарного Фридриха Барбароссы, которого мы увидим живьем выходящим из его пещеры. Зрелище величественное и прекрасное, должен с этим согласиться, но я был бы в отчаянии оказаться его зрителем... И подумать только, что постановке этого великолепного спектакля способствовал скоморох, именующийся Н⟨аполеоном⟩ III! В результате он явится *восстановителем империи*, но только не своей, а империи вражеской. Не пройдет и месяца, как все эти вопросы будут решены. Еще раз — это сон...

Пока что я начал ванны, и это лечение, повидимому, принесет пользу. Тысячу нежностей Аксакову. Ах, если бы он был здесь!..

До скорого свидания, моя милая дочь. Право, мне немного совестно, что у тебя такой болтливый отец. Да хранит вас бог.

63

Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Тёплиц. 1/13 августа ⟨1870⟩.

Вот, моя милая Дарья, подробности, которые ты у меня просила. Я только что узнал их из письма, переданного мне П. Мельниковым. По тому впечатлению, какое они произведут на тебя, ты сможешь судить о том состоянии,

в которое привело меня это чтение. Они дали мне ясно почувствовать ужасную реальность его смерти... И никогда я не прощу себе, что позволил спровадить и увезти себя из Петербурга всего за *девять* дней до его кончины...

Ах, бедный милый мальчик! Он умер, вовсе не подозревая, до какой степени был мне дорог, и сам я, быть может, никогда вполне не отдавал себе в этом отчета. От мамà я попрежнему не имею известий, и это длительное молчание начинает меня тревожить. *20-го* числа прошлого месяца она и Марú должны были приехать в Овстуг. Прошло уже двенадцать дней. Невероятно, чтобы за эти двенадцать дней письмо, даже написанное с опозданием, не успело дойти до меня, а расположение духа, в каком я нахожусь, делает меня положительно беззащитным против самых мрачных опасений. Понятно, что при подобных обстоятельствах никакое лечение не принесет много пользы, хотя я и уверен, что ванны Тёплица могли бы для меня быть весьма благотворными. В душе у меня постоянное ощущение тревоги, и отсутствие вестей только усугубляет его. К тому же, надо быть грубым животным, чтобы безнаказанно присутствовать при страшном зрелище сего божьего суда, что совершается над миром. Ничего не предрешая, предчувствуешь уже, каково будет последнее слово верховного приговора. Это — ниспровержение бедной Франции, которую нельзя не жалеть, признавая в то же время, что она вполне заслужила кары, готовые на нее обрушиться. Ибо страна, которая с каким-то удовлетворением терпит позорный правительственный строй, тяготеющий над нею вот уже восемнадцать лет, и цвет которой, представляемый высшими государственными чинами, из раболепства или по глупости только что принял участие в последних непристойных деяниях этой власти, обезумевшей в своей безнравственности, — такая страна сама себе вынесла приговор, а события, как всегда, не замедлят явиться в назначенный срок, дабы привести его в исполнение. Не то чтобы личный противник Наполеона III был значительно порядочнее его, но дело его более правое, и нравственное превосходство решительно на стороне Германии.

Добрый день, дочь моя. Не забудь вернуть мне прилагаемые письма. Храни тебя бог.

64

А. Ф. АКСАКОВОЙ

Петербург. 22 ноября ⟨*1870*⟩.

Да, конечно, дочь моя, я совершенно был удовлетворен адресом, и на этот раз не только его формой, но и по существу и считаю, что правительство, которое послушалось бы благого совета принять его во всей целости, оказалось бы весьма сильным перед лицом Европы. Но случится ли это? Можно ли рассчитывать на подобное озарение? Увы! в этом позволительно усомниться... Неурядица, непоследовательность действий, происходящая в значительной мере оттого, что у нас нет правильного понимания собственных побуждений,— вот в чем наше несчастье. А это заставляет и других сомневаться в серьезности наших решений. Между тем в современном кризисе нет ничего серьезнее решительности, с какой к нему приступают, нет ничего более серьезного и благородно-национального, чем личное вдохновение государя. Это, безусловно, так, и теперь уже не приходится сомневаться, что мысль стряхнуть с себя позор последнего трактата была одной из великих забот его жизни и преследовала его буквально днем и ночью... Он ждал только благоприятной минуты. Говорят, что подобное заявление было бы сделано еще в 1866 году, но тогдашняя война оказалась для этого недостаточно продолжительной. Теперь, несомненно, общее положение Европы гораздо благоприятнее, и политика кабинета доказала бы свою косность и тупость, если бы не сумела им воспользоваться; а такого упрека она не избежала бы даже со стороны тех, кто теперь обвиняет ее в излишней смелости. Что же касается твердости, с коей будет поддерживаться принятое решение, то на таковую, думается, вполне можно рассчитывать, и в этом отношении — как меня уверяют — государь еще более непоколебим, чем его канцлер. Мы заявим на конференции то же, что уже заявили всем кабинетам в отдельности, а именно, что уничтожение статьи 14-й трактата является с нашей стороны совершившимся фактом и что никаких изменений мы тут не допустим. Что касается прочих статей, то мы согласимся на их обсуждение и вполне охотно пойдем на более точное определение условий и гарантий *длительного умиротворения* на Востоке. И те, кто ознакомился

в свое время с депешами, опубликованными князем Горчаковым, отлично знают, что мы понимаем и что хотим сказать словами: умиротворение на Востоке. Это, в конечном смысле, система широкой административной автономии, дарованная христианам. Таково истинное положение в данный момент. То, что я здесь утверждаю, известно мне самым достоверным образом. Впрочем, стоит только прочесть публикуемую в настоящее время дипломатическую переписку, чтобы в этом убедиться. Но существует еще одно современное явление — столь же несомненное, как и твердый и достойный образ действий нашего кабинета: это — жалкое и даже омерзительное поведение петербургских салонов. Они превзошли мои ожидания, а это много значит. Если б еще это было чувство преувеличенной тревоги, но нет — это просто наивнейшее выражение отсутствия какого бы то ни было национального чувства и понимания. На этом первоначальном фундаменте наросли всякого рода жалкие личные соображения, мелкие скверные инстинкты, и т. д. и т. д. Я встречал бывших министров и теперешних государственных деятелей, которые, на основании разглагольствований иностранной прессы, краснели самым искренним образом за ужасный скандал, в коем мы провинились, одной своей собственной волей отбросив статью трактата, и они же заявляли, что впредь не решатся смотреть иностранцам в лицо... *Буквально* так, и все эти глупости говорились с видом раскаяния и добродетельной грусти. Для дополнения картины дурацкое и бестолковое отродье иностранных дипломатов всерьез принимало подобные манифестации наших так называемых аристократических салонов и делало глубокомысленные выводы из оппозиции *высших классов* против усвоенной правительством политики. Я в конце концов заявил некоторым господам из дипломатического корпуса, что они с таким же ⟨успехом⟩ могли бы справиться о настроениях народа у французской труппы Михайловского театра, как и в любом салоне или кружке изысканного петербургского общества, ибо и те и другие имеют одинаково мало общего с Россией. Правда, все это касается лишь представителей салонов. Что же до большой публики, то ее мнения в общем точно воспроизводятся здешними органами печати. Иностранная пресса тоже поняла, в чем дело; этим и объясняется ее вполне обоснованное раздражение. Она учуяла, что, вновь получив независимость

в Восточном вопросе, мы тем самым отвергли и свели на нет опеку, присвоенную западными державами; и действительно в этом и заключается смысл и значение нашего почина.

Но мои пальцы так онемели, что мне совершенно невозможно продолжать. Храни вас бог.

65

А. Ф. АКСАКОВОЙ

⟨Петербург.⟩ Четверг. 14 января ⟨1871⟩.

Благодарю, моя милая Анна, за твою искреннюю заботу о ребенке. Я не могу сказать, как я тронут. Отсылаю тебе при сем заранее засвидетельствованную у нотариуса доверенность на свободное пользование документами, которые у вас находятся. Я храню также отложенные для тебя триста рублей за пансион Феди и жду лишь твоего извещения, чтобы тебе их переслать. Но думаю, что раньше надо решить, вернется ли он в Катковский лицей или будет помещен в какое-нибудь другое учреждение. Здоровье его почти восстановилось, и можно было бы отправить его немедленно, если бы не сильные холода, стоящие в данный момент, а также и необходимость решить вопрос об его окончательном устройстве. Жду от тебя известий. Меня беспокоит то, что я, наконец, узнал о твоем здоровье, и очень опасаюсь, как бы частые выходы по этому холоду не оказались для тебя весьма пагубными. А я добился минутной передышки, но враг все еще не отступил, и я ежеминутно ожидаю возобновления атаки. Мое состояние напоминает немножко положение бедного города Парижа, который, однако, болен еще сильнее, нежели я, так что, по всем вероятиям, его сдача неизбежна; но я весьма ошибаюсь, если этому падению не будет предшествовать какая-либо ужасающая катастрофа.

Вся эта война приведет к пропасти, в которую будут увлечены дальнейшие поколения. Английская демократия волнуется и ждет лишь сигнала, дабы разразиться демонстрациями в пользу Франции против Пруссии. Все демократии материка, составляющие в сущности одну-единую демократию, последуют ее примеру.

Нынешняя война, жестокая война, столкнется с внутренней войной партий, настоящей социальной войной. Не в обиду будь сказано императору Вильгельму, его империя не будет империей мира и прогресса под сенью свободы, если б он даже того желал. Будет совсем иное. Эта война, каков бы ни был ее исход, более чем когда-либо расколет Европу на два лагеря: социальную революцию и военный абсолютизм. Все остальное, что между ними, будет раздавлено...

Что касается конференции, это — лишь одна комедия. Дело уже решено, и мы положительно в выигрыше.

Тысячу приветствий Аксакову.

Весь ваш *Ф. Т.*

66

Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

П⟨етербург.⟩ Страстная суббота. ⟨27 марта 1871.⟩

Здравствуй, моя милая Китти. Всего лучше будет, если я прерву наше долгое эпистолярное молчание сердечным поздравлением с завтрашним великим праздником. Ах, если бы Христос воистину воскрес в мире, — ибо спасение этого мира, хотя бы временное, может быть достигнуто лишь такой ценой.

А как твое здоровье? Ты, конечно, понимаешь, что оно ни минуты не переставало меня заботить, хотя с некоторого времени я и получаю о нем благоприятные известия от очевидцев, но вполне успокоенным себя не чувствую и успокоюсь, лишь когда увижу тебя своими глазами. И потом, что это за болезнь, которую мне ни разу не сумели определить, — столь похожая на оспу, и, однакоже, не оспа? И, наконец, как рассчитываешь ты воспользоваться будущим летом в интересах своего здоровья, ибо, разумеется, следует что-то предпринять? Подумай об этом, дочь моя, и напиши мне.

Здесь холера начинает ослабевать. Ее медовый месяц прошел. Умирать еще умирают, но больше выздоравливают. Правда, нам обещают другие болезни, столь же смертельные, — когда мы слишком привыкнем к этой.

Ты, вероятно, узнала от самой Дарьи о минутной тревоге, которую она нам причинила на днях. Но, слава богу, это обошлось без последствий, и я видел ее вчера столь же оживленной и полной жизни, как обычно. Надо сознаться, что пример Дарьи из наиболее поучительных. Он показывает, как важно для здоровья твердо принятое решение хорошо себя чувствовать.

Сегодня вечером я рассчитываю отправиться к заутрене в Зимний дворец, хотя *местный колорит* совершающегося там богослужения, несомненно, менее всего способен напомнить об истинном значении события, в честь которого совершается это богослужение. Ибо можно ли представить себе господа нашего восстающего из своего гроба в присутствии всех этих мундиров и придворных туалетов, обладатели коих всецело поглощены не воскресением Христовым, а совсем иным — переходящим из рук в руки указом о назначениях и наградах, который и является для них *благой вестью* во всем значении этого слова.

Сказано, что человек, старея, делается своей собственной карикатурой. То же происходит и с вещами, самыми священными, с верованиями самыми светлыми: когда дух, животворящий их, отлетел, они становятся пародией на самих себя. Но современный мир вступил в такую фазу своего существования, когда живая жизнь в конце концов восторжествует над омертвевшими формами.

Да хранит тебя бог, дочь моя, и — тысячу нежностей всей семье.

67

А. Ф. АКСАКОВОЙ

Петербург. 17 июля ⟨1871⟩.

Нет, дочь моя, я не могу вполне присоединиться к необычному надгробному слову, которое ты посвятила памяти бедного Сушкова, и его исчезновение навевает на меня большую грусть. Он связан столькими воспоминаниями с таким долгим периодом моей жизни, — теперь последним, — начиная с того времени, когда он выводил из терпения твою мать, и до последних вспышек раздражения против него моего бедного брата, что я не могу быть нечув-

ствительным к пустоте, которую он мне после себя оставляет...

Я никогда не сердился на его запальчивость старого ребенка, и теперь, когда эта запальчивость более чем обуздана смертью, она только воскрешает в моей памяти все долгое прошлое моей жизни, к которому он относится. Мир его памяти и всему этому прошлому!

Зато настоящее мучительно тревожит меня. Письма, которые моя жена пишет мне из Липецка, ее уныние и отчаяние по поводу здоровья Мари́, чахнущей, по ее словам, все более и более, твои собственные впечатления в связи с поразившим тебя видом бедного Вани, — всё это, конечно, только способствует тому, чтобы переполнить мою душу грустью и тревогой. Вчера я написал жене, умоляя ее непременно продолжать лечение кумысом и по возможности довести его до конца, а затем, по их возвращении в Овстуг, где я рассчитываю с ними свидеться в будущем месяце, мы решим, в зависимости от достигнутого результата, что предпринять зимой... Но, если явится надобность уехать за границу, я предвижу упорное сопротивление со стороны Мари́, разве только она сама не признает себя достаточно больной, чтобы чувство самосохранения одержало верх. Что касается Вани, то предполагаю, что он более охотно согласится на несколько месяцев расстаться с родиной, и я теперь же спросил бы его (если бы знал, куда направить ему мои письма), не хочет ли он, чтобы я, не мешкая, предпринял кое-какие шаги, дабы выхлопотать для него отпуск на зиму.

Увы, самое трудное — особенно для некоторых натур — это во-время принять решение, смело разорвать в нужный момент магический круг колебаний рассудка и слабости воли.

Первая часть процесса только что кончилась, и для тех, кто внимательно следил за его ходом, как я, например, посещавший все заседания, вынесенный приговор должен казаться справедливым. Я был поистине восхищен талантом некоторых адвокатов, например, князя Урусова и Спасовича, о котором и не подозревал. Право, поразительно, как эти новые судебные установления быстро привились у нас. Вот где могучий зародыш новой России и лучшее ручательство ее будущности. Что касается самой сути процесса, то она возбуждает целый мир тяжелых мыслей

и чувств. Зло пока еще не распространилось, но где против него средства? Что может противопоставить этим заблуждающимся, но пылким убеждениям власть, лишенная всякого убеждения? Одним словом, что может противопоставить революционному материализму весь этот пошлый правительственный материализм? That is the question[1] и т. д. и т. д.

68

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург. 14 сентября 〈1871〉.

Третьего дня я присутствовал в Александро-Невской лавре на погребении бедной госпожи А. Карамзиной, длительная агония которой окончилась, наконец, 9-го числа этого месяца. Последние двадцать четыре часа, говорят, были ужасны: она кричала, не переставая. Вскрытие тела показало, что все мускулы были поражены раком, так что одна рука держалась на ниточке... И вот, перед лицом подобного зрелища, спрашиваешь себя, что все это значит и каков смысл этой ужасающей загадки, — если, впрочем, есть какой-либо смысл?

Вся эта церемония преисполнила меня печалью и тоской — и чтобы успокоиться немного, мне надобно было бы, вернувшись домой, найти тебя там, живьем... Наступает возраст, когда длительные разлуки становятся нелепостью... При всем желании нельзя избежать чувства все возрастающего ужаса, видя, с какой быстротой исчезают один за другим наши оставшиеся в живых современники. Они уходят, как последние карты пасьянса. Есть ли какая-либо знакомая нам семья, которая бы не испытала потерь!.. И каждая новая смерть — как бы последнее предостережение, предшествующее окончательному уничтожению... По причине еще не начавшегося сезона на похоронах этой бедной мученицы было сравнительно мало народу. Мне удалось пожать руку госпоже Авроре и Лизе К〈арамзиной〉. Вот уже пятый член их семьи умирает с тех пор, как мы с ними знакомы... Да, моя милая кисанька, давно бы пора тебе вернуться. Наде-

---

[1] Вот в чем вопрос *(англ.)*.

юсь, что через неделю ты начнешь серьезно подумывать о своем отъезде.

Здесь ничего нового, кроме того, что листья желтеют и падают. Погода, однако, еще держится, еще бывают яркое солнце днем и великолепные лунные ночи, как вчера, например.

Среди вновь приезжих — новый греческий посланник Будурис, которого мы когда-то в Мюнхене часто видали и знавали совсем молодым человеком. Он посетил меня тотчас по своем приезде и поистине удивил чрезвычайной живостью своих воспоминаний. Можно было подумать, что еще только накануне мы встречались с ним в салоне госпожи Сетто. Он даже припомнил кое-что, якобы сказанное мною некогда, ибо, повидимому, я уже тогда говорил остроты. Итак, вся жизнь ушла только на это... Я чувствую себя как бы уничтоженным перед всеми этими столь живыми и сознательными воспоминаниями прошлого; я чувствую себя более чем на три четверти погруженным в небытие, которое оставляет живучим во мне лишь чувство тоски. Будурис очень просил меня напомнить тебе о нем и много расспрашивал меня о твоем брате. Он припоминает, что много танцевал с его свояченицей.

Читаете ли вы еще газеты? Вчера телеграф передал нам содержание печатного сообщения, сделанного от имени съезда старо-католиков, который происходит в настоящее время в Мюнхене, и подписанного Дёллингером и тремя-четырьмя очень авторитетными именами. Впервые в этом документе делается воззвание к Восточной церкви и указывается на соглашение с ней, как на возможный и желательный факт. Достоверно, что недавно по инициативе вел. кн. Константина Николаевича некто был послан отсюда в Мюнхен к Дёллингеру, и этот некто — наш приятель Осинин.

Что вы поделываете? Как вы себя чувствуете? Продолжается ли лечение кумысом? Какова способность к передвижению бедного Бирилева? Скоро ли откроется школа, с отцом Алексеем или без него? С вами ли Иван?.. Что до меня, то мое здоровье недурно. Ноги еще действуют, перемирие еще продолжается, и я очень надеюсь, что они донесут меня до вокзала железной дороги вам навстречу. Да, но я забываю, что это Варшавский вокзал. Все равно, только приезжайте. Да хранит вас бог.

69

Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

⟨Петербург. 1 апреля 1873.⟩

Вчера я испытал минуту жгучего волнения вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей доброй Амалией Крюденер, которая пожелала в последний раз повидать меня на этом свете и приезжала проститься со мной. В ее лице прошлое лучших моих лет явилось дать мне прощальный поцелуй.

70

А. Ф. АКСАКОВОЙ

⟨Петербург. Апрель 1873.⟩

Прежде всего, моя милая дочь, поблагодари своего мужа за его превосходный русский перевод моей записки, напечатанный в «Архиве» и удесятеривший ее ценность. Эта статья явилась как раз во-время, чтобы наглядно показать тот путь вспять, который мы проделали с 57 года. Я узнал вчера, что подготовляется новый закон о печати, который всерьез в законодательной форме воспроизведет знаменитый монолог Фигаро о свободе слова. Этот закон оставит за администрацией право определять те вопросы, коих не будет дозволено касаться в печати. В нынешних условиях смелее и честнее откровенно восстановить цензуру, которая, заменив собою все это фантастическое законодательство чем-то ясным и положительным, была бы принята печатью как настоящее благодеяние. Ложные понятия имеют то неудобство, что требуют долгого времени, дабы себя изжить.

В последнем письме ты высказала одну очень верную мысль: говоря о своем муже, ты очень верно сказала, что природа, подобная его природе, способна заставить усомниться в первородном грехе, и уж если кто-нибудь имел бы право усомниться в этой тайне, объясняющей все и необъяснимой ничем, то это был бы, конечно, такой человек, как Аксаков; потому что именно безупречность его нравственной природы и давала столько силы и веса его словам и упрочивала за ним то влияние на молодежь, которое могло

бы быть ей столь полезно и, может статься, спасло бы ее, если б ему предоставили свободу действий и если бы жалкая обидчивость нескольких надутых правительственных ничтожеств не возобладала над всяким другим соображением. Ах, сколько обвинений взято на себя и сколько векселей подписано за счет будущего!

Перечитывая свою записку, которая и сейчас еще полна злободневности, я убедился, что самое бесполезное в этом мире — это иметь на своей стороне разум. Через 30 лет все, несомненно, будут думать об этих вопросах то же, что я думаю сейчас, но тем временем зло будет сделано — и, вероятно, зло непоправимое. Мне любопытно будет посмотреть, какое впечатление произведет эта статья здесь, в правительственных кругах. Это как бы манифест, обнародованный задним числом, который окажется неудобным для тех, кто спешит стереть последние следы прошлого. Но с моей стороны очень глупо интересоваться тем, что больше не имеет со мной никакой живой связи. Мне надлежало бы смотреть на себя, как на зрителя, которому после того, как занавес опущен, остается лишь собрать свои пожитки и двигаться к выходу. Пока же тысячу нежностей тебе, моя дорогая дочь, и знайте еще раз, что вы — единственные светлые точки на моем более чем затуманенном горизонте. Уверяют, что в моем состоянии есть улучшение, но я хотел бы больше его ощущать. Прощайте.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

А, 1874 г. — И. С. Аксаков, Федор Иванович Тютчев. Биографический очерк, М., 1874.

А, 1886 г. — И. С. Аксаков, Биография Федора Ивановича Тютчева, М., 1886.

АБ — альбом М. Ф. Тютчевой-Бирилевой с автографами и списками стихотворений Тютчева (собрание К. В. Пигарева).

Г — журнал «Галатея».

Изд. 1854 г. — Стихотворения Ф. Тютчева, Спб., 1854.

Изд. 1868 г. — Стихотворения Ф. Тютчева, Спб., 1868.

Изд. 1886 г. — Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи, Спб., 1886.

Изд. 1900 г. — Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи, Спб., 1900.

Изд. 8-ое — Ф. И. Тютчев, Полное собрание сочинений, изд. восьмое, исправленное и дополненное, редакция П. В. Быкова, Спб., изд. А. Ф. Маркса, б. г.

Изд. «Academia» — Ф. И. Тютчев, Полное собрание стихотворений, «Academia», М. — Л., 1933—1934, 2 тома.

Изд. 1939 г. — Ф. И. Тютчев, Полное собрание стихотворений, «Советский писатель», Л., 1939 («Библиотека поэта» — большая серия).

ЛБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (Москва).

ЛН — сборники «Литературное наследство».

М — журнал «Москвитянин».

МА — Архив музея-усадьбы Мураново имени Ф. И. Тютчева.

НС — Ф. И. Тютчев, Новые стихотворения, «Круг», М. — Л., 1926.

ПБЛ — Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

ПД — Отдел рукописей Института русской литературы Академии наук СССР — «Пушкинского Дома» (Ленинград).

РА — журнал «Русский архив».

РБ — журнал «Русская беседа».

РВ — журнал «Русский вестник».

РС — журнал «Русская старина».

С — журнал «Современник».

СЛ — альманах «Северная лира» на 1827 год.

СН — сборник «Старина и новизна».

СТ — Сушковская тетрадь. Рукопись неосуществленного издания стихов Тютчева, подготовлявшегося к печати в 1852 г. Н. В. Сушковым (Центральный государственный архив литературы и искусства — Москва).

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

СТИХОТВОРЕНИЯ

В настоящее издание вошло все самое ценное в поэтическом наследии Тютчева, в том числе переводы и наиболее острые из эпиграмм. Не включены в сборник: большинство юношеских стихов, значительная часть стихотворений «на случай» (преимущественно политического содержания), недоработанный черновой перевод из драмы В. Гюго «Эрнани», мелкие шуточные стихотворения, стихи на французском языке, незавершенные произведения последних месяцев жизни и стихи, приписываемые поэту.

Внутри каждого раздела стихотворения размещены в хронологическом порядке. Все даты (не исключая и тех, которые имеются в источниках, принятых в качестве основных) приводятся в примечаниях.

Большие трудности связаны с датировкой стихотворений Тютчева двадцатых — начала пятидесятых годов, автографы которых обычно не датированы. Основанием для их датировки, часто условной и предположительной, служат: характер почерка (существенно изменившийся к середине тридцатых годов по сравнению с двадцатыми, а также на рубеже сороковых и пятидесятых годов), водяные знаки бумаги, на которой написан автограф, даты цензурных разрешений тех периодических изданий, где эти стихотворения впервые печатались, а также местоположение автографа в ряду других рукописей поэта.

Большая часть рукописей Тютчева, относящихся ко времени его пребывания за границей, была переслана поэтом в мае 1836 г. И. С. Гагарину (в 1875 г. Гагарин вернул их родственникам Тютчева), и, следовательно, первая треть 1836 г. является предельным сроком для их датировки.

Во многих случаях может быть указан только год, позднее которого стихотворение не могло быть написано. Это в особенности касается тех стихов, которые не сохранились в автографах. Так, например,

наличие списков некоторых стихотворений в так называемой Сушковской тетради *ЦГАЛИ* свидетельствует о том, что они написаны не позднее 1851 — начала 1852 г., так как тетрадь эта представляет собой рукопись неосуществленного издания стихотворений Тютчева, которое подготовлялось к печати Н. В. Сушковым в 1852 г. При этом следует иметь в виду, что основной состав тетради (копии писарской рукой) был уже закончен перепиской в *начале* 1852 г. Самым поздним текстом в Сушковской тетради является стихотворение «Ты, волна моя морская...», датированное апрелем 1852 г., но оно переписано не в самой тетради, а на приложенных к ней дополнительных листах (копии рукой Д. И. Сушковой).

Большое значение для датировки стихотворений Тютчева двух последних десятилетий его творчества имеют многочисленные списки, сделанные родственниками поэта (его второй женой и дочерьми) и обычно помеченные точной датой.

Издание стихотворного наследия Тютчева сопряжено также с немалыми трудностями текстологического характера. Обычный текстологический принцип, согласно которому за основу текста писателя принимается текст последнего прижизненного издания его сочинений, не может быть применен к стихам Тютчева.

При жизни поэта его стихотворения были выпущены отдельными изданиями дважды — в 1854 и 1868 гг. Последнее издание подготовлялось к печати И. С. Аксаковым при участии И. Ф. Тютчева, сына поэта. «Не было никакой возможности, — вспоминал впоследствии Аксаков, — достать подлинников руки поэта для стихотворений еще не напечатанных, ни убедить его просмотреть эти пьесы в тех копиях, которые удалось добыть от разных членов его семьи, частью от посторонних. Между тем некоторые из этих копий были ошибочны или несогласны между собой. Пришлось выбирать лучшие и печатать без всякого участия со стороны самого автора» (*А*, *1886 г.*, стр. 324). В результате, когда издание вышло, его состав и качество текста вызвали резко отрицательную оценку поэта (см. на стр. 268 его стихи «Михаилу Петровичу Погодину» и на стр. 464 письмо к дочери Е. Ф. Тютчевой). Таким образом, в основу издания стихотворений Тютчева сборник 1868 г. положен быть не может.

В подготовке первого издания своих стихотворений (1854 г.), редактором которого был И. С. Тургенев, поэт также не принимал непосредственного участия, а потому многочисленные расхождения этого издания с автографами и первопечатными редакциями рассматривались исследователями творчества Тютчева как результат редакторского произвола И. С. Тургенева (см. Б л а г о й Д. Д., Тургенев—редактор Тютчева. — Сборник «Тургенев и его время», М.—П., 1923, стр. 142—163;

Чулков Г. И., Судьба рукописей Тютчева — «Тютчевский сборник», П., 1923, стр. 48—62).

В ряде советских изданий стихотворений Тютчева (1923, 1933—1934 и 1935 гг.), редактированных Г. И. Чулковым, как правило, тексту автографа отдавалось предпочтение перед печатными редакциями, в особенности же редакциями тургеневского издания.

Между тем в настоящее время можно считать установленным, что в большинстве приписываемых ему исправлений тютчевских стихов Тургенев неповинен. Есть все основания полагать, что основным рукописным источником тургеневского издания послужил альбом с писарскими копиями стихов Тютчева, ныне хранящийся в *ЦГАЛИ*, или же какой-либо иной текст, тождественный тексту данного альбома. Списки в этом альбоме близки к тексту упомянутой выше Сушковской тетради. Доказательств того, что текст этой тетради был *в целом* авторизован Тютчевым, мы не имеем, но в двух случаях (в стихотворениях «Не то, что мните вы, природа...» и «Ты, волна моя морская...») есть его собственные поправки. На полях Сушковской тетради сделано также довольно большое количество редакторских исправлений, принадлежащих Н. В. Сушкову.

Следует отметить, что ряд стихотворений Тютчева, напечатанных в 1836—1840 гг. в «Современнике», переписан в Сушковской тетради не непосредственно с этого текста, а с текста статьи Некрасова о Тютчеве, помещенной в «Современнике» 1850 г., где многие стихотворения были приведены полностью и отдельные строки в них изменены Некрасовым. Некрасов в то время не только не был знаком с поэтом, но, судя по его статье, даже не знал, кто такой «Ф. Т.» и «Ф. Т — в», чьи стихи обратили на себя его внимание в старых томах «Современника».

Некрасовские и сушковские поправки вошли в текст издания 1854 г. Однако в распоряжении Тургенева были и рукописи таких стихотворений, которых в Сушковской тетради нет. В большинстве случаев это — стихотворения, опубликованные в двадцатых годах, текст которых в тургеневском издании существенно отличается от первопечатных редакций. Среди новых редакций ранее напечатанных стихотворений имеется, например, общеизвестный текст «Весенней грозы».

Самый факт исправления и переработки поэтом в начале 1850-х гг. (быть может, под впечатлением статьи о нем Некрасова и высказанного в ней пожелания об отдельном издании тютчевских стихов) своих старых стихотворений документально может быть подтвержден двумя примерами. В это время Тютчевым было переработано написанное в конце двадцатых годов стихотворение «Еще шумел веселый день...» (ср. в автографах *ЦГАЛИ* ранние и позднюю редакции стихотворения).

Переписывая в 1850 г. для отсылки М. П. Погодину напечатанное еще в 1836 г. стихотворение «Восток белел. Ладья катилась...», Тютчев внес в текст одно небольшое, но характерное уточнение («С *чела* откинув покрывало...» вместо «С *кудрей* откинув покрывало...»).

В настоящем сборнике текст издания 1854 г. принимается за основу в тех случаях, когда в разночтениях его с автографами или предшествующими печатными текстами нет оснований усматривать редакторское вмешательство. В тех же случаях, когда эти разночтения вызывают сомнения в их принадлежности поэту (таковы тексты стихотворений «Silentium!» и «Сон на море», своеобразие ритмического звучания которых утратилось оттого, что они оказались «вправленными» в традиционные метры) или носят характер механических, типографских искажений (разбивка стихотворения на строфы, пунктуация), стихотворения воспроизводятся по автографу или предыдущему печатному тексту.

Поправки в стихах Тютчева, сделанные не им самим, сохраняются лишь тогда, когда их устранение невозможно без нарушения цельности окончательного авторского текста («Не то, что мните вы, природа...», «Поминки», «Чему молилась ты с любовью»).

То же следует сказать и о других печатных источниках.

До нас дошла значительнейшая часть автографов, по которым стихотворения Тютчева печатались в «Современнике» 1836—1840 гг. Но разночтения некоторых сохранившихся автографов по сравнению с журнальным текстом указывают на то, что в распоряжении редакции были еще и другие рукописи, которые не сохранились. Так, например, стихотворение «Осенний вечер» в тексте «Современника» 1840 г. отличается от автографа наличием заглавия и иным чтением седьмой и восьмой строк. При этом, если редактор и мог изменить строку «Порывистый *и ясный* ветр порою...» на «Порывистый, *холодный* ветр порою...», то трудно допустить такое же редакторское исправление в предыдущей строке: «И, как *предвестье близящихся бурь*», измененной на «И, как *предчувствие сходящих бурь*...». Очевидно, что в данном случае мы сталкиваемся с авторскими вариантами, а потому в настоящем издании стихотворение печатается по тексту «Современника» 1840 г.

Если имеется возможность установить, что журнальная публикация стихотворения восходит к определенному, дошедшему до нас автографу, но отличается от него типографскими погрешностями или существенными нарушениями пунктуации подлинника (таково, например, устранение многоточий между строфами, обозначающих паузу, в стихотворениях «Итальянская villa» — в тексте «Современника» 1838 г. — и «Весь день она лежала в забытьи» — в тексте «Русского вестника» 1865 г. и т. п.), то в данном сборнике принимается текст автографа. Возникновение

некоторых отличий журнальных текстов от автографов поэта легко объясняется неразборчивостью почерка Тютчева (так, например, восклицание «О» в девятой и одиннадцатой строках стихотворения «Она сидела на полу...» в автографе написано недостаточно четко и прочитано переписчиком как «И»; в результате в тексте «Русской беседы» 1858 г. напечатано: «*И* сколько жизни было тут...», «*И* сколько горестных минут...»).

Не всегда, однако, отступления печатного текста от рукописного подлинника, к которому он восходит, могут быть приписаны невнимательности переписчика или недосмотру корректора. Например, стихотворение «Утихла биза... Легче дышит...» было впервые напечатано в «Русском вестнике» 1865 г. по автографу, посланному в редакцию самим Тютчевым через А. И. Георгиевского (см. стр. 450 — письмо Тютчева к нему от 13/25 декабря 1864 г.). В печати оно появилось с заменой мало понятного русскому читателю слова «биза» словом «буря». Поэт в это время был за границей, и нет никаких оснований думать, чтобы это изменение было согласовано с ним.

Имеются случаи, когда автограф или список дают более позднюю редакцию по сравнению с печатными текстами. Так, например, окончательной редакцией стихотворения «Не остывшая от зною...» является не текст сборника «Раут» на 1852 г., куда оно было дано самим поэтом (см. стр. 395 — письмо Тютчева к Н. В. Сушкову), и не текст издания 1854 г., а редакция автографа. Вторая строфа была написана в нем так же, как она напечатана в издании 1854 г., но затем две строки зачеркнуты и заменены новыми. Иногда окончательная редакция представлена списком, сделанным кем-либо из близких поэту лиц. Например, стихотворение «В Риме» в списке альбома М. Ф. Бирилевой переписано в редакции, соответствующей автографу (*ЦГАЛИ*), но первые четыре строки взяты в скобки, а на обороте приписана новая их редакция.

Посмертные публикации стихотворений Тютчева служат источником текста лишь в тех случаях, когда рукописные подлинники, к которым они восходят, до нас не дошли (стихотворение «Как ни тяжел последний час...», стихи, опубликованные Ф. Ф. Тютчевым в его статье «Федор Иванович Тютчев, Материалы к его биографии» — в журнале «Исторический вестник» за 1903 г. и др.). Разночтения большой группы стихов, впервые опубликованных И. С. Аксаковым в 1879 г. в *РА*, не принимаются во внимание, так как они не подтверждаются теми автографами и списками, по которым эти стихи печатались.

Все цитаты из писем Тютчева в комментариях, не имеющие оговорки: «подлинник по-русски», даются в переводе с французского.

На новый 1816 год (стр. 35). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в сборнике «Феникс», 1922, кн. I, стр. 5—6. По-видимому, именно это стихотворение под измененным заглавием («Вельможа. Подражание Горацию») было прочитано А. Ф. Мерзляковым в Обществе любителей российской словесности 22 февраля 1818 г.: новогодняя тема, начиная с четвертой строфы, сменяется здесь обличением порочного и жестокого вельможи. Через неделю после этого чтения, 30 марта, юный Тютчев был избран в сотрудники Общества любителей российской словесности.

Ряд мотивов и образов оды «На новый 1816 год» навеян поэзией Горация, которой в это время увлекался Тютчев: «По тринадцатому году он переводил уже «Оды» Горация с замечательным успехом», — свидетельствует его воспитатель С. Е. Раич («Русский библиофил», 1913, вып. VIII, стр. 25). В стихотворении сказалось также воздействие русской лирики XVIII в. (так, например, 5—8 строки первой строфы являются вариациями начальных строф двух новогодних од Державина — 1781 и 1798 гг., а первая строка перекликается с началом «Утреннего размышления о божием величестве» Ломоносова: «Уже прекрасное светило...»).

Крон (античн. миф.) — Хронос, бог времени.

Коцит (античн. миф.) — река в подземном царстве.

Тартар (античн. миф.) — часть подземного царства, местопребывание душ преступников.

Евмениды (античн. миф.) — богини мести.

Жупел (слав.) — сера.

«Неверные преодолев пучины...» (стр. 37). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, датированному: «14 сентября 1820 года. Москва». Впервые — в *Изд. 1900 г.*, стр. 13. В автографе помета не рукою Тютчева: «К Р...».

Написано по поводу окончания С. Е. Раичем перевода Виргилиевых «Георгик» (изданы в 1821 г.). Вспоминая в своей автобиографии о жизни в доме Тютчевых, Раич писал: «В это время приступил я к переводу Виргилиевых «Георгик»... Около года никому не показывал я опытов моих в переводах, кроме Ф. И. Тютчева, вкусу которого я вполне доверял: необыкновенно даровитый от природы, он был уже посвящен в таинства Поэзии и сам con amore (с увлечением — *итал.*) занимался ею...» — («Русский библиофил», 1913, вып. VIII, стр. 24—25).

Древо Аполлона — лавр.

К оде Пушкина на вольность (стр. 38). — Печатается по списку *ЛБ* — в тетради, принадлежавшей С. Д. Полторацкому, — сверенному со списком, опубликованным в «Северных цветах» на 1903 г.,

стр. 190—191. Впервые — с цензурными пропусками в строках восьмой и одиннадцатой в *РС*, 1887, т.LVI, октябрь, стр. 129. М. П. Погодин отметил в своем дневнике под 1 ноября 1820 г. разговор с Тютчевым о пушкинской оде «Вольность» (см. стр. 5), что дает основание датировать стихотворный отклик Тютчева ноябрем 1820 г. В бумагах Погодина (*ЛБ*) сохранилась копия двух последних строф «Вольности» Пушкина, сделанная рукою Тютчева.

А. Н. М. («Нет веры к вымыслам чудесным...» — стр. 39). — Печатается по журналу «Русский зритель», 1828, ч. 4, №№ XIII и XIV, стр. 70—71, где впервые опубликовано полностью с датой: «13 декабря 1821». Две первые строфы ранее приведены были в иной редакции в статье Делибюрадера (псевдоним Д. П. Ознобишина) «Отрывок из сочинений об искусствах», помещенной в *СЛ*, 1827, стр. 358—359. Посвящено А. Н. Муравьеву.

Весна («Любовь земли и прелесть года...» — стр. 40). — Печатается по журналу «Русский зритель», 1828, ч. 3, №№ XI—XII, стр. 195—196. Впервые — в иной редакции, под заглавием «Весеннее приветствие стихотворцам» — в журнале «Труды Общества любителей российской словесности», 1822, ч. I, стр. 164—165, с ошибочной подписью: «Н. Тютчев». Написано не позднее 1821 г.

«На камень жизни роковой...» (стр. 42). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в журнале «Атеней», 1829, ч. I, стр. 61—62, под заглавием «К N. N.» Последняя строфа дает основание датировать стихотворение концом 1822—1823 гг.

Поэт, о котором идет речь в этом стихотворении, — С. Е. Раич.

Храм Свободы — намек на связь Раича с Союзом благоденствия (см. «Восстание декабристов», т. VIII — «Алфавит декабристов», Л., 1925, стр. 161).

Повесть... Орфеевой супруги — рассказ об Орфее и Евридике в IV книге «Георгик» Виргилия, переведенных Раичем.

На диспуте магистра... — 24 октября 1822 г. за «Рассуждение о дидактической поэзии» Раич получил ученую степень магистра словесных наук (см. «Русский библиофил», 1913, вып. VIII, стр. 27 — сноска).

Послание к А. В. Шереметеву (стр. 44). — Печатается по списку *ЦГАЛИ* — неизвестной рукой, с припиской: «Вот стихи, полученные мною от Алексея Васильевича ⟨Шереметева⟩, который дал мне их в 1830 или в 1831 г.»; текст уточнен по другому списку *ЦГАЛИ* — рукой Д. И. Сушковой. Впервые — в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия», Лондон, 1861, стр. 247—248. В списке из собрания Б. В. Томашевского, опубликованном в *ТС*, стр. 41—42, дата: «Минхен. Генварь 1823».

От жизни мирно-боевой... — Имеется в виду переход А. В. Шереметева из лейб-гвардии конной артиллерии, где он служил, на должность адъютанта гр. П. А. Толстого, командовавшего пятым пехотным корпусом, который был расквартирован в Москве.

В саду героя-агронома — гр. П. А. Толстого, одного из главных деятелей Московского общества сельского хозяйства, членом которого состоял и А. В. Шереметев.

Стихотворение написано в жанре распространенных в десятых — двадцатых годах XIX в. дружеских посланий.

Слезы («Люблю, друзья, ласкать очами...» — стр. 45). — Печатается по *Изд. 1854 г.*, стр. 122—123. Впервые — в *СЛ*, 1827, стр. 182—183, с датой: «Июля 21, 1823. Минхен».

Эпиграф заимствован у Грея, ранние стихи которого написаны полатыни.

Пафосская царица (античн. миф.) — Афродита, богиня красоты; на острове Пафосе находился храм, ей посвященный.

Друзьям при посылке «Песни Радости» из Шиллера (стр. 46).—Печатается по *Г*, 1829, ч. VI, № 29, стр. 153—154, где опубликовано впервые. Перевод «Песни Радости» (см. стр. 311). сделан Тютчевым в феврале 1823 г.

К Н. («Твой милый взор, невинной страсти полный...» — стр. 47).— Печатается по *СЛ*, 1827, стр. 87—88, где опубликовано впервые с датой: «23 ноября 1824».

Кому посвящено стихотворение, не известно.

Проблеск (стр. 48). — Печатается по альманаху «Урания» на 1826 г., стр. 147—148, где опубликовано впервые. Датируется не позднее октября 1825 г. (ценз. разреш. «Урании» — 26 ноября 1825 г.).

Л. Н. Толстой в принадлежавшем ему сборнике стихов Тютчева отметил это стихотворение буквой «Т» (что значит: «Тютчев», т. е. своеобразие) и четырьмя восклицательными знаками (см. «Толстовский ежегодник», М., 1912, стр. 146; «Урания. Тютчевский альманах», Л., 1928, стр. 243).

14-ое декабря 1825 («Вас развратило Самовластье...» — стр. 50). — Печатается по черновому автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РА*, 1881, кн. II, стр. 340. Стихотворение, повидимому, вызвано обнародованием приговора по делу декабристов и написано во второй половине 1826 г. (об этом стихотворении см. выше, стр. 9, и «Урания. Тютчевский альманах», Л., 1928, стр. 61—78).

Вечер (стр. 51). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *Г*, 1830, ч. XV, № 22, стр. 41. Второй автограф *ЦГАЛИ* — на одном листе с автографом стихотворения «14-ое декабря 1825», что позволяет относить «Вечер» к 1826 г.

Весенняя гроза (стр. 52). — Печатается по *Изд. 1854 г.*, стр. 47. Впервые — в иной редакции — в *Г*, 1829, ч. I, № 3, стр. 151. Написано не позднее 1828 г. (ценз. разреш. *Г* — 16 января 1829 г.). Переработка стихотворения относится, повидимому, к более позднему времени, — вероятно, к началу пятидесятых годов.

Геба (античн. миф.) — богиня юности.

Зевесов орел (античн. миф.) — символ верховного божества, Зевса.

Могила Наполеона (стр. 53). — Печатается по *Изд. 1854 г.*, стр. 119, с восстановлением по первопечатному тексту двух строк точек, по всей вероятности, обозначающих цензурный пропуск. Впервые — с разночтением в 9—10 и 13—14 строках — в *Г*, 1829, ч. II, № 8, стр. 86. Написано не позднее 1828 г. (ценз. разреш. *Г*—20 февраля 1829 г.).

Cache — cache (стр. 54). — Печатается по *Изд. 1854 г.*, стр. 117—118. Впервые — в *Г*, 1829, ч. IV, № 17, стр. 50. Стихотворение датируется не позднее 1828 г. (ценз. разреш. *Г* — 24 апреля 1829 г.).

Летний вечер (стр. 55). — Печатается по *Г*, 1829, ч. V, № 24, стр. 150, где опубликовано впервые. Написано не позднее 1828 г. (ценз. разреш. *Г* — 12 июня 1829 г.).

Видение (стр. 56). — Печатается по *Г*, 1829, ч. VII, № 34, стр. 144, где опубликовано впервые. В *Г* текст «Видения» по ошибке напечатан слитно со стихотворением «Олегов щит». Написано не позднее начала 1829 г. (ценз. разреш. *Г* — 22 августа 1829 г.).

Атлас (античн. миф.) — гигант, поддерживающий на своих плечах небесный свод.

Олегов щит (стр. 57). — Печатается по сборнику «Раут» на 1854 г., стр. 430. Впервые—в иной редакции—в *Г*, 1829, ч. VII, № 34, стр. 144, слитно со стихотворением «Видение». В *Изд. 1868 г.*, повторяющем текст «Раута», перед первой строфой пояснено: «Молитва магометан», а перед второй—«Молитва славян».

Написано в связи с русско-турецкой войной 1828—1829 гг. (не позднее начала 1829 г.), чем и определяется датировка стихотворения. Варьирует ту же тему, что и одноименное стихотворение Пушкина («Когда ко граду Константина...»), где также вспоминается летописное сказание о щите, прибитом киевским князем Олегом на городских воротах Константинополя.

Как некогда ты вел в пустыне свой избранный народ. — По библейскому преданию, пророк Моисей вывел еврейский народ из Египта и привел его через пустыню в «землю обетованную» (Палестину).

Бессонница (стр. 58). — Печатается по *Г*, 1830, ч. XI, № 1, стр. 47—48, где опубликовано впервые. Написано не позднее 1829 г. (ценз. разреш. *Г* — 1 января 1830 г.).

«Ты зрел его в кругу большого света...» (стр. 59). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в газете «Гражданин», 1875, № 2, стр. 38.

Автограф на одном листе со стихотворением «В толпе людей, в нескромном шуме дня...» и черновыми отрывками переводов из «Фауста» Гете. Образ месяца днем в этом и следующем стихотворениях, повидимому, подсказан «Путевыми картинами» Гейне (см. на стр. 329 перевод Тютчева «Прекрасный будет день, сказал товарищ...», строки 34—50), что дает основание относить оба стихотворения к концу 1829—1830 гг.

«В толпе людей, в нескромном шуме дня...» (стр. 60). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РА*, 1875, вып. 5, стр. 128. Датируется концом 1829—1830 гг. на том же основании, что и предыдущее стихотворение.

Сон на море (стр. 61). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1836, т. III, стр. 20. По характеру почерка стихотворение предположительно датируется концом двадцатых годов. В *ЦГАЛИ* имеется список стихотворения — с отличием от текста автографа — на бумаге с водяным знаком «1828».

В списке *СТ*, относящемся к 1852 г., переписано в другой редакции: вольный метр (амфибрахий, чередующийся с дактилем и анапестом) выправлен на традиционный амфибрахий. Текст *Изд. 1854 г.*, стр. 48, близок к списку Сушковской тетради и читается так:

И море и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
И две беспредельности были во мне —
И мной своевольно играли оне.
Кругом, как кимвалы, звучали скалы,
И ветры свистели, и пели валы.
Я в хаосе звуков летал оглушен;
Над хаосом звуков носился мой сон...
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой.
В лучах огневицы развил он свой мир,
Земля зеленела, светился эфир...
Сады, лабиринты, чертоги, столпы...
И чудился шорох несметной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц:
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц, —
По высям творенья я гордо шагал,
И мир подо мною недвижно сиял...

Сквозь грезы, как дикий волшебника вой,
Лишь слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.

В этой редакции стихотворение перепечатано в *Изд. 1868 г.* и во всех дореволюционных собраниях сочинений Тютчева.

Огневица (слав.) — горячка.

«Душа хотела б быть звездой...» (стр. 62).— Печатается по *С*, 1836, т. III, стр. 14, где помещено впервые. Датируется предположительно концом двадцатых годов (в *ЦГАЛИ* — список, озаглавленный «Желание», на бумаге с водяными знаками «1828», вместе со списком стихотворения «Сон на море»).

Утро в горах (стр. 63). — Печатается по *С*, 1836, т. III, стр. 5. Впервые — в *Г*, 1830, ч. XIII, № 13, стр. 90, слитно со стихотворением «Снежные горы» под общим заглавием «В горах» и с пометой: «Сальцбург». Написано не позднее конца двадцатых годов (ценз. разреш. *Г* — 18 марта 1830 г.). О времени посещения Тютчевым Зальцбурга сведений не имеется.

Некрасов в своей статье о Тютчеве полностью приводит стихотворение «Утро в горах», а также «Снежные горы», «Полдень» и «Песок сыпучий по колени...», указывая на умение поэта «уловить именно те черты, по которым в воображении читателя может возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина» (Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. IX, Гослитиздат, М., 1950, стр. 205).

Снежные горы (стр. 64). — Печатается по *С*, 1836, т. III, стр. 7. Впервые — в *Г*, 1830, ч. XIII, № 13, стр. 91, слитно со стихотворением «Утро в горах», с вариантами 4 и 12 строк и строфой между 4 и 5 строками:

Едва в трепещущих листах
Перебирается прохлада —
Звонок пасущегося стада
Почти замолк на высотах.

В *Изд. 1854 г.* напечатано с поправкой Некрасова в четырнадцатой строке («Над *усыпленною* землей»). В *ЦГАЛИ* имеются два автографа (один из них беловой, совпадающий с текстом *С*). Датируется не позднее конца двадцатых годов (ценз. разреш. *Г* — 18 марта 1830 г.).

«Как океан объемлет шар земной...» (стр. 65).—Печатается по *С*, 1836, т. III, стр. 13. Впервые — в *Г*, 1830, ч. XVI, № 27, стр. 57, под заглавием «Сны». Написано не позднее первых месяцев 1830 г. (ценз. разреш. *Г* — 4 июля 1830 г.).

К N. N. («Ты любишь, ты притворствовать умеешь...» — стр. 66). — Печатается по одному из автографов *ЦГАЛИ* (во втором автографе нет заглавия и имеется незначительное разночтение в четырнадцатой строке). Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 137. Датируется концом двадцатых годов, так как второй автограф написан на одном листе со стихотворением «Утро в горах».

Адресат стихотворения не установлен.

«Еще шумел веселый день...» (стр. 67).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *М*, 1851, ч. III, № 11, стр. 237. Первоначальная редакция стихотворения, представленная двумя другими автографами *ЦГАЛИ*, судя по внешнему виду рукописей, возникла одновременно со стихотворением «Утро в горах» и «К N. N.». Переработка стихотворения производилась не ранее конца сороковых годов (судя по почерку третьего автографа) и не позднее первого полугодия 1851 г., так как появилось в июльской книжке *М*.

Последний катаклизм (стр. 68). — Печатается по альманаху «Денница» на 1831 г., стр. 89, где помещено впервые. Датируется концом двадцатых годов (автограф *ЦГАЛИ*, соответствующий печатному тексту, но без заглавия — на одном листе со стихотворением «Снежные горы»; ценз. разреш. «Денницы» — январь 1831 г.).

Полдень (стр. 69). — Печатается по *С*, 1836, т. III, стр. 10, где опубликовано впервые. В *ЦГАЛИ* имеются два автографа, из которых один (на бумаге с водяным знаком «1827») совпадает с текстом *С*, но не имеет заглавия; другой автограф вырезан из записной книжки, заполнявшейся поэтом не позднее 1830 г. О Некрасовской оценке стихотворения см. стр. 503.

Пан (античн. миф.) — бог долин, лесов; полдневный час, время отдыха Пана, считался у древних греков священным.

Цицерон (стр. 70). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, совпадающему с текстом *С*, 1836, т. III, стр. 8. Впервые — с вариантом девятой строки — в альманахе «Денница» на 1831 г., стр. 40. По всей вероятности, написано под впечатлением известий об июльской революции 1830 г. во Франции, что и определяет датировку стихотворения (ценз. разреш. «Денницы» — январь 1831 г.).

В третьей-четвертой строках Тютчев цитирует слова Цицерона: «Скорблю, что, вступив на жизненную дорогу с некоторым опозданием, я, прежде чем был окончен путь, погрузился в эту ночь республики («Brutus, sive dialogus de claris oratoribus» — «Брут, или диалог о славных ораторах», XCVI).

Капитолийская высота — один из семи холмов, на которых расположен Рим.

Весенние воды (стр. 71). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — с вариантами второй и шестой строк — в журнале «Телескоп», 1832, ч. X, стр. 22—23. Написано на листе, оторванном от автографа стихотворения «Цицерон».

Некрасов считал «Весенние воды» «одною из лучших картин, написанных пером» Тютчева. Цитируя «Весенние воды» в своей статье о Тютчеве, Некрасов выделил курсивом строки 6—8 и дал к ним следующий комментарий: «Сколько жизни, веселости, весенней свежести в в трех подчеркнутых нами стихах! Читая их, чувствуешь весну, когда сам не знаешь, почему делается весело и легко на душе, как будто несколько лет свалилось долой с плеч, — когда любуешься и едва показавшейся травкой, и только что распускающимся деревом, и бежишь, бежишь, как ребенок, полной грудью впивая живительный воздух и забывая, что бежать совсем неприлично, не по летам, а следует идти степенно, и что радоваться тоже совсем нечего и нечему...» (Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. IX, Гослитиздат, М., 1950, стр. 208—209).

Silentium! (стр. 72). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, почти совпадающему с текстом *С*, 1836, т. III, стр. 16. Впервые — с разночтениями — в газете «Молва» от 16 марта 1833 г., № 32, стр. 125. В *С*, 1854, т. XLIV, стр. 12 (*Изд. 1854 г.*, стр. 21), опубликовано в иной редакции, перепечатанной в *Изд. 1868 г.* и во всех дореволюционных собраниях сочинений Тютчева.

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои!
Пускай в душевной глубине
И всходят и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи:
Любуйся ими и молчи.
    Как сердцу высказать себя?
    Другому как понять тебя?
    Поймет ли он, чем ты живешь?
    Мысль изреченная есть ложь.
    Взрывая, возмутишь ключи:
    Питайся ими и молчи.
Лишь жить в самом себе умей!
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их заглушит наружный шум,
Дневные ослепят лучи:
Внимай их пенью и молчи!

Автограф *ЦГАЛИ* — на одном листе с автографом стихотворения «Цицерон», что позволяет предположительно датировать «Silentium!» 1830 г.

«Silentium!» было любимым стихотворением Л. Н. Толстого. Вместе со стихотворениями «Когда для смертного умолкнет шумный день...» Пушкина и «Смерть» Боратынского оно было включено Толстым в первое издание «Круга чтения»; во втором издании оставлено только «Silentium!». В принадлежавшем Толстому экземпляре стихотворений Тютчева «Silentium!» имеет отметку «Г» (глубина). А. Б. Гольденвейзер записал следующий отзыв Толстого о «Silentium!»: «Что за удивительная вещь! Я не знаю лучше стихотворения» («Урания. Тютчевский альманах», Л., 1928, стр. 249; «Толстовский ежегодник», М., 1912, стр. 145; Гольденвейзер А. Б., Вблизи Толстого, М., 1922, т. II, стр. 303).

«Как над горячею золой...» (стр. 73). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1836, т. III, стр. 15. Датируется предположительно 1830 г. (один из двух автографов *ЦГАЛИ*, совпадающий с текстом *С*, был написан на одном листе со стихотворением «Цицерон»; другой автограф — вместе со стихотворением «Двум сестрам» — вырезан из записной книжки, заполнявшейся Тютчевым не позднее 1830 г.).

Некрасов в своей статье о Тютчеве приводит это стихотворение и замечает: «Грусть, выраженная здесь, понятна. Она не чужда каждому, кто чувствует в себе творческий талант. Поэт, как и всякий из нас, прежде всего человек. Тревоги и волнения житейские касаются также и его, и часто более, чем всякого другого. В борьбе с жизнью, с несчастьем он чувствует, как постепенно талант его слабеет, как образы, прежде яркие, бледнеют и исчезают, — чувствует, что прошедшего не воротишь, сожалеет — и грусть его разрешается диссонансом страдания» (Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. IX, М., Гослитиздат, 1950, стр. 217).

«Здесь, где так вяло свод небесный...» (стр. 74). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 127. В автографе перед текстом помета: «В дороге». Стихотворение, повидимому, отражает дорожные впечатления поэта во время его приезда в Россию в 1830 г. Он выехал из Мюнхена 16 мая и вернулся 13 октября.

Двум сестрам (стр. 75). — Печатается по *С*, 1836, т. IV, стр. 40, где опубликовано впервые. В *ЦГАЛИ* имеются три автографа, из которых один совпадает с текстом *С*. Повидимому, навеяно московскими или петербургскими встречами поэта в 1830 г.

Успокоение (стр. 76). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в альманахе «Денница» на 1831 г., стр. 51. Написано, повидимому, в 1830 г. (первоначальная запись стихотворения — на одном листе со стихотворениями «Здесь, где так вяло свод небесный...» и «Двум сестрам»; ценз. разреш. «Денницы» — январь 1831 г.).

Странник (стр. 77). — Печатается по беловому автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 127. Первая запись стихотворения (*ЦГАЛИ*) — на одном листе с автографами «Здесь, где так вяло свод небесный...», «Безумие», «Успокоение» и «Двум сестрам». Повидимому, все стихотворения написаны одновременно, в 1830 г.

Безумие (стр. 78). — Печатается по одному из автографов *ЦГАЛИ*. Впервые — в альманахе «Денница» на 1834 г., стр. 185. О датировке см. примечание к предыдущему стихотворению.

«Безумие» перекликается с позднейшим стихотворным обращением Тютчева к А. А. Фету: «Иным достался от природы...».

«Через ливонские я проезжал поля...» (стр. 79).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1837, т. VI, стр. 395—396, с датой: «1830 г.», соответствующей помете в автографе.

Слова *бесцветный грунт небес* указывают на то, что стихотворение написано осенью, т. е. на обратном пути поэта за границу (см. стр. 506). По своему содержанию оно близко к позднейшему стихотворению Тютчева «От жизни той, что бушевала здесь...».

«Песок сыпучий по колени...» (стр. 80).— Печатается по беловому автографу *ЦГАЛИ*, датированному 1830 г. Впервые — в *С*, 1837, т. VI, стр. 397. В рукописи перед текстом помета: «Дорогой». Написано, повидимому, на обратном пути из Москвы в Мюнхен. Об оценке стихотворения Некрасовым см. стр. 503.

Осенний вечер (стр. 81). — Печатается по *С*, 1840, т. XIX, стр. 187, где опубликовано впервые. В *ЦГАЛИ* имеется автограф, датированный 1830 г., без заглавия и с вариантом 7—8 строк:

> И, как предвестье близящихся бурь,
> Порывистый и ясный ветр порою.

Цитируя это стихотворение в своей статье о Тютчеве, Некрасов изменил последний стих («*Возвышенной* стыдливостью страданья»). С поправкой Некрасова «Осенний вечер» перепечатывался в прижизненных и посмертных дореволюционных изданиях Тютчева.

Некрасов приводит это стихотворение в доказательство «удивительной способности» Тютчева «охватывать характеристические черты картин и явлений природы». «Превосходная картина! — замечает Некрасов. — Каждый стих хватает за сердце, как хватают за сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набегающие порывы осеннего ветра; их и слушать больно и перестать слушать жаль. Впечатление, которое испытываешь при чтении этих стихов, можно только сравнить с чувством, какое овладевает человеком у постели молодой умирающей женщины, в которую он был влюблен. Только талантам сильным и само-

бытным дано затрагивать такие струны в человеческом сердце... Нечего и говорить о художественном достоинстве приведенного стихотворения: каждый стих его — перл, достойный любого из наших великих поэтов» (Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. IX, Гослитиздат, М., 1950, стр. 207).

«Сей день, я помню, для меня...» (стр. 82).—Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, датированному 1830 г. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 131.

Листья (стр. 83). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, датированному 1830 г. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 129.

Альпы (стр. 85). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, датированному 1830 г. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 130—131.

В стихах, повидимому, аллегорически изображается духовная связь между русским и другими славянскими народами.

Mal'aria (стр. 86). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, датированному 1830 г. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 131.

Стихотворение навеяно описанием окрестностей Рима в романе г-жи де Сталь «Corinne ou l'Italie»(«Коринна, или Италия», кн. V, гл. 3).

Конь морской (стр. 87). — Печатается по списку *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 136—137. В *ЦГАЛИ* имеется более ранний автограф с небольшими отличиями от принятого в настоящем издании текста — на одном листе с автографом незавершенного перевода из «Эрнани» В. Гюго, над которым Тютчев работал в 1830 г.

Лебедь (стр. 88). — Печатается по *С*, 1839, т. XV, стр. 139, где опубликовано впервые (ценз. разреш. *С* — 27 июня 1839 г.). Образная связь этого стихотворения с переводом Тютчева из Цедлица «Байрон» (см. на стр. 323 строки 3—11 строфы 4) и стихотворением «Как океан обьемлет шар земной...» (стр. 65) позволяет относить «Лебедя» к 1828—началу 1830-х гг.

«Как дочь родную на закланье...» (стр. 89). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые—в *РА*, 1879, вып. 3, стр. 385—386. Написано в связи с антирусской кампанией, развернувшейся в баварской печати после взятия Варшавы царскими войсками 26 августа 1831 г. (см. *ЛН*, вып. 19—21, 1935, стр. 191—192), чем и определяется датировка стихотворения.

Агамемнон — один из героев «Илиады» Гомера, вождь греков. Чтобы вымолить у разгневавшейся на него богини Артемиды попутных ветров, должен был принести в жертву свою дочь Ифигению. Сжалившаяся над Ифигенией Артемида сохранила ей жизнь.

Коран — священная книга магометан; в данном случае слово употреблено в иносказательном смысле — права, кажущиеся бесспорными.

Янычары — солдаты, составлявшие привилегированную часть турецкой армии, постоянные участники мятежей и дворцовых переворотов.

Мета́ — цель.

Феникс (античн. миф.) — птица, возрождающаяся из собственного пепла.

«Все бешеней буря, все злее и злей...» (стр. 91).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *НС*, стр. 45. Датируется не ранее 1831 г. (автограф — на бумаге с водяным знаком «1831») и не позднее апреля 1836 г. (было послано Тютчевым И. С. Гагарину в начале мая 1836 г.).

Возможно, что это стихотворение не оригинально, но литературный источник его не установлен.

«На древе человечества высоком...» (стр. 92).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 133. Посвящено памяти Гете, умершего 22 марта 1832 г.

Образ Гете в этом стихотворении отражает «романтическую концепцию всеобъемлющего и всеотзывчивого поэта-мудреца, которая, как своего рода легенда, слагается в это время вокруг имени великого немецкого поэта» (Жирмунский В., Гете в русской литературе, Гослитиздат, Л., 1937, стр. 144). Такое же понимание Гете нашло выражение в известном стихотворении Боратынского «На смерть Гете» (1832).

«С горы скатившись, камень лег в долине...» (стр. 93).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, датированному: «Генваря 15/27 дня 1833». Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 134. Впоследствии, 2 апреля 1857 г., Тютчев вписал это стихотворение в альбом Н. В. Гербеля *(ПБЛ)* под заглавием «Problème» и с измененной четвертой строкой: «Иль был *низринут волею чужой»* (ср. примечания к стихотворению «Близнецы», стр. 519).

К*** («Уста с улыбкою приветной...» — стр. 94). —Печатается по альманаху «Пантеон дружбы» на 1834 г., стр. 246, где опубликовано впервые. Датируется не позднее начала 1833 г. (ценз. разреш. «Пантеона дружбы» — 17 апреля 1833 г.).

Уста с улыбкою приветной... ланит — ср. в стихотворении А. С. Хомякова «Признание» (1830):

Уста с приветною улыбкой,
Румянец бархатных ланит...

«Я лютеран люблю богослуженье...» (стр. 95).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, датированному: «Тегернзе. 16/28 сентября 1834». Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 135. См. статью

Тютчева «Папство и римский вопрос» (1849 г.): «Протестантство, с его многочисленными разветвлениями, которого едва хватило на три века, умирает от истощения во всех странах, где оно до сих пор господствовало...» *(Изд. 8-ое*, стр. 476).

«Душа моя — Элизиум теней...» (стр. 96).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1836, т. IV, стр. 41. Написано не позднее апреля 1836 г., так как в начале мая этого года было послано И. С. Гагарину.

По поводу этого стихотворения Некрасов писал: «Чрезвычайно нравится нам..., между прочим, следующее стихотворение, странное по содержанию, но производящее на читателя неотразимое впечатление, в котором он долго не может дать себе отчета» (Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. IX, Гослитиздат, М., 1950, стр. 218).

Элизиум (античн. миф.) — царство праведных теней.

«Из края в край, из града в град...» (стр. 97).— Печатается по списку *ЦГАЛИ* — рукой И. С. Гагарина, сделанному с не дошедшего до нас автографа поэта. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 135—136.

Написано не ранее 1834 г., так как является вариацией на тему стихотворения Гейне «Es treibt dich fort von Ort zu Ort...» («Новые стихотворения. — На чужбине», I), впервые напечатанного в I части «Salon» (1834), и не позднее апреля 1836 г., так как в начале мая было послано поэтом И. С. Гагарину.

«Я помню время золотое...» (стр. 99).— Печатается по *С*, 1836, т. III, стр. 11—12, где опубликовано впервые. Написано, повидимому, не ранее 1834 г. (первоначальная редакция стихотворения в автографе *ЦГАЛИ* — на одном листе с переводом из Гейне «В которую из двух влюбиться...») и не позднее апреля 1836 г. (в начале мая было послано Тютчевым И. С. Гагарину).

Обращено к баронессе А. М. Крюденер. Тютчев познакомился с нею в 1822 г. Весной 1836 г., когда А. М. Крюденер с мужем переехала в Петербург, Тютчев послал с нею для передачи И. С. Гагарину рукописи своих стихотворений.

Некрасов считал, что это стихотворение «принадлежит к лучшим произведениям» Тютчева, «да и вообще всей русской поэзии» (Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. IX, Гослитиздат, М., 1950, стр. 212).

«В душном воздуха молчанье...» (стр. 100).— Печатается по *С*, 1836, т. IV, стр. 32, где опубликовано впервые. В *ЦГАЛИ* — автограф с незначительным отличием от текста *С*, который (так же как и автографы стихотворений «Что ты клонишь над водами...», «Вечер

мглистый и ненастный...», «И гроб опущен уж в могилу...», «Восток белел...» и «Как птичка раннею зарей...») вырезан из записной книжки, заполнявшейся, судя по почерку, одновременно. Датируется не позднее апреля 1836 г., так как в начале мая автографы всех этих стихов были посланы Тютчевым И. С. Гагарину.

«Что ты клонишь над водами...» (стр. 101).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1836, т. IV, стр. 34. О датировке см. примечание к предыдущему стихотворению.

«Вечер мглистый и ненастный...» (стр. 102).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1836, т. IV, стр. 35. О датировке см. примечание к стихотворению «В душном воздуха молчанье...».

«И гроб опущен уж в могилу...» (стр. 103).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1836, т. IV, стр. 36. О датировке см. примечание к стихотворению «В душном воздуха молчанье...».

Некрасов отнес эти стихи Тютчева к числу тех, которые «несут на себе легкий, едва заметный оттенок иронии, напоминающий... Гейне» (Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. IX, Гослитиздат, М., 1950, стр. 213).

«Восток белел. Ладья катилась...» (стр. 104).— Печатается по автографу *ПБЛ*. Впервые — в *С*, 1836, т. IV, стр. 37. В *ЦГАЛИ* имеются два автографа: один представляет раннюю редакцию стихотворения, другой совпадает с текстом *С*. Стихотворение написано не позднее апреля 1836 г. (см. примечание к стихотворению «В душном воздуха молчанье...»). Текст автографа *ПБЛ* относится к 1850 г. и был послан Тютчевым Погодину.

«Как птичка раннею зарей...» (стр. 105).— Печатается по *С*, 1836, т. IV, стр. 38—39, где помещено впервые. О датировке см. примечание к стихотворению «В душном воздуха молчанье...».

Приведя это стихотворение в своей статье о Тютчеве, Некрасов замечает: «Грустная мысль, составляющая его содержание, к сожалению, сознается не всеми «пережившими свой век» с таким благородным самоотвержением...» (Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. IX, Гослитиздат, М., 1950, стр. 216).

«Какое дикое ущелье!..» (стр. 106).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 125. Написано на одном листе с первоначальной редакцией стихотворения «Восток белел...» и стихотворениями «С поляны коршун поднялся...» и «Тени сизые смесились...». Судя по почерку, все тексты относятся к тридцатым годам; написаны до начала мая 1836 г., времени их отсылки в Россию И. С. Гагарину.

«С поляны коршун поднялся...» (стр. 107).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 125. О датировке см. примечание к стихотворению «Какое дикое ущелье!..».

Тема, композиция и образы этого стихотворения близки к стихам А. Д. Илличевского «Орел и человек» («Северные цветы» на 1827 г., стр. 291).

«Тени сизые смесились...» (стр. 108).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 125, под заглавием «Сумерки». О датировке см. примечание к стихотворению «Какое дикое ущелье!..».

В дневнике А. Б. Гольденвейзера имеется запись о чтении этого стихотворения Л. Н. Толстым 7 декабря 1899 г. Толстой был болен. «На столике у него лежал том Тютчева. Заговорили о Тютчеве. На днях Л. Н. попалось в «Новом времени» его стихотворение «Сумерки». Он достал по этому поводу их все и читал больной. Л. Н. сказал мне: «Я всегда говорю, что произведение искусства или так хорошо, что меры для определения его достоинств нет — это истинное искусство; или же оно совсем скверно. Вот я счастлив, что нашел истинное произведение искусства. Я не могу читать без слез. Я его запомнил. Постойте, я вам сейчас скажу его». Л. Н. начал прерывающимся голосом: «Тени сизые смесились». Я умирать буду, не забуду того впечатления, которое произвел на меня в этот раз Л. Н. Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами край одеяла и тщетно стараясь удержать душившие его слезы. Несколько раз он прерывал и начинал сызнова. Но, наконец, когда он произнес конец первой строфы: «Все во мне, и я во всем»,— голос его оборвался. Приход А. Н. Дунаева (друг семьи Толстых) остановил чтение. Он немного успокоился. «Как жаль, я вам испортил стихотворение», — сказал он мне немного погодя» (Гольденвейзер А. Б., Вблизи Толстого, М., 1922, т. I, стр. 24—25).

«О чем ты воешь, ветр ночной?..» (стр. 109). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1836, т. III, стр. 18. Написано до начала мая 1836 г., когда было послано Тютчевым И. С. Гагарину.

«Поток сгустился и тускнеет...» (стр. 110). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1836, т. III, стр. 19. Автограф — на одном листе с предыдущим стихотворением, чем и определяется его датировка.

«Там, где горы, убегая...» (стр. 111).— Печатается по списку с поправками Тютчева в альбоме *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1837, т. VI, стр. 393—394. Автограф *ЦГАЛИ*, соответствующий тексту *С*, был послан Тютчевым И. С. Гагарину в начале мая 1836 г.

«Над виноградными холмами...» (стр. 113).— Печа-

тается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1837, т. VI, стр. 398. В *Изд. 1854 г.*, стр. 41, после текста помета: «Ротенбург». Датируется не позднее апреля 1836 г., так как в начале мая было послано И. С. Гагарину.

«Сижу задумчив и один...» (стр. 114).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 132. Датируется на тех же основаниях, что и стихотворение «Над виноградными холмами...».

«Нет, моего к тебе пристрастья...» (стр. 116).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 135. Датируется на тех же основаниях, что и стихотворение «Над виноградными холмами...».

«Зима недаром злится...» (стр. 117).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 124—125, под заглавием «Весна». Датируется на тех же основаниях, что и стихотворение «Над виноградными холмами...».

«Как сладко дремлет сад темнозеленый...» (стр. 118). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 134, под заглавием «Ночные голоса», соответствующим второму, более раннему автографу (*ЦГАЛИ*). Датируется на тех же основаниях, что и стихотворение «Над виноградными холмами...».

Фонтан (стр. 119). — Печатается по *С*, 1836, т. III, стр. 9, где опубликовано впервые. Написано не позднее апреля 1836 г., так как в начале мая было послано Тютчевым И. С. Гагарину.

«Яркий снег сиял в долине...» (стр. 120).— Печатается по *С*, 1836, т. III, стр. 17, где опубликовано впервые. Датируется на тех же основаниях, что и стихотворение «Фонтан».

«Не то, что мните вы, природа...» (стр. 121).— Печатается по списку (с поправками рукой Тютчева) в *СТ* с восстановлением по первопечатному тексту точек, обозначающих пропуск запрещенных цензурой и не дошедших до нас 2 и 4 строф (см. «Временник Пушкинского Дома», П., 1914, стр. 14; Пушкин, Полн. собр. соч., т. 16, изд-во АН СССР, 1949, стр. 144). Впервые — в *С*, 1836, т. III, стр. 21—22.

В *С* последняя строфа напечатана в такой редакции:

Не их вина: пойми, коль можешь,
Органа жизнь, глухонемой!
Души его, ах, не встревожит
И голос матери самой!..

Можно думать, что рифма «можешь» — «встревожит» возникла в результате ошибки переписчика, введенного в заблуждение сходством в начертании букв «тъ» и «шь» в рукописях поэта. Приведя стихотворе-

ние в своей статье о Тютчеве, Некрасов исправил «можешь» на «может» и изменил третью строку последней строфы: «*Увы! души в нем* не встревожит». С такими разночтениями по сравнению с текстом *С* стихотворение и переписано в *СТ*. Поскольку в этом списке сделан рукой Тютчева ряд мелких поправок, можно считать его полностью авторизованным. Датируется на тех же основаниях, что и стихотворение «Фонтан».

Д. Д. Благой высказывает мысль о том, что «полемическая направленность этого стихотворения... имеет двойной адрес»: с одной стороны, оно имеет в виду теологические, традиционно-церковные представления, подчиняющие законы природы божественной воле, с другой стороны — «вульгарные механистические представления о природе как о голом механизме, бездушной машине» (Тютчев Ф., Стихотворения, «Советский писатель», Л., 1953, стр. 49—52).

«Еще земли печален вид...» (стр. 123).— Печатается по списку *ЦГАЛИ* — рукой И. С. Гагарина, сделанному с не дошедшего до нас автографа. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 126. Датируется на тех же основаниях, что и стихотворение «Фонтан».

«И чувства нет в твоих очах...» (стр. 124).—Печатается по списку *ЦГАЛИ* — рукой И. С. Гагарина, сделанному с не дошедшего до нас автографа. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 126. Датируется на тех же основаниях, что и стихотворение «Фонтан».

«Люблю глаза твои, мой друг...» (стр. 125).— Печатается по списку *МА* — рукой И. С. Гагарина, сделанному с не дошедшего до нас автографа. Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 126. Датируется на тех же основаниях, что и стихотворение «Фонтан».

«Вчера в мечтах обвороженных...» (стр. 126). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, где последняя строфа — в двух вариантах. Первоначальный читается так:

Вдруг животрепетным сияньем
Коснувшись девственных грудей,
Румяным, громким восклицаньем
Раскрыло шелк твоих очей!

(см. факсимиле). Впервые — в *РА*, 1879, вып. 5, стр. 133—134. Стихотворение, повидимому, написано в первые месяцы (не позднее апреля) 1836 г.: его тема и образы почти несомненно навеяны стихотворением В. Г. Бенедиктова «Три вида», с произведениями которого Тютчев в это время впервые познакомился; автограф послан поэтом И. С. Гагарину в начале мая 1836 г.

29-ое января 1837 («Из чьей руки свинец смертельный...»— стр. 128). — Печатается по автографу *ПД*. Впервые — в журнале-газете «Гражданин», 1875, № 2, стр. 38, с подзаголовком «На смерть Пушкина».

1-ое декабря 1837 («Так здесь-то суждено нам было...» — стр. 129). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1838, т. IX, стр. 138, с ошибочным заглавием: «1 декабря 1827». В автографе после текста помета на итальянском языке: «Генуя». Заглавие стихотворения, повидимому, является и датой его написания.

Вызвано свиданием в Генуе с Э. Дёрнберг, впоследствии второй женой поэта.

Итальянская villa (стр. 130). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1838, т. X, стр. 184—185. Датируется декабрем 1837 г. по списку альбома Э. Ф. Тютчевой *(ЦГАЛИ)*.

Стихотворение относится ко времени пребывания Тютчева и Э. Дёрнберг в Генуе.

«Давно ль, давно ль, о Юг блаженный...» (стр. 132). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые—в *С*, 1838, т. IX, стр. 131—132. Написано в декабре 1837 г., по возвращении из Генуи в Турин, где в то время Тютчев служил при русской дипломатической миссии.

Киприда светлая всплыла... — По мифологическому сказанию о рождении богини любви и красоты Киприды (Афродиты, Венеры), она вышла из морской пены у берегов острова Кипра.

«С какою негою, с какой тоской влюбленной...» (стр. 134).—Печатается по *С*, 1840, т. XX, стр. 299, где опубликовано впервые. Заглавие «С какою негою», под которым стихотворение помещено в *С*, не сохраняется, как не характерное для Тютчева и, очевидно, принадлежащее редакции.

Д. Д. Благой полагает, что стихотворение посвящено первой жене поэта (см. Тютчев Ф., Стихотворения, «Советский писатель», Л., 1953, стр. 360). Однако гораздо вероятнее, что оно обращено к. Э. Дёрнберг и написано после разлуки с нею в Генуе в конце 1837 г.; Тютчев, как явствует из стихотворения «1-ое декабря 1837», думал, что расстается с ней навсегда.

«Смотри, как запад разгорелся...» (стр. 135).— Печатается по *С*, 1838, т. XI, стр. 181, где опубликовано впервые. Перед текстом повторена в качестве заглавия первая строка стихотворения. Это заглавие, как не характерное для Тютчева, не сохраняется. Датируется не позднее первых месяцев 1838 г. (ценз. разреш. *С*—1 июля 1838 г.).

В этом стихотворении, по всей вероятности, символически изображены отношения между Западной и Восточной Европой.

Арфа скальда (стр. 136). — Печатается по *С*, 1838, т. XII, стр. 91, где опубликовано впервые. Написано не позднее середины 1838г. (ценз. разреш. *С* — 1 октября 1838 г.).

В е с н а (стр. 137). — Печатается по *С*, 1839, т. XIII, стр. 169—170, где опубликовано впервые. Написано не позднее 1838 г. (ценз. разреш. *С* — 21 декабря 1838 г.).

Л. Н. Толстой цитирует эти стихи в письме к. А. А. Толстой от 1 мая 1858 г.: «Я, должен признаться, угорел немножко от весны и в одиночестве. Желаю вам того же от души. Бывают минуты счастия сильнее этих; но нет полнее, гармоничнее этого счастья.

И ринься бодрый, самовластный
В сей животворный океан.

Тютчева «Весна», которую я всегда забываю зимой и весной невольно твержу от строчки до строчки» (Т о л с т о й Л. Н., Полн. собр. соч., т. 60, М., 1949, стр. 265).

Д е н ь и н о ч ь (стр. 139). — Печатается по *С*, 1839, т. XIV, стр. 145, где помещено впервые. Написано не позднее начала 1839 г. (ценз. разреш. *С* — 23 марта 1839 г.).

«Н е в е р ь, н е в е р ь п о э т у, д е в а...» (стр. 140). — Печатается по *С*, 1839, т. XIV, стр. 154—155, где помещено впервые. В *С* озаглавлено: «Не верь, не верь поэту!». Это заглавие, очевидно, принадлежит редакции журнала, а потому нами не сохраняется. Написано не позднее начала 1839 г. (ценз. разреш. *С* — 23 марта 1839 г.).

«Ж и в ы м с о ч у в с т в и е м п р и в е т а...» (стр. 141). — Печатается по *Изд. 1868 г.*, LX. Впервые — в *РБ*, 1858, ч. II, кн. 10, стр. 5—6. В *ЦГАЛИ* имеется автограф, относящийся к 1857 г., с небольшими разночтениями и пометой: «Мюнхен. 1840».

Обращено к вел. кн. Марии Николаевне, с которой Тютчев встречался осенью 1840 г. за границей, в местечке Тегернзее близ Мюнхена. В Мюнхен Тютчев вернулся в октябре, что позволяет уточнить время написания стихотворения.

Пускай служить он не умеет... — намек на неприятности по службе в связи с самовольным отъездом поэта из Турина в 1839 г.

К Г а н к е (стр. 142). — Печатается по *Изд. 1868 г.*, LXI. Впервые — в *РБ*, 1858, ч. IV, кн. 12, стр. 1—2. В автографе Национального музея в Праге перед текстом дата: «Прага. 26 августа (6 сентября) 1841».

Написано в альбом чешского писателя Вацлава Ганки, с которым Тютчев познакомился в бытность свою в Праге в 1841 г. Встреча с Ганкой углубила интерес Тютчева к культуре славянских стран и к их историческим судьбам. В 1867 г., в дни славянского съезда в России, Тютчев напечатал это стихотворение в несколько переработанной редакции (автограф ее имеется в *ЦГАЛИ*), обусловленной в значительной

степени временными и местными причинами (так, напр., в строке двадцать второй он заменил слово «здесь» словом«там»),и сделал к нему следующую «приписку»:

Так взывал я, так гласил я.
Тридцать лет с тех пор ушло —
Все упорнее усилия,
Все назойливее зло.
Ты, стоящий днесь пред богом,
Правды муж, святая тень,
Будь вся жизнь твоя залогом,
Что придет желанный день.
За твое же постоянство
В нескончаемой борьбе
Первый праздник *всеславянства*
Приношеньем будь тебе!..

«Глядел я, стоя над Невой...» (стр. 144).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, имеющему перед текстом помету на французском языке: «С. Петербург. 21 ноября 1844». Впервые — в *С*, 1854, т. XLIV, стр. 26 (*Изд. 1854 г.*, стр. 52), с неверной датой: «12 ноября 1844 года» в заглавии.

Колумб (стр. 145).— Печатается по списку *СТ*. Впервые — в *С*, 1854 г., т. XLIV, стр. 39 (*Изд. 1854 г.*, стр. 79). В *ЦГАЛИ* имеется более ранний автограф, с разночтениями и пометой перед текстом: «1844».

Стихотворение развивает мысль, выраженную в заключительных строках стихотворения Шиллера «Columbus» («Колумб»): «С гением природа в вечном союзе, — что один обещает, сдержит наверно другая».

Море и утес (стр. 146).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — отрывок (последняя строфа) — в газете «Русский инвалид» от 7 сентября 1848 г., полностью — в *М*, 1851, ч. III, № 11, стр. 238. В автографе имеется дата-подзаголовок (рукой Э. Ф. Тютчевой, жены поэта): «в 1848 году».

Образы этого стихотворения восходят к напечатанному тогда же стихотворению В. А. Жуковского «Русскому великану»: море символизирует революционные события 1848 г. на Западе, утес — царскую Россию (см. Благой Д. Д., Три века, М., 1933, стр. 217—220). Однако у Жуковского политическая аллегория более обнажена, тогда как поэтическая сила стихов Тютчева значительно шире заключенных в них политических символов. Л. Н. Толстой в принадлежавшем ему экземпляре сочинений Тютчева отметил «Море и утес» буквами «Т. К.», что означает «Тютчев (т. е. своеобразие), красота» (см. «Толстовский ежегодник», М., 1912, стр. 146). По замечанию И. С. Аксакова, «относительно стремительности, силы, красивости стиха и богатства созвучий у Тютчева нет другого подобного стихотворения» (*А*, *1886 г.*, стр. 118).

«Еще томлюсь тоской желаний...» (стр. 148.—Печатается по автографу *АБ*, датированному 1848 г. (помета рукой Э. Ф. Тютчевой). Впервые — в *М*, 1850, ч. II, № 8, стр. 288.

Посвящено памяти первой жены поэта, Элеоноры Тютчевой. В письме к родителям от 15 апреля 1837 г. Тютчев писал о ней: «...никогда человек не был столь любим, сколь я любим ею» (*ЦГАЛИ*). Воспоминанию об умершей жене посвящено также стихотворение «В часы, когда бывает...» (1858).

«Как он любил родные ели...» (стр. 149).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *Изд. 1886 г.*, стр. 41, под заглавием «О Ламартине». Датируется 1848 г. по списку *АБ*.

К творчеству А. Ламартина Тютчев проявлял интерес еще в молодости (см. его перевод элегии Ламартина «Одиночество»). В 1848 г., будучи министром иностранных дел временного французского правительства, Ламартин в речи, обращенной к савойским депутатам Национального собрания, упоминал о том, что сам провел свою юность в горах Савойи и там впитал «родной дух поэзии». Это, повидимому, и послужило Тютчеву поводом для написания его стихотворения (см. Сурина Н., Тютчев и Ламартин.— «Поэтика», III, Л., 1927, стр. 164).

Приблизительно к тому же времени относится еще одно стихотворение Тютчева о Ламартине, написанное на французском языке: «Lamartine» (*Изд. 1939 г.*, стр. 230).

«Неохотно и несмело...» (стр. 150).— Печатается по автографу *АБ*. Впервые — в журнале «Киевлянин», 1850, кн. III, стр. 192, под заглавием «Гроза». В автографе *ЦГАЛИ* датировано: «6 июня 1849 г.»; в автографе *АБ* перед текстом помета, в скобках: «Гроза, доро́гой».

«Итак, опять увиделся я с вами...» (стр. 151).— Печатается по автографу *АБ*. Впервые — в *М*, 1850, ч. II, № 8, стр. 288. В автографе *ЦГАЛИ* (с небольшими разночтениями) датировано: «13 июня 1849. Овстуг».

Написано в связи с посещением родовой усадьбы Тютчевых села Овстуг в Брянском уезде Орловской губернии. По своему настроению стихотворение близко к письмам поэта, относящимся к его пребыванию в Овстуге в 1846 г. (см. стр. 391).

Не в эту землю я сложил...— Тютчев вспоминает о своей первой жене, похороненной на сельском кладбище около Турина.

«Тихой ночью, поздним летом...» (стр. 152).— Печатается по автографу *АБ*, датированному: «23 июля 1849». Впервые— в *М*, 1850 , ч. II, № 8, стр. 290.

«Когда в кругу убийственных забот...» (стр. 153).— Печатается по автографу *АБ*. Впервые — в *М*, 1850, ч. II, № 8,

стр. 289. В автографе *ЦГАЛИ* (с небольшими разночтениями) датировано: «22 сентября 1849 г.».

«По равнине вод лазурной...» (стр. 154).—Печатается по автографу *АБ*. Впервые — в *М*, 1850, ч. II, № 7, стр. 164, под заглавием «Плавание». В автографе *АБ* перед текстом помета: «29 ноября/11 декабря», в *Изд. 1900 г.* проставлен год: 1849.

«Слезы людские, о слезы людские...» (стр. 155). — Печатается по автографу *АБ*. Впервые — в *М*, 1850, ч. II, № 8, стр. 290. В *Изд. 1854 г.* озаглавлено: «Слезы». Автограф *ЦГАЛИ* — на одном листе со стихотворением «Когда в кругу убийственных забот...», что дает основание датировать стихи не позднее осени 1849 г.

О том, как сложилось это стихотворение, рассказывает И. С. Аксаков: «...однажды, в осенний дождливый вечер, возвратясь домой на извозчичьих дрожках, почти весь промокший, он сказал встретившей его дочери: j'ai fait quelques rîmes (я сочинил несколько стихов — *К. П.*), и пока его раздевали, продиктовал ей следующее прелестное стихотворение: «Слезы людские, о слезы людские...» и т. д. (*А, 1886*, стр. 84—85).

Близнецы (стр. 156). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *Изд. 1886 г.*, стр. 145—146. Написано не ранее конца сороковых годов (судя по почерку автографа) и не позднее начала 1852 г. (имеется список в основной части *СТ*). Впоследствии, в 1857 г., Тютчев вписал это стихотворение в альбом Н. В. Гербеля (*ПБЛ*) с существенными разночтениями 2—4 строф.:

Есть два другие близнеца—
Две тоже демонские власти —
И нет неодолимей страсти,
Им покоряющей сердца...

Одолевают нас они
Своей неразрешимой тайной —
Союз их кровный — не случайный,
Даны им роковые дни.

И кто ж — когда бунтует кровь
В поре всесильных увлечений,
Не ведал ваших искушений,
Самоубийство и Любовь!..

Запись эта, возможно, сделана по памяти, и текст ее в художественном отношении явно уступает общеизвестной редакции, что не позволяет предпочесть автограф *ПБЛ* автографу *ЦГАЛИ*.

Наполеон (стр. 157).— Печатается по списку *СТ* с уточнениями по автографу *АБ*. Впервые—в *М*, 1850, ч. II, № 7, стр. 162—163. Этот стихотворный цикл создавался на протяжении ряда лет. В виде само-

стоятельного восьмистишия дошли до нас в автографе *ЦГАЛИ* строки 6—13 (с незначительными отличиями от окончательного текста). Они навеяны характеристикой Наполеона в публицистических очерках Г. Гейне «Französische Zustände» («Французские дела»): по словам Гейне, Наполеон был гением, «у которого в голове гнездились орлы вдохновения, между тем как в сердце извивались змеи расчета». Это восьмистишие написано не ранее 1832 г. (год выхода в свет книги Гейне) и не позднее первых месяцев 1836 г. (в начале мая оно было послано Тютчевым И. С. Гагарину). Предназначенное к помещению в третий том *С*, оно подверглось цензурному запрету «за неясностью мысли автора, которая может вести к толкам весьма неопределенным» (см. письмо цензора А. Л. Крылова к Пушкину от 28 июля 1836 г.— Пушкин, Полн. собр. соч., т. 16, изд-во АН СССР, 1949, стр. 144; «Временник Пушкинского Дома», П., 1914, стр. 15).

В 1849 г., работая над конспектом задуманного им публицистического труда «Россия и Запад», Тютчев включил в седьмую главу («Россия и Наполеон») стихотворный отрывок, являющийся первоначальным наброском стихов 22—29 (автограф *ЛБ*). Вероятно, тогда же этот отрывок, дополненный восемью строками, был переработан поэтом в самостоятельное стихотворение под заглавием «Нерешенный вопрос» (автограф *ЦГАЛИ*), текст которого почти соответствует 3 части окончательной редакции. Несколько позднее Тютчев объединяет под общим заглавием «Наполеон» вновь написанные пять строк («Сын Революции! ты с матерью ужасной...»), отрывок «Два демона ему служили...», дополнив его восемью строками, которые придали ему религиозно-мистическую окраску, и стихотворение «Нерешенный вопрос» (автографы *ЦГАЛИ* и *АБ*, список *СТ*). Это окончательное оформление стихотворного цикла о Наполеоне состоялось не позднее первых месяцев 1850 г. (ценз. разреш. *М* — 31 марта 1850 г.).

Начальные строки стихотворения перекликаются с заметками Тютчева, относящимися к книге «Россия и Запад»: «Реторика по поводу Наполеона заслонила историческую действительность, смысла которой не поняла и поэзия. Это центавр, который одною половиною своего тела — Революция» (*А*, *1886 г.*, стр. 220).

Да сбудутся ее судьбы!.. — Слова из приказа Наполеона по армии от 22 июня 1812 г.: «Россия увлекаема роком: да свершатся ее судьбы».

Новая загадка. — Слова, сказанные Наполеоном на острове святой Елены:«Через пятьдесят лет Европа будет либо под властью революции, либо под властью казаков».

На родину вернувшийся мертвец... — В 1840 г. останки Наполеона были перевезены с острова святой Елены в Париж.

Поэзия (стр. 159). — Печатается по автографу *МА*. Впервые — в *М*, 1850, ч. II, № 7, стр. 163. Написано не ранее конца сороковых годов, судя по почерку двух сохранившихся автографов этого стихотворения (второй — с небольшим разночтением — *ЦГАЛИ*), и не позднее начала 1850 г. (ценз. разреш. *М* — 31 марта 1850 г.).

«Вновь твои я вижу очи...» (стр. 160).— Печатается по автографу *АБ*. Впервые — в *М*, 1850, ч. II, № 8, стр. 289. Датируется 1849 — началом 1850 гг. (в автографе *ЦГАЛИ* более ранняя запись — под заглавием «Воспоминание» — на одном листе с автографом стихотворения «Неохотно и несмело...»; ценз. разреш. *М* — 14 апреля 1850 г.). К кому обращено стихотворение — не известно.

Киммерийская ночь.— В «Одиссее» Гомера упоминается «печальная область» Киммерия, где царит «ночь безотрадная» (XI, 14—15).

Русской женщине (стр. 161). — Печатается по автографу *АБ*. Впервые — в журнале «Киевлянин», 1850, кн. III, стр. 191, под заглавием «Моей землячке». Датируется не позднее первых месяцев 1850 г. (ценз. разреш. «Киевлянина» — 17 апреля 1850 г.). В *АБ* переписано среди стихотворений 1848 — 1849 гг.

Н. А. Добролюбов цитировал это стихотворение в своей статье Когда же придет настоящий день?», написанной по поводу романа И. С. Тургенева «Накануне». Касаясь судьбы тургеневской героини Елены, Добролюбов замечает: «...Мы рады, что она избегла нашей жизни и не оправдала на себе эти безнадежно-печальные, раздирающие душу предвещания поэта, так постоянно и беспощадно оправдывающиеся над самыми лучшими, избранными натурами в России» (следуют стихи) (Добролюбов Н. А., Собр. соч. в трех томах, т. 3, Гослитиздат, М., 1952, стр. 67).

«Как дымный столп светлеет в вышине!..» (стр. 162). — Печатается по автографу *АБ*. Впервые — в *М*, 1850, ч. II, № 8, стр. 290. Написано не позднее первых месяцев 1850 г. (ценз. разреш. *М* — 14 апреля 1850 г.). В *АБ* переписано среди стихотворений 1848—1849 гг.

«Святая ночь на небосклон взошла...» (стр. 163). — Печатается по автографу *МА*. Впервые — в *М*, 1850, ч. II, № 8, стр. 290. В автографе — зачеркнутое заглавие «Самосознание». К стихотворению приложена записка Тютчева к М. П. Погодину, издателю *М*: «В числе сообщенных вам пьес была одна с пропуском четырех стихов. Вот вам она сполна. Вы меня балуете вашими одобрениями и могли бы опять пристрастить к виршам, но какой может быть прок в гальванизированной лире» («Новый путь», 1903, ноябрь, стр. 15). Первоначальная редакция стихотворения вписана поэтом в *АБ* среди других стихов 1848—1849 гг. Окончательная редакция, дополнительно

посланная Погодину, относится к первым месяцам 1850 г. (ценз. разреш. *М*—14 апреля 1850 г.).

Рим ночью (стр. 164).— Печатается по автографу *ПБЛ*. Впервые — в *М*, 1850, ч. IV, № 13, стр. 3. Имеются еще два автографа — в *ЦГАЛИ* и в собрании И. С. Зильберштейна (второй без заглавия), текст которых соответствует автографу *ПБЛ*. Написано не позднее начала июня 1850 г. (ценз. разреш. *М* — 25 июня 1850 г.).

«Кончен пир, умолкли хоры...» (стр. 165). — Печатается по автографу *ПБЛ*. Впервые — в *М*, 1850, ч. IV, № 13, стр. 4. Написано не позднее начала июня 1850 г. (ценз. разреш. *М* — 25 июня 1850 г.).

«Пошли, господь, свою отраду...» (стр. 166).— Печатается по *С*, 1854, т. XLIV, стр. 33—34 (*Изд. 1854 г.*, стр. 68), где опубликовано впервые, с датой в виде заглавия: «В июле 1850 года». В *ЦГАЛИ* имеется автограф (с разночтениями по сравнению с текстом *С*), датированный: «Июля 1850».

В своей статье «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева» И. С. Тургенев пишет: «...мы предсказываем ему глубокое и теплое сочувствие всех тех, которым дорога русская поэзия, а такие стихотворения, каковы:

Пошли, господь, свою отраду...—

и другие, пройдут из конца в конец Россию и переживут многое в современной литературе, что теперь кажется долговечным и пользуется шумным успехом» (Тургенев И. С., Полн. собр. соч., т. X, М., 1949, стр. 448).

На Неве (стр. 167).— Печатается по *С*, 1854, т. XLIV, май, стр. 13 (*Изд. 1854 г.*, стр. 96), где опубликовано впервые, с датой: «Июль 1850», соответствующей пометам в автографах *ЦГАЛИ* и *АБ* (имеющих разночтения с текстом *С*).

«Как ни дышит полдень знойный...» (стр. 168). — Печатается по *С*, т. XLIV, стр. 34 (*Изд. 1854 г.*, стр. 69), где опубликовано впервые. Датируется летом 1850 г. (автограф *ЦГАЛИ* — на обороте печатного приглашения на обед к гр. Борх, помеченного 3 июля 1850 г; с Е. А. Денисьевой, о которой идет речь в последней строфе, поэт встретился в июле 1850 г.).

«Не рассуждай, не хлопочи!..» (стр. 169).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *М*, 1851, ч. VI, № 22, стр. 220, с заглавием «Совет». Датируется летом 1850 г. (автограф — на одном листе с автографом предыдущего стихотворения).

«Под дыханьем непогоды...» (стр. 170).— Печатается

по *С*, т. XLIV, стр. 31 (*Изд. 1854 г.*, стр. 63), где опубликовано впервые с датой-заглавием: «Август 1850 года». Датируется 12 августа 1850 г. на основании пометы Э. Ф. Тютчевой в автографе *АБ*.

«Обвеян вещею дремотой...» (стр. 171).— Печатается по автографу *АБ*, датированному 15 сентября 1850 г. Впервые — с пропуском строки девятой — в *С*, 1854, т. XLIV, стр. 40 (*Изд. 1854 г.*, стр. 80).

Два голоса (стр. 172). — Печатается по автографу *АБ*. Впервые — в *С*, 1854, т. XLIV, стр. 55—56 (*Изд. 1854 г.*, стр. 134). Датируется 1850 г., так как в *АБ* записано рядом со стихотворением «Обвеян вещею дремотой...».

«О, как убийственно мы любим...» (стр. 173).— Печатается по *С*, 1854, т. XLIV, стр. 37—38 (*Изд. 1854 г.*, стр. 75—76), где опубликовано впервые.

Слова «Год не прошел» дают основание датировать стихи не позднее первых месяцев 1851 г. (стихотворение связано с любовью поэта к Е. А. Денисьевой; Тютчев встретился с нею летом 1850 г.; см. его стихотворение «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...»).

«Смотри, как на речном просторе...» (стр. 175).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *М*, 1851, ч. III, № 11, стр. 238. В автографе строка четвертая первоначально читалась: «Льдина за льдиною плывет», что создавало характерный ритмический перебой; исправление этой строки, вошедшее в печатный текст *М*, сделано рукой П. А. Вяземского. Написано не ранее конца сороковых годов, судя по почерку автографа, и не позднее мая 1851 г., так как появилось в июньской книжке *М*.

Первый лист (стр. 176). — Печатается по сборнику «Раут» на 1852 г., стр. 202, где опубликовано впервые, с датой: «Май 1851».

Наш век (стр. 177). — Печатается по *М*, 1851, ч. IV, № 16, стр. 379, где опубликовано впервые, с ошибочной датой: «Москва, 30 июня 1851». Текст уточнен по автографу *ПД*, датированному: «Москва. 10 июня».

Я верю... — цитата из евангелия (Марк, IX, 24).

Волна и дума (стр. 178).— Печатается по сборнику «Раут» на 1852 г., стр. 202, где опубликовано впервые с датой: «14 июля 1851. Москва».

«Не остывшая от зною...» (стр. 179).—Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в сборнике «Раут» на 1852 г., стр. 201, под заглавием: «Ночь в дороге». В *С*, 1854, т. XLIV, стр. 48—49, озаглавлено: «14 июля, в ночь». 14 июля 1851 г. Тютчев выехал из Москвы в Петербург (в автографе *ЦГАЛИ* помета: «дорогой»).

«В разлуке есть высокое значенье...» (стр. 180).— Печатается по автографу *ЛБ* — в письме Тютчева к жене от 6 августа 1851 г.: «Чувствую, что письма мои самые пошло-грустные. Они ничего не сообщают и несколько напоминают покрытые мелом оконные стекла, сквозь которые ничего не видать и которые существуют лишь для того, чтобы свидетельствовать о разлуке и отсутствии. Вот в чем несчастье быть до такой степени безличным... Это-то и препятствует мне относиться к самому себе достаточно серьезно, чтобы интересоваться мелочами своего существования, коль скоро твое ему не сопутствует. А потому единственное мало-мальски сильное чувство, которое я испытываю, это чувство глухого возмущения тем, что я не могу покинуть самого себя, будучи покинутым тобою... (Следует текст стихов — *К. П.*) Вот плохие вирши, выражающие нечто еще того хуже» (*ЛБ*). Письмо неполностью напечатано в *СН*, кн. 18, 1914, стр. 30). Впервые — в *Изд. 1900*, стр. 190.

«Как весел грохот летних бурь...» (стр. 181). — Печатается по автографу из собрания К. В. Пигарева. Впервые — в *С*, 1854, т. XLIV, стр. 32 (*Изд. 1854 г.*, стр. 65). Датируется 1851 г. по списку *ЦГАЛИ* (альбом Э. Ф. Тютчевой).

Венеция (стр. 182). — Печатается по автографу *ПБЛ*. Впервые—в *С*, 1854, т. XLIV, стр. 30 (*Изд. 1854 г.*, стр. 60—61). Датируется не ранее конца сороковых годов (по почерку двух автографов *ЦГАЛИ*) и не позднее середины 1851 г. (один из автографов — в составе Остафьевского архива Вяземских и, вероятно, был дан Тютчевым П. А. Вяземскому до его отъезда за границу в августе 1851 г.); автограф *ПБЛ* — среди бумаг М. П. Погодина, неоднократно печатавшего в 1850—1851 гг. стихи Тютчева на страницах *М*. В автографе из архива Вяземских перед текстом помета на французском языке:«буримэ о Венеции во вкусе Языкова». Возможно, что слово «буримэ» употреблено здесь не в значении стихов на заданные рифмы, а в том же ироническом по отношению к своим стихам смысле, в каком Тютчев пользовался словом «вирши».

В стихотворении вспоминается обряд «обручения» венецианских дожей с Адриатическим морем, справлявшийся ежегодно до конца XVIII в.

Века три или четыре... — Расцвет Венецианской республики относится к XII—XV вв.

Тень от львиного крыла. — Крылатый лев — эмблема св. Марка, считавшегося покровителем Венеции; колонна, увенчанная этой эмблемой, стоит перед дворцом дожей.

Тяжкая цепь.— С 1814 по 1866 г. Венеция, входившая в Ломбардо-Венецианское королевство, находилась под владычеством Австрии.

«День вечереет, ночь близка...» (стр. 183). — Печатается по *С*, 1854, т. XLIV, май, стр. 13 (*Изд. 1854 г.*, стр. 97), где опубликовано впервые, с датой: «1 ноября 1851».

«Не знаю я, коснется ль благодать...» (стр. 184). — Печатается по автографу из собрания К. В. Пигарева. Впервые — в *РА*, 1892, вып. 4, стр. 536. Датируется 1851 г. на основании свидетельства Э. Ф. Тютчевой в письме к Д. Ф. Тютчевой от 26 мая 1875 г. (собрание К. В. Пигарева). В автографе перед текстом помета на французском языке: «Для вас (чтобы прочесть наедине)».

Посвящено Э. Ф. Тютчевой, второй жене поэта, и написано в первый год его романа с Е. А. Денисьевой. Стихотворение было вложено Тютчевым в принадлежавший жене гербарий, но обнаружено ею только в мае 1875 г., почти через два года после смерти поэта.

Предопределение (стр. 185). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1854, т. XLIV, стр. 40 (*Изд. 1854 г.*, стр. 81). Написано не позднее начала 1852 г., т. к. вошло в основной текст *СТ*.

«Недаром милосердым богом...» (стр. 186). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1854, т. XLIV, стр. 36 (*Изд. 1854 г.*, стр. 133). Автограф *ЦГАЛИ* — на одном листе с автографом предыдущего стихотворения. В списке вошло в основной текст *СТ* и написано не позднее начала 1852 г.

Обращено к одной из дочерей поэта.

«Не говори: меня он, как и прежде, любит...» (стр. 187). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1854, т. XLIV, стр. 36 (*Изд. 1854 г.*, стр. 72). Датируется 1851 — началом 1852 г., так как вошло в списке в основной текст *СТ* и связано с любовью поэта к Е. А. Денисьевой.

«О, не тревожь меня укорой справедливой!..» (стр. 188). — Печатается по *С*, 1854, т. XLIV, стр. 36 (*Изд. 1854 г.*, стр. 73), где опубликовано впервые. Датируется 1851—началом 1852 г. на тех же основаниях, что и предыдущее стихотворение.

«Чему молилась ты с любовью...» (стр. 189). — Печатается по *С*, 1854, т. XLIV, стр. 37 (*Изд. 1854 г.*, стр. 74), где опубликовано впервые.

В списке *СТ* первый стих последней строфы первоначально читался: «Ах, *когда б* живые крылья»; он исправлен Н. В. Сушковым, устранившим метрический перебой (на полях его пометка: «нет меры»). В последней строке первоначально было: «*Безмерной* пошлости...»; слово «Бессмертной» вписано над строкой также рукой Сушкова. Обе поправки вошли в текст *Изд. 1854 г.* Приписывать самому Сушкову вторую поправку нет оснований: варианты, вписанные его рукой не на полях тетради, а над строкой, указывают, повидимому, на то,

что некоторые стихотворения поэта были известны Сушкову в разных редакциях. Датируется 1851—началом 1852 г. на тех же основаниях, что и два предыдущие стихотворения.

«Я очи знал,—о, эти очи!..» (стр. 190).—Печатается по *С*, 1854, т. XLIV, стр. 35 (*Изд. 1854 г.*, стр. 70), где опубликовано впервые. Датируется не позднее начала 1852 г., т. к. список стихотворения имеется в *СТ*.

«Не раз ты слышала признанье...» (стр. 191).—Печатается по автографу *ПД*. Впервые — в сборнике «Звенья», изд-во «Academia», кн. 1, М.—Л., 1932, стр. 86.

Обращено к Е. А. Денисьевой и написано не ранее 20 мая 1851 г., дня рождения старшей дочери Тютчева и Денисьевой — Елены, которую поэт называет в этом стихотворении «безыменным херувимом». Е. П. Казанович, впервые опубликовавшая стихи, считает, что они написаны еще до крещения дочери, а следовательно, не позже первых чисел июня 1851 г.

«Ты, волна моя морская...» (стр. 192).—Печатается по списку с поправками рукой Тютчева в *СТ*. Впервые — в *С*, 1854, т. XLIV, стр. 47—48 (*Изд. 1854 г.*, стр. 94—95), с эпиграфом в качестве заглавия. В *ЦГАЛИ* имеется автограф первоначальной редакции стихотворения. Датируется апрелем 1852 г., по помете в списке *СТ* и автографе.

Памяти В. А. Жуковского (стр. 193). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1854, т. XLIV, стр. 46 (*Изд. 1854 г.*, стр. 91—92), с заглавием «На смерть Жуковского». По свидетельству Тютчева, стихотворение написано им в конце июня (после 24-го) 1852 г., по дороге из Орла в Москву (см. *СН*, кн. 18, 1914, стр. 38).

В. А. Жуковский умер 11 апреля 1852 г. в Баден-Бадене и 29 июня того же года похоронен в Петербурге в Александро-Невской лавре. Тютчев присутствовал на похоронах поэта.

Были Омировы...—перевод «Одиссеи» Гомера. Жуковский читал его Тютчеву во время их встреч в Эмсе в 1847 г. В письме к жене от 17/29 августа 1847 г. из Франкфурта на Майне Тютчев пишет: «...я провел несколько прекрасных мгновений с Жуковским..., занимаясь чтением его «Одиссеи» и с утра до вечера болтая о всевозможных вещах. Его «Одиссея» будет действительно величественным и прекрасным творением, и я обязан ему тем, что вновь обрел давно уже уснувшую во мне способность полного и искреннего приобщения к чисто литературному наслаждению. Он тоже казался весьма удовлетворенным тем сочувствием, которое вызвал во мне его труд, — и был прав, ибо сочувствие мое было искренно» (*СН*, кн. 18, 1914, стр. 24—25).

Лишь сердцем чистые... — цитата из евангелия (Матфей, V, 8).

«Сияет солнце, воды блещут...» (стр. 195).—Печатается по *С*, 1854, т. XLIV, стр. 48 (*Изд. 1854 г.*, стр. 98), где опубликовано впервые. В автографе *ПД* помета: «Каменный Остров. 28 июля». На Каменном Острове Тютчев жил с начала июля до конца сентября 1852 г.

Стихотворение связано с любовью Тютчева к Е. А. Денисьевой.

«Чародейкою Зимою...» (стр. 196).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, датированному 31 декабря 1852 г. Впервые — в *Изд. 1886 г.*, стр. 196. Написано в Овстуге.

Неман (стр. 197). — Печатается по автографу *ЛБ* — в письме Тютчева к жене от 27 сентября 1853 г. (после заглавия помета в скобках: «Проездом через Ковно»). Впервые— в сборнике «Раут» на 1854 г., стр. 163—164, с заглавием «Проездом через Ковно». Написано в первых числах сентября 1853 г., когда Тютчев по пути из-за границы в Петербург останавливался в Ковно (Каунасе), где пробыл два с половиной дня.

В письме к жене, написанном 14 сентября 1853 г. через несколько дней по приезде в Петербург, поэт пишет: «В Ковно единственным развлечением для меня было воспоминание о переходе через Неман армии Наполеона... Я хотел... сообщить тебе стихотворение, внушенное мне скукой моего пребывания в Ковно, но у меня его нет под рукой, — до следующего раза» (*СН*, кн. 18, 1914, стр. 51—52). Посылая стихотворение «Неман» жене, Тютчев писал: «Так как ты еще занимаешься русским языком, то вот тебе нечто для испытания твоих познаний. Это стихи, о которых я тебе говорил, навеянные Неманом. Чтобы их уразуметь, следовало бы прочесть страницу из истории 1812 г. Сегюра, где говорится о переходе через эту реку армии Наполеона, или по крайней мере вспомнить картинки, так часто попадающиеся на постоялых дворах и изображающие это событие» (*СН*, 1914, кн. 18, стр. 54).

...южный демон... — Наполеон был уроженцем острова Корсики.

Последняя любовь (стр. 199). — Печатается по *С*, 1854, т. XLIV, стр. 38—39 (*Изд. 1854 г.*, стр. 77), где опубликовано впервые. Датируется не ранее второй половины 1852 г., ибо отсутствует в *СТ*, и не позднее начала 1854 г., когда И. С. Тургенев приступил к подготовке отдельного издания стихотворений Тютчева.

Лето 1854 (стр. 200). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *Изд. 1868 г.*, CXVIII, без заглавия. В *ЛБ* имеется второй, более ранний автограф — в письме поэта к жене от 11 августа 1854 г. из Петербурга. Написано между 5 и 11 августа 1854 г. и пере-

кликается с письмом поэта к жене от 5 августа 1854 г.: «Какие дни! Какие ночи! Какое чудное лето! Его чувствуешь, дышишь им, проникаешься им и едва веришь этому сам. Что мне кажется особенно чудесным — это продолжительность, невозмутимая продолжительность этих хороших дней, внушающая какое-то доверие, называемое удачею в игре. Уж не отменил ли господь окончательно в нашу пользу дурную погоду?» (*СН*, кн. 19, 1915, стр. 87—88).

«Увы, что нашего незнанья...» (стр. 201). — Печатается по автографу *ЛБ* — в письме поэта к жене от 11 сентября 1854 г. из Петербурга. Впервые — в *Изд. 1868 г.*, CXXV.

«Пламя рдеет, пламя пышет...» (стр. 202).—Печатается по *РС*, 1885, т. XLV, февраль, стр. 433, где опубликовано впервые, с датой: «10 июля 1855 г.» Так же, как и следующее стихотворение, оно было сообщено в редакцию *РС* Я. П. Полонским, получившим их от Ф. Ф. Тютчева, сына поэта.

Обращено к Е. А. Денисьевой.

«Так в жизни есть мгновения...» (стр. 203).—Печатается по *РС*, 1885, т. XLV, февраль, стр. 433, где опубликовано впервые. Датируется предположительно летом 1855 г., как и предыдущее стихотворение.

«Вот от моря и до моря...» (стр. 204).—Печатается по *РБ*, 1857, ч. II, кн. 6, стр. 143—144, где опубликовано впервые, с датой: «13 августа 1855 г.». Написано в Рославле Орловской губернии, на пути из Москвы в Овстуг (помета в списке *АБ*).

Нить железная... — проволока телеграфа.

Кровь... севастопольских вестей. — Стихотворение отражает мрачные предчувствия поэта, вызванные осадой Севастополя.

«Эти бедные селенья...» (стр. 205).— Печатается по *РБ*, 1857, ч. II, кн. 6, стр. 143, где опубликовано впервые, с датой: «13 августа 1855 г.». Написано в Рославле (помета в списке *АБ*).

По прочтении стихотворения Т. Г. Шевченко записал в своем дневнике: «...Я с наслаждением прочитал трехкуплетное стихотворение Ф. И. Тютчева: «Эти бедные селенья» (Шевченко Т., Повне зібрання творів, т. 5, Київ, 1951, стр. 116).

«О вещая душа моя!..» (стр. 206). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, датированному 1855 г. и совпадающему с текстом *РБ*, 1857, ч. II, кн. 6, стр. 144, где опубликовано впервые.

Мария — раскаявшаяся грешница Мария Магдалина, о которой упоминается в евангелии.

1856 («Стоим мы слепо пред Судьбою...» — стр. 207). — Печатается по автографу *ПБЛ* — в альбоме Г. П. Данилевского, с датой: «С. Петербург, 31 декабря 1855». Впервые — с вариантами — в *РА*,

1867, вып. 12, столбец 482. В примечании редактор-издатель *РА* П. И. Бартенев сообщает, что слышал эти стихи «в начале 1855 года... в одном тесном приятельском кружке». Это свидетельство и заглавие «На новый 1855 год», под которым долгое время стихотворение печаталось во всех изданиях произведений Тютчева, начиная с издания 1868 г. и кончая изданием 1923 г., противоречат дате-заглавию в автографе *ПБЛ* и содержанию предпосланной стихотворению записки поэта к Г. П. Данилевскому. «Вы спрашиваете, милый поэт мой, нет ли у меня мысли о наступающем годе?..». Два дошедших до нас списка этого стихотворения — в альбоме Е. Ф. Тютчевой *(ЦГАЛИ)* и в архиве А. В. Никитенко (*ПД*) — соответствуют автографу.

Содержание стихотворения отвечает раздумиям и настроениям Тютчева во время Крымской войны 1853—1856 гг.

Я не с в о е *тебе открою...* — намек на модное в светских кругах того времени увлечение спиритизмом, которому поддался и Тютчев.

«Все, что сберечь мне удалось...» (стр. 208).—Печатается по списку *ЦГАЛИ* — рукой Д. Ф. Тютчевой, датированному 8 апреля 1856 г. Впервые — в *Изд. 1900 г.*, стр. 7.

Обращено к Э. Ф. Тютчевой и написано в день ее рождения.

Н. Ф. Щербине (стр. 209). — Печатается по *РВ*, 1857, т. VII, февраль, кн. 2, стр. 837, где опубликовано впервые, с датой: «Петербург. 4 февраля 1857».

⟨Памяти В. А. Жуковского⟩ («Прекрасный день его на Западе исчез...» — стр. 210). — Печатается по списку в письме Д. Ф. Тютчевой к Е. Ф. Тютчевой от 13 апреля 1857 г. (*МА*). Датируется 11 апреля 1857 г. (пятая годовщина со дня смерти Жуковского).

Четверостишие было написано на форзаце десятого тома «Сочинений В. Жуковского» (Спб. 1857), содержащего его посмертные стихотворения и подаренного Тютчевым дочери Дарье. Экземпляр не сохранился.

«Над этой темною толпой...» (стр. 211).—Печатается по автографу из собрания К. В. Пигарева, датированному 15 августа 1857 г. (помета Э. Ф. Тютчевой). Впервые —в *РБ*, 1858, ч. II, кн. 10, стр. 3. В *ЦГАЛИ* — второй автограф, без разночтений, с датой в скобках перед текстом: «1857». Написано в Овстуге (помета в списке *АБ*).

В первоначальной редакции (список в альбоме Е. Ф. Тютчевой — *ЦГАЛИ*) стихотворение состояло из двух строф, соответствующих первой и третьей строфам окончательного текста; три первые строки второй строфы этой ранней редакции читаются так:

Смрад, безобразье, нищета —
Тут человечество немеет, —
Кто ж это все прикрыть сумеет?

«Есть в осени первоначальной...» (стр. 212).—Печатается по автографу из собрания К. В. Пигарева, датированному 22 августа 1857 г. (помета Э. Ф. Тютчевой). Впервые — в *РБ*, 1858, ч. II, кн. 10, стр. 3. В первоначальной автографической записи *ЦГАЛИ* имеется приписка рукой М. Ф. Тютчевой (на французском языке): «Написано в коляске на третий день нашего путешествия» (из Овстуга в Москву).

«Смотри, как роща зеленеет...» (стр. 213). — Печатается по автографу из собрания К. В. Пигарева. Впервые — в *РБ*, 1858, ч. II, кн. 10, стр. 5. Датируется августом 1857 г. по помете в списке *ЦГАЛИ* (альбом Е. Ф. Тютчевой): «Августа 1857 года, дорогою и в Москве».

«Когда *осьмнадцать лет* твои...» (стр. 214). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, датированному 23 февраля 1858 г. Впервые — в *НС*, стр. 50. Перед текстом в автографе — помета по-французски: «Моей дорогой Мари́ к ее 18-летию от ее отца».

«В часы, когда бывае́т...» (стр. 215). — Печатается по списку *ЦГАЛИ* — рукой И. Ф. Тютчева. Впервые — в *РБ*, 1858, ч. II, кн. 10, стр. 4. Написано не позднее апреля 1858 г. (ценз. разреш. *РБ* — 17 мая 1858 г.).

В другом списке *ЦГАЛИ* (альбом Е. Ф. Тютчевой) указано, что стихотворение посвящено памяти первой жены поэта.

«Она сидела на полу...» (стр. 217).—Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РБ*, 1858, ч. II, кн. 10, стр. 4. Написано не позднее апреля 1858 г. (ценз. разреш. *РБ* — 17 мая 1858 г.).

«Осенней позднею порою...» (стр. 218).—Печатается по автографу *ЛБ*, с датой: «Царское Село. 22-го октября 1858 г.» (помета М. Ф. Тютчевой). Впервые — в *РБ*, 1859, ч. 1, кн. 13, стр. 2—3.

Белокрылые виденья... — белые лебеди.

На возвратном пути (1. «Грустный вид и грустный час...». 2. «Родной ландшафт... Под дымчатым навесом...» — стр. 219).— Печатаются по автографу из собрания К. В. Пигарева — в письме поэта к дочери Д. Ф. Тютчевой (без даты). Впервые — в газете «Наше время» от 17 января 1860 г. В списке *АБ* помета: «Дорогою из Königsberg в Петербург октября 1859». В письме к жене от 24 октября 1859 г. из Берлина Тютчев сообщает, что он в этот день выезжает в Кенигсберг, а оттуда в Петербург (см. *СН*, кн. 21, 1916, стр. 172). Следовательно, стихотворения написаны в последних числах октября 1859 г.

Посылая эти стихи Д. Ф. Тютчевой, поэт писал: «Вот, моя милая дочь, несколько ничтожных вирш, которые послужили мне развлечением от скуки снотворного путешествия и которые я посылаю тебе

вместо длинного письма... Чтобы быть, впрочем, справедливым, я должен тебе сказать, что в настоящую минуту сверкает прекрасное солнце, — правда, не на розовых кустах и апельсиновых деревьях в цвету, а на молодых, свеже распустившихся молодых сосульках».

Леман — Женевское озеро.

Декабрьское утро (стр. 221). — Печатается по журналу-газете «Гражданин», 1872, № 1, стр. 9, где опубликовано впервые. В автографе *ЦГАЛИ* (первоначальная редакция) перед текстом помета: «Декабрь. 8 ч⟨асов⟩ утра». В *Изд. 1900 г.* к этой помете присоединен год: 1859.

Е. Н. Анненковой («И в нашей жизни повседневной...» — стр. 222). — Печатается по списку *ЦГАЛИ* — рукой Д. Ф. Тютчевой. Впервые — в *Изд. 1886 г.*, стр. 232—233. В списке *ЦГАЛИ* датировано 1859 г.

«Хоть я и свил гнездо в долине...» (стр. 223).—Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в газете «День» от 16 декабря 1861 г., стр. 3. В некоторых изданиях (1868, 1886 и 1900 гг.) и списках датировано 10 октября 1861 г. Между тем, судя по содержанию, оно написано в Женеве, где Тютчев был в октябре 1860 г.

На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского (стр. 224). — Печатается по списку *АБ*. Впервые—в более ранней редакции—в газете «Наше время» от 6 марта 1861 г., стр. 141—142, в заметке «Юбилей князя П. А. Вяземского». Написано в конце февраля — начале марта 1861 г. Упоминание об этом стихотворении содержится в письме Д. Ф. Тютчевой к сестре Е. Ф. Тютчевой от 25 февраля 1861 г. Список *ЦГАЛИ* — рукой М. Ф. Тютчевой, дающий первоначальную редакцию пятой и шестой строф, — помечен: «26 февраля».

Прочитано на банкете, устроенном 2 марта 1861 г. Академией наук в честь пятидесятилетия литературной деятельности П. А. Вяземского.

«Я знал ее еще тогда...» (стр. 226).—Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в более ранней редакции, соответствующей второму автографу *ЦГАЛИ*,— в *Изд. 1868 г.*, CXII. Датируется 27 марта 1861 г. по списку *АБ*.

Кого имеет в виду поэт в этом стихотворении, не известно.

Князю П. А. Вяземскому (стр. 227). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в газете «День» от 21 октября 1861 г., стр. 2 (более ранняя редакция, как и в двух других автографах *ЦГАЛИ*). В двух автографах помета: «Петергоф, 12-ое июля». Год устанавливается по содержанию: под «тесным кругом друзей» имеется в виду чествование пятидесятилетия литературной деятельности Вязем-

ского (см. стихотворение «На юбилей князя П. А. Вяземского»). «Юбилей», о котором идет речь в данном стихотворении, — день рождения Вяземского, праздновавшийся 12 июля в Петергофе.

«Играй, покуда над тобою...» (стр. 228).—Печатается по *РА*, 1874, вып. 7, столбцы 221—223, где опубликовано впервые, с датой на французском языке: «Вторник, 25 июля 1861» и пометой: «Сообщено с подлинника Павлом Дмитриевичем Голохвастовым». В *ЦГАЛИ* — автограф первоначальной редакции стихотворения.

При посылке Нового завета (стр. 229). — Печатается по газете «День» от 28 октября 1861 г., стр. 3, где опубликовано впервые.

Обращено к старшей дочери поэта А. Ф. Тютчевой. Под «нелегким жребием» Тютчев подразумевает раннее сиротство (смерть матери) и придворную службу дочери.

«А. А. Фету» (стр. 230). — Печатается по автографу *ПД*. Впервые — в *Изд. 1868 г.*, CXLIII, где тексту стихотворения предшествуют следующие шесть строк:

Тебе сердечный мой поклон
И мой, каков ни есть, портрет, —
И пусть, сочувственный поэт,
Тебе, хоть молча, скажет он,
Как дорог был мне твой привет,
Как им в душе я умилен.

В изд. 1868 г. стихи датированы 1861 г. Как доказал Б. Я. Бухштаб на основании автографов ПД, в тексте данного издания, повторенного всеми последующими изданиями, ошибочно слиты два стихотворения, посланные Тютчевым Фету одновременно и написанные на одном листе (см. Бухштаб Б. Я., Три стихотворные послания Тютчева — «Труды Ленинградского Государственного Библиотечного института имени Н. К. Крупской», т. I, 1956, стр. 235—238). Стихотворение «Тебе сердечный мой поклон...» является ответом на стихотворное обращение Фета с просьбой о присылке ему портрета: «Мой обожаемый поэт...» и датировано: «С. Петербург. 14 апреля 1862». Повидимому, к тому же времени относятся и стихи «Иным достался от природы...». Фет был большим почитателем Тютчева, написал восторженную статью об его поэзии (журнал «Русское слово», 1859, февраль) и посвятил ему, кроме вышеупомянутого, еще три стихотворения: «Прошла весна, темнеет лес...», «Нетленностью божественной одеты...» и «Вот наш патент на благородство...»; последнее написано после смерти Тютчева и озаглавлено «На книжке стихотворений Тютчева».

Н. И. Кролю (стр. 231).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *Изд. 1868 г.*, CL, среди стихов 1863 г.

«Н. С. Акинфиевой» («Как летней иногда порою...»)— стр. 232). — Печатается по списку *ЦГАЛИ* — рукой М. Ф. Тютчевой, с собственноручными поправками поэта. Впервые — в *Изд. 1868 г.*, CXLVIII —CXLIX; напечатано в виде двух самостоятельных стихотворений: первое — строфы 1—5, с заглавием «N. N-ой», второе — строфы 6—9, без заглавия, с датой: «1863 г.». Текст автографа *ЦГАЛИ*, с заглавием «Надежде Сергеевне Акинфиевой», предшествует списку.

В строках 19—21 содержится намек на увлечение А. М. Горчакова Акинфиевой.

«Весь день она лежала в забытьи...» (стр. 234).— Печатается по автографу *ЛБ*. Впервые — в *РВ*, 1865, т. LV, февраль, № 2, стр. 685. Стихотворение посвящено воспоминаниям о последних минутах жизни Е. А. Денисьевой. Оно было послано поэтом из Ниццы А. И. Георгиевскому при письме от 13 декабря 1864 г. (см. выше, стр. 450) вместе с двумя другими стихотворениями, написанными в октябре — декабре этого года («Утихла биза... Легче дышит...» и «О, этот юг! о, эта Ницца!..»).

«Утихла биза... Легче дышит...» (стр. 235).—Печатается по автографу *ЛБ*, датированному: «В Женеве, 11 (23) октября 1864». Впервые — в *РВ*, 1865, т. LV, № 2, февраль, стр. 686.

Биза — местное название северного ветра, дующего на Женевском озере.

Белая гора — Монблан.

Одной могилой меньше было. — Имеется в виду могила Е. А. Денисьевой на Волковом кладбище в Петербурге.

«Как неразгаданная тайна...» (стр. 236).—Печатается по *Изд. 1868 г.*, CLIV, где опубликовано впервые, с датой: «Ницца, 3-е ноября 1864».

Посвящено императрице Марии Александровне.

«О, этот юг! о, эта Ницца!..» (стр. 237). Печатается по автографу *ЛБ*, с пометой: «Ницца, декабря». Впервые — в *РВ*, 1865, т. LV, февраль, № 2, стр. 686. В списке *АБ* датировано: «Ницца, 21-ого ноября 64 г.». Текст списка имеет ряд отличий от автографа. Повидимому, перед отсылкой стихов А. И. Георгиевскому (см. выше, стр. 450, письмо к нему от 13 декабря 1864 г.) Тютчев правил их.

Стихотворение отражает состояние, в котором находился поэт после смерти Е. А. Денисьевой. В письме к дочери А. Ф. Тютчевой от 29 марта 1865 г. из Парижа поэт вспоминает о незадолго до того

покинутой им Ницце: «Упрекаю себя за неприязнь и чувство злопамятства, которые я сохранил к этой бедной местности, — столь, впрочем, приветливой, — которая (увы! я это чувствую) в прежнее время и при других условиях улыбалась бы мне так же, как и многим другим... Но в долгие часы, проведенные там наедине с самим собой, вся горечь коих ведома одному богу, я до того пропитал ее собою, что тем самым как бы отравил ее. Странную роль сыграла Италия в моей жизни... Дважды являлась она передо мной, как роковое видение, после двух самых великих скорбей, какие мне суждено было испытать... Есть страны, где носят траур ярких цветов. Повидимому, это мой удел...» (*ЦГАЛИ*). Первой «великой скорбью», о которой упоминает Тютчев в этом письме, была смерть его первой жены.

Encyclica (стр. 238). — Печатается по газете «День» от 9 января 1865 г., стр. 32, где опубликовано впервые. В списке *АБ* датировано: «Ницца, 21-ого декабря 64 г.».

Написано в ответ на обнародованную 26 ноября 1864 г. энциклику папы Пия IX, осуждавшую в числе разных «заблуждений века» свободу совести. В первой строфе Тютчев вспоминает разрушение иерусалимского храма римлянами в 70 г.

«Как хорошо ты, о море ночное...» (стр. 239). — Печатается по автографу *ЛБ*, датированному: «Ницца, 2/14 января 1865» и посланному Тютчевым в редакцию *РВ* с письмом: «Прилагаемая пьеса была напечатана без моего ведома, в самом безобразном виде, в 4-м № «Дня»... Я, бог свидетель, нисколько не дорожу своими стихами, — теперь менее, нежели когда-нибудь, — но не вижу и необходимости брать на свою ответственность стихов, мне не принадлежащих» (текст по-русски). Впервые — в ранней редакции — в газете «День» от 23 января 1865 г., стр. 76; полностью — в *РВ*, 1865, т. LV, № 2, февраль, стр. 687. В *ЦГАЛИ* имеются четыре автографа, из которых три дают ранние редакции стихотворения, помеченные той же датой.

«Когда на то нет божьего согласия...» (стр. 240). — Печатается по автографу из собрания К. В. Пигарева. Впервые — в *Изд. 1868 г.*, CLXI. В автографе перед текстом помета на французском языке: «Из Ниццы в Сими, 11/23 января 1865». После текста приписка, обращенная к Д. Ф. Тютчевой: «Моя милая дочь, храни это на память о нашей вчерашней прогулке и разговоре, но не показывай никому... Пусть это будет иметь значение лишь для нас двоих... Обнимаю и благословляю тебя от всего сердца. Ф. Т.». Повидимому, стихотворение написано на следующий день, т. е. 12 января 1865 г. Обстоятельства, вызвавшие эти стихи, не ясны.

«Есть и в моем страдальческом застое...» (стр. 241). — Печатается по журналу «Исторический вестник», 1903, т. XCIII, июль, стр. 203, где впервые опубликовано полностью (в статье Ф. Ф. Тютчева «Федор Иванович Тютчев. Материалы к его биографии»). Отрывки ранее напечатаны в *РА*, 1874, вып. 10, столбец 377, и в романе Ф. Ф. Тютчева «На границе» («Свет», 1893, № 175, стр. 2). В «Историческом вестнике» озаглавлено: «По возвращении из Ниццы в 1865 г.». В списке рукой И. С. Аксакова (собрание К. В. Пигарева) имеется помета: «1865 г. Март. Петербург». Тютчев вернулся в Петербург из Ниццы 26 марта.

Посвящено воспоминанию об Е. А. Денисьевой.

⟨Памяти М. В. Ломоносова⟩ («Он, умирая, сомневался...» — стр. 243). — Печатается по автографу Архива внешней политики России, посланному Тютчевым А. М. Горчакову при письме от 11 апреля 1865 г. Впервые — в более ранней редакции — в ежемесячнике «Ипокрена», 1917, октябрь, стр. 5. Автографы первоначальных редакций имеются в *ПД* и *ПБЛ*. Написано в первых числах апреля 1865 г. в связи с исполнившейся 4 апреля столетней годовщиной со дня смерти Ломоносова. Накануне этого дня Тютчев послал А. Н. Майкову первоначальную редакцию этого стихотворения с запиской: «Вот вам, друг мой, Аполлон Николаевич, несколько бедных рифм для вашего праздника, в теперешнем моем расположении не могу больше. Весь ваш Тютчев» (текст по-русски — *ПД*).

Зловещей думою томим... — Умирающий Ломоносов высказывал опасение, что его «полезные намерения» исчезнут вместе с ним.

Борец ветхозаветный... — Иаков, один из древнееврейских патриархов; по библейскому сказанию, с ним однажды «боролся некто до появления зари», и только на рассвете Иаков понял, что боролся с богом («Библия» — «Бытие», XXXII, 24—32).

«Певучесть есть в морских волнах...» (стр. 244).— Печатается по списку *АБ*, датированному 11 мая 1865 г. Впервые— в *РВ*, 1865, т. LVIII, август, стр. 432, с четвертой строфой:

И от земли до крайних звезд
Все безответен и поныне
Глас вопиющего в пустыне,
Души отчаянной протест?

Эпиграф заимствован у Авзония (Decimi Magni Ausonii Burdigalensis Opuscula, Lipsiae, 1886, p. 285).

Мусикийский (слав.) — музыкальный.

Мыслящий тростник — образ, принадлежащий французскому мыслителю Б. Паскалю: «Человек не более, как самая слабая тро-

стинка в природе, но это — тростинка мыслящая» («Pensées» — «Мысли»).

Глас вопиющего в пустыне — цитата из библии («Книга Исайи», XI, 3).

Другу моему Я. П. Полонскому (стр. 245). — Печатается по автографу из частного собрания, датированному 30 мая 1865 г. Впервые — в «Сочинениях Я. П. Полонского», изд. М. О. Вольфа, 1869, примечания, стр. II.

Четверостишие написано в ответ на стихотворение Полонского «Ф. И. Тютчеву» («Ночной костер зимой у перелеска...»).

«Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...» (стр. 246). — Печатается по журналу «Исторический вестник», 1903, т. XCIII, июль, стр. 202, где опубликовано впервые (в статье Ф. Ф. Тютчева «Федор Иванович Тютчев. Материалы к его биографии») с датой-заглавием: «15 июля 1865 г.».

К кому обращено, не известно. Возможно, что «друг» — А. И. Георгиевский, муж сестры Е. А. Денисьевой.

«Молчит сомнительно Восток...» (стр. 247). — Печатается по *РВ*, 1865, т. LVIII, июль, стр. 111, где опубликовано впервые, с датой: «Москва, 29-го июля 1865». В списке *АБ* и *Изд. 1868 г.* озаглавлено: «Восход солнца» и датировано 25 июля 1865 г.

По поводу этих стихов И. С. Аксаков пишет: «Здесь под образом восходящего солнца подразумевается пробуждение Востока... однако образ сам по себе так самостоятельно хорош, что очевидно, если не перевесил аллегорию в душе поэта, то не подчинился ей, а вылился свободно и независимо» (*А*, *1886 г.*, стр. 118).

Накануне годовщины 4 августа 1864 г. (стр. 248). — Печатается по журналу «Исторический вестник», 1903, т. XCIII, июль, стр. 202, где опубликовано впервые (в статье Ф.Ф. Тютчева «Федор Иванович Тютчев. Материалы к его биографии»). Написано 3 августа 1865 г., накануне годовщины смерти Е. А. Денисьевой.

«Как неожиданно и ярко...» (стр. 249). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в газете «День» от 25 сентября 1865 г., стр. 780. Датируется 5 августа 1865 г. по списку *АБ*. Написано в Рославле.

В принадлежавшем Л. Н. Толстому экземпляре стихотворений Тютчева это стихотворение отмечено буквой «Т» («Тютчев», т. е. своеобразие) и четырьмя восклицательными знаками. Строка «И в высоте изнемогла» особо подчеркнута. На выражении «изнемогла» останавливается в своем критическом обзоре поэзии Тютчева и И. С. Аксаков, говоря, что «нельзя лучше выразить этот внешний процесс

постепенного таяния, ослабления, исчезновения радуги» (*А*, *1886 г.*, стр. 96).

«Ночное небо так угрюмо...» (стр. 250).—Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, помеченному: «18 августа, дорогой». Впервые — в газете «День» от 25 сентября 1865 г., стр. 781. В списке *АБ* датировано: «Овстуг, 18 августа 1865».

«Нет дня, чтобы душа не ныла...» (стр. 251). — Печатается по журналу «Исторический вестник», 1903, т. XCIII, июль, стр. 202, где опубликовано впервые (в статье Ф. Ф. Тютчева «Федор Иванович Тютчев. Материалы к его биографии»), с датой-заглавием «23-го ноября 1865 г.»

«Как ни бесилося злоречье...» (стр. 252). — Печатается по *РА*, 1874, вып. 12, столбец 1124, где опубликовано впервые. Датируется 21 декабря 1865 г. по списку *ЦГАЛИ* (архив Вяземских).

Повидимому, стихотворение вызвано толками о разводе Н. С. Акинфиевой с ее первым мужем В. Н. Акинфиевым.

«И в божьем мире то ж бывает...» (стр. 253). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, помеченному: «Середа, 11-ое мая». Впервые — в *Изд. 1868 г.*, CLXIX. В списках *АБ* и *ЦГАЛИ* — рукой Э. Ф. Тютчевой — датировано 11 мая 1866 г..

Вызвано опубликованным в «Северной почте» от 11 мая 1866 г. распоряжением министра внутренних дел о приостановке газеты «Московские ведомости», к редакции которой Тютчев в эти годы был близок (см. Бухштаб Б. Я., Три стихотворные послания Тютчева — «Труды Ленинградского Государственного Библиотечного института имени Н. К. Крупской», т. I, 1956, стр. 238—240).

«Тихо в озере струится...» (стр. 254).—Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, датированному 1866 г. (помета рукой М. Ф. Бирилевой). Впервые — в *Изд. 1868 г.*, CLXVII, с пометой: «Царское Село 1866 г.». В письме к жене от 31 июля 1866 г. из Царского Села Тютчев пишет: «В течение нескольких дней стоит довольно хорошая погода, и когда солнце пригревает и небо ясно, царскосельские сады в самом деле очень красивы. Чувствуешь себя погруженным в более изысканную стихию: это прелестно и величественно в одно и то же время» (*СН*, кн. 21, 1916, стр. 230).

«Когда дряхлеющие силы...» (стр. 255). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — с заглавием: «Еще князю П. А. Вяземскому» — в *Изд. 1868 г.*, откуда вырезано по требованию автора; вторично — с неточным порядком строф — в *Изд. 1886 г.*, стр. 291—292. В списке *АБ* помечено сентябрем 1866 г. Послано

Тютчевым А. И. Георгиевскому при письме от 3 сентября 1866 г. (*ЦГАЛИ*).

Поводом к написанию этого стихотворения послужили стихи П. А. Вяземского «Воспоминания из Буало» и «Хлестаков», высмеивавшие редактора реакционных периодических изданий «Русский вестник» и «Московские ведомости» М. Н. Каткова; но смысл стихотворения гораздо шире. Характеристику Вяземского, данную в этом стихотворении, любопытно сопоставить с письмом Тютчева к дочери Е. Ф. Тютчевой от 3 января 1869 г. (см. стр. 469).

«Умом Россию не понять...» (стр. 256). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые—в *Изд. 1868 г.*, CLXXIII, с датой: «28 ноября 1866 г.».

«Ты долго ль будешь за туманом...» (стр. 257).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, датированному 20 декабря 1866 г. (помета рукой М. Ф. Бирилевой). Впервые—в *Изд. 1868 г.*, CLXXVI, с той же датой. В двух списках *ЦГАЛИ* иная дата: «18 декабря 1866 г.».

Написано по поводу восстания славянского населения острова Крита против турецкого владычества. Тютчев надеялся, что Россия окажет критянам поддержку. Предпринятое русским правительством дипломатическое вмешательство реального значения не имело.

«Как этого посмертного альбома...» (стр. 258).— Печатается по списку *ЦГАЛИ* — рукой М. Ф. Бирилевой, датированному 1 марта 1866 г. Впервые — в *Изд. 1868 г.*, CLXXVIII, под заглавием «Графине А. Д. Блудовой при получении от нее книги с заметками гр. Д. Н. Б.».

Посмертный альбом — книга «Мысли и замечания гр. Д. Н. Блудова» (Спб. 1866).

Дым (стр. 259). — Печатается по «Отечественным запискам», 1867, т. CLXXII, май, кн. 1, стр. 181—182, где опубликовано впервые, после статьи Н. Н. Страхова «Новая повесть Тургенева». Первоначальные редакции стихотворения представлены автографом *ЦГАЛИ* и списком *АБ*, датированными 26 апреля 1867 г. Окончательная редакция датируется не позднее начала мая (ценз. разреш. «Отечественных записок» — 12 мая 1867 г.).

Написано в связи с появлением в мартовской книжке «Русского вестника» за 1867 г. романа И. С. Тургенева «Дым». 23 апреля 1867 г. В. П. Боткин писал Тургеневу: «Дым» еще читается, и мнение о нем не успело еще составиться. Вчера я был у Ф. И. Тютчева, — он только что прочел и очень недоволен. Признавая все мастерство, с каким нарисована главная фигура, — он горько жалуется на нравственное настроение, проникающее повесть, и на всякое отсутствие национального чувства» (Боткин В. П. и Тургенев И. С.,

Неизданная переписка, М. — Л., 1930, стр. 264). К тому же времени относится эпиграмма Тютчева, напечатанная в газете «Голос» от 22 июня 1867 г.:

«И дым отечества нам сладок и приятен!»
Так поэтически век прошлый говорит:
А в наш — и сам талант все ищет в солнце пятен,
И смрадным дымом он отечество коптит!

Под «могучим и прекрасным» «волшебным лесом» Тютчев разумеет творчество Тургенева конца сороковых—пятидесятых годов, вызвавшее восторженную оценку поэта (см. вступительную статью).

Славянам («Они кричат, они грозятся...» — стр. 261). — Печатается по автографу из собрания К. В. Пигарева — в письме Тютчева к И. С. Аксакову от 16 мая 1867 г.: «Вот вам, любезнейший Иван Сергеич, окончательное издание этих довольно ничтожных стихов, уже, вероятно, сообщенных вам Ю. Ф. Самариным. Не смейтесь над этою ребячески-отеческою заботливостью рифмотворца об окончательном округлении своего пустозвонного безделья» (текст по-русски). Впервые — в брошюре «Братьям-славянам», М., май 1867 г.», стр. 60—62, под заглавием «Австрийским славянам». Первоначальная редакция в автографе *ЦГАЛИ* датирована 11 мая 1867 г. Стихотворение было прочитано 21 мая 1867 г. на банкете, данном Москвой в честь прибывших на Этнографическую выставку славянских гостей.

Эпиграф — слова австрийского министра иностранных дел графа фон Бейста, проводившего политику подавления славянских народностей Австро-Венгрии.

«Как ни тяжел последний час...» (стр. 263).—Печатается по тексту, помещенному впервые в книге «Сочинения гр. П. И. Капниста», т. I, М., 1901, стр. CXXXIV. Написано во время заседания Совета Главного управления по делам печати 14 октября 1867 г. Писатель граф П. И. Капнист, присутствовавший также на этом заседании, заметил, что Тютчев «был весьма рассеян и что-то рисовал или писал карандашом на листе бумаги, лежавшей перед ним на столе. После заседания он ушел в раздумье, оставив бумагу». Капнист прочел написанное на забытом листе шестистишие «Как ни тяжел последний час...». Он взял автограф и сохранил его «на память о любимом им поэте» («Сочинения гр. П. И. Капниста», т. I, стр. CXXXIV).

«Свершается заслуженная кара...» (стр. 264). — Печатается по газете «Москва» от 29 октября 1867 г., где опубликовано впервые с датой: «27 октября 1867 г.».

Вызвано вооруженной борьбой итальянских патриотов-гарибальдийцев со светской властью папы (см. стр. 581).

...чью помощь ни зови... — Намек на обращение папы к помощи французских войск.

А ты, ее носитель неповинный... — Пий IX.

«Опять стою я над Невой...» (стр. 265).—Печатается по журналу «Исторический вестник», 1903, июль, т. XCIII, стр. 201, где помещено впервые, с датой-заглавием: «Июнь 1868 г.».

С тобой живые мы глядели — обращение к памяти Е. А. Денисьевой.

Пожары (стр. 266).— Печатается по газете «Русский» от 19 июля 1868 г., где опубликовано впервые, с датой: «Июля 16». Вызвано пожаром лесов и торфяных болот под Петербургом летом 1868 г.

«В небе тают облака...» (стр. 267).—Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, датированному: «Гостиловка, 2 августа 1868». Впервые — в *Изд. 1886 г.*, стр. 314. Гостиловка — хутор близ Овстуга.

Михаилу Петровичу Погодину (стр. 268). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ* — в письме Тютчева к Погодину от 30 августа 1868 г. из Москвы. Впервые — в газете «Русский» от 31 января 1869 г., стр. 4. Стихотворение первоначально было написано на шмуцтитуле экземпляра *Изд. 1868 г.*, подаренного Тютчевым М. П. Погодину (*ПД*). Посылая Погодину новую редакцию стихов, Тютчев писал: «Простите авторской щепетильности. Мне хотелось, чтобы по крайней мере те стихи, которые надписаны на ваше имя, были по возможности исправны, и потому посылаю вам их вторым изданием» (текст по-русски). Тем не менее Погодин поместил в издававшейся им газете «Русский» первую редакцию стихотворения.

Памяти Е. П. Ковалевского (стр. 269).—Печатается по газете «Москва» от 25 сентября 1868 г., где опубликовано впервые. Датируется 21—22 сентября 1868 г. на основании письма Тютчева к И. С. Аксакову от 22 сентября 1868 г. (собрание К. В. Пигарева), в котором поэт пишет: «Вчера я послал к вам в редакцию несколько вирш по случаю кончины Егора Ковалевского...» и далее: «...а что до стихов, то если вы им дадите место, то напечатайте их так...» (текст по-русски; следуют стихи). Первая редакция до нас не дошла.

«Нам не дано предугадать...» (стр. 270).—Печатается по автографу *ЦГАЛИ*, датированному: «С. Петербург. 27 февраля 1869». Впервые — в альманахе «Северные цветы» на 1903 г., стр. 182.

«Две силы есть—две роковые силы...» (стр. 271).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *Изд. 1886 г.*, стр. 321—322. Датируется мартом 1869 г., по списку *АБ*.

В деревне (стр. 273). — Печатается по списку *ЦГАЛИ* — рукой И. Ф. Тютчева. Впервые — в *Изд. 1886 г.*, стр. 328—330. Датируется 16 августа 1869 г. по списку *АБ*. В списке *ЦГАЛИ* имеется приписка: «Стихотворение это написано Ф. И. Тютчевым в одно из по-

следних пребываний его в принадлежавшем ему имении с. Овстуг и вызвано видом собаки, гнавшейся за стадом гусей и уток».

«Природа — сфинкс. И тем она верней...» (стр. 275). —Печатается по автографу *ЦГАЛИ.* Впервые — в *Изд. 1886 г.*, стр. 340. В списке *АБ* датировано: «Овстуг, август 1869».

Современное (стр. 276).— Печатается по газете «Голос» от 15 октября 1869 г., где помещено впервые. Датируется первой половиной октября 1869 г. Стихотворение вызвано торжествами в Турции в связи с завершением строительства Суэцкого канала. Открытие его состоялось 16 ноября 1869 г.

Франкистанская земля — Франция, принимавшая ближайшее участие в сооружении Суэцкого канала.

Коронованная фея... — французская императрица Евгения, жена Наполеона III.

Рима дочь... — католичка.

Как вторая Клеопатра... — В древности при египетской царице Клеопатре (I в. до н. э.) существовал Суэцкий канал; позднее он был занесен песком.

Миллионы христиан... — Имеется в виду христианское население Турции.

А. Ф. Гильфердингу (стр. 278).— Печатается по списку *АБ*, датированному 17 декабря 1869 г. Впервые — в газете «Голос» от 28 декабря 1869 г.

Написано по поводу забаллотирования на выборах в адъюнкты Академии наук известного ученого А. Ф. Гильфердинга. Тютчев высоко ценил заслуги Гильфердинга перед русской и славянской филологией (ср. стихотворение 1873 г. «Хоть родом он был не славянин» — *Изд. 1939 г.*, стр. 254).

Ю. Ф. Абазе (стр. 279).—Печатается по списку *ЦГАЛИ*, повидимому, сделанному с автографа, о чем свидетельствует характерная для рукописей Тютчева помета на французском языке перед текстом: «Воскресенье, 22 декабря 1869». Впервые — в *Изд. 1886 г.*, стр. 319—320.

«Как нас ни угнетай разлука...» (стр. 280).—Печатается по автографу *ПД*. Впервые — в журнале «Красная нива», 1926, № 6, стр. 9. Датируется (по почерку автографа) концом шестидесятых годов.

Гус на костре (стр. 281).— Печатается по журналу «Заря». 1870, май, стр. 3—4, где опубликовано впервые. Первоначальная редакция стихотворения (автограф *ЦГАЛИ*) помечена рукой М. Ф. Бирилевой 15 марта 1870 г., окончательный текст в списке *АБ* датирован 17 марта 1870 г.

Написано для прочтения на вечере с живыми картинами, данном в пользу Славянского благотворительного комитета 1 апреля 1870 г. (см. брошюру «Стихотворения и объяснительный текст к живым картинам», 1870, стр. 19—21; Никитенко А. В., Дневник, т. 3, Гослитиздат, 1956, стр. 172).

В статье «Россия и революция» Тютчев писал: «...вся еще сохранившаяся в Богемии национальная жизнь сосредоточена в ее *гуситских* верованиях, в этом постоянно живучем протесте ее угнетенной славянской национальности против захватов римской церкви, а также и против немецкого господства» (*Изд. 8-ое*, стр. 463).

Вероломный кесарь — германский император Сигизмунд, давший Гусу при его вызове на церковный собор в Констанце охранную грамоту, но затем, под давлением собора, признавший ее недействительной, как выданную еретику.

Не позабытая с тех пор... — благодаря восклицанию Гуса: «Sancta simplicitas!» («Святая простота!»), ставшему пословицей.

К. Б. («Я встретил вас — и все былое...» — стр. 283). — Печатается по журналу «Заря», 1870, декабрь, стр. 26, где опубликовано впервые, с пометой: «Карлсбад». Датируется 26 июля 1870 г. по списку *ЦГАЛИ* — рукой Д. Ф. Тютчевой.

По указанию, сделанному Я. П. Полонским П. В. Быкову, инициалы в заглавии обозначают сокращение переставленных слов «Баронессе Крюденер» (см. *Изд. 8-ое*, стр. 638). В 1870 г. Тютчев встретился с нею в Карлсбаде. Стихотворение перекликается с посвященным ей же стихотворением «Я помню время золотое...».

Два единства (стр. 284). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — с разночтениями — в журнале «Заря», 1870, октябрь, стр. 3. Датируется концом сентября 1870 г., так как написано для прочтения на празднестве, устроенном Славянским благотворительным комитетом, по случаю присоединения к православию тринадцати чехов 1 октября 1870 г.

Кровь льется через край... — намек на франко-прусскую войну 1870 г.

Оракул наших дней... — Бисмарк.

«Веленью высшему покорны...» (стр. 285). — Печатается по списку *ЦГАЛИ* — рукой Е. Ф. Тютчевой, датированному 27 октября 1870 г. Впервые — в газете «Русь» от 22 ноября 1880 г., стр. 17, под заглавием «В альбом П. А. Вакара» и примечанием от редакции: «Это стихотворение, так сказать, от цензора к цензору — печатается нами с разрешения самого П. А. Вакара, которому, как члену Совета главного управления по делам печати, Ф. И. Тютчев в качестве члена того же Совета приходился коллегой».

«Чему бы жизнь нас ни учила...» (стр. 286).— Печатается по *РВ*, 1871, т. XCI, январь, стр. 118, где опубликована впервые, с пометой в скобках перед текстом: «А. В. Пл—вой». Написано не позднее начала ноября 1870 г., так как 12 ноября этого года было послано М. Ф. Бирилевой И. С. Аксакову как «последние стихи поэта» (см. *ЛН*, вып. 19—21, 1935, стр. 243).

Посвящено А. В. Плетневой.

⟨Князю А. М. Горчакову⟩ («Да, вы сдержали ваше слово...» — стр. 287). — Печатается по автографу Архива внешней политики России — при письме Тютчева к Горчакову от 6 (?) декабря 1870 г. Впервые — отрывок в *РА*, 1874, вып. 10, столбцы 322—323; полностью — в ранней редакции — в *Изд. 1886 г.*, стр. 348—349. В *ЦГАЛИ*, *ПД* и Архиве внешней политики России имеются автографы первоначальных редакций. Посылая Горчакову окончательный текст стихотворения, Тютчев писал: «...так как мои рифмы снискали ваше расположение, вот, князь, более точный и более полный их список» (*ЛН*, вып. 19—21, 1935, стр. 247—248).

Стихотворение вызвано обнародованной 3 ноября 1870 г. декларацией А. М. Горчакова о расторжении четырнадцатой статьи Парижского мирного договора 1856 г., ограничивавшей права России на Черном море. Пояснением к последним строкам стихотворения служит письмо Тютчева к А. Ф. Аксаковой от 22 ноября 1870 г., в котором «твердому и достойному образу действий» кабинета он противопоставляет «жалкое и даже омерзительное поведение петербургских салонов», заискивающих перед иностранцами (см. выше, стр. 479).

«Брат, столько лет сопутствовавший мне...» (стр. 288). — Печатается по автографу из собрания К. В. Пигарева — в письме к Е. Ф. Тютчевой от 13 декабря 1870 г. Впервые — в *РА*, 1874, вып. 10, столбцы 380—381. В *ЦГАЛИ* имеется второй автограф (с разночтениями), датированный 11 декабря 1870 г.

Посвящено памяти Н. И. Тютчева и написано по дороге из Москвы в Петербург, куда Тютчев возвращался с похорон брата. По словам И. С. Аксакова, Н. И. Тютчев был «можно сказать, единственным другом Федора Ивановича, у которого вне семьи было великое множество «друзей», но между ними ни одного, с кем бы преимущественно перед прочими делился он всеми тайнами мысли и сердца, с кем бы состоял в отношениях исключительно тесной, задушевной дружбы. Николай Иванович Тютчев любил брата не только с братскою, но с отцовскою нежностью, и ни с кем не был Федор Иванович так короток, так близко связан всею своею личною судьбою с самого детства» (*А*, *1886 г.*, стр. 307).

Черное море (стр. 289). — Печатается по брошюре «Стихо-

творения к живым картинам, данным в пользу Славянского благотворительного комитета 29 марта 1871 г.», Спб. 1871, стр. 22—23. В *ЦГАЛИ* имеется автограф третьей и четвертой строф с разночтениями. Написано в начале марта 1871 г. (в списках *ЦГАЛИ* датировано 2 и 8 марта 1871 г.; ценз. разреш. брошюры — 9 марта 1871 г.). Стихотворение вызвано отменой четырнадцатой статьи Парижского договора 1856 г. (см. стихотворение «Да, вы сдержали ваше слово...»).

Строки, выделенные курсивом в четвертой строфе, — цитата из стихотворения Пушкина «К морю».

...гробовая сень — могила Николая I.

«От жизни той, что бушевала здесь...» (стр. 291). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *Изд. 1886 г.*, стр. 352—353. Датируется 17 августа 1871 г. по спискам *ЦГАЛИ* — рукой М. Ф. Бирилевой. В рукописях поэта сохранился отрывок первоначальной редакции стихотворения:

От жизни той, во дни былые
Пробушевавшей над землей,
Когда здесь силы роковые
Боролись слепо меж собой,
И столько бед здесь совершалось,
И столько крови здесь лилось —
Что уцелело и осталось?
Затихло все и улеглось.
    Лишь кое-где, как из тумана
    Давно забытой старины,
    Два-три выходят здесь кургана.

Написано под впечатлением поездки в село Вщиж Брянского уезда Орловской губернии, некогда бывшее удельным княжеством. Близ Вщижа сохранились древние курганы.

«Все отнял у меня казнящий бог...» (стр. 292). — Печатается по списку *ЦГАЛИ* — рукой Д. Ф. Тютчевой, датированному февралем 1873 г. Впервые — в *Изд. 1900 г.*, стр. 8. Написано во время предсмертной болезни поэта и обращено к его жене Э. Ф. Тютчевой.

ЭПИГРАММЫ

«За нашим веком мы идем...» (стр. 293). — Печатается по списку из собрания К. В. Пигарева (ранее считавшемуся автографом), совпадающему с текстом *Г*, 1830, ч. XVIII, № 40, стр. 134, где это четверостишие опубликовано впервые, но по ошибке слитно

со стихотворением «Вопросы» (см. раздел «Переводы и переложения»). Написано не позднее 1830 г. (ценз. разреш. *Г* — 12 декабря 1830 г.).

Креуза и *Еней* — персонажи эпопеи Виргилия «Енеида».

⟨Э п и т а ф и я Н и к о л а ю I⟩ («Не богу ты служил и не России...» — стр. 294). — Печатается по списку *АБ*. В рукописи перед текстом помета: «Н. П.» (Николаю Павловичу).

Николай I умер 18 февраля 1855 г., чем определяется дата, ранее которой не могла быть написана настоящая эпиграмма. Однако едва ли она сложилась непосредственно под первым впечатлением от известия о смерти царя (ср. запись в дневнике А. Ф. Тютчевой «При дворе двух императоров», вып. 1, М., 1928, стр. 127). По всей вероятности, эпиграмма отражает настроение Тютчева после падения Севастополя (ср. стр. 426).

⟨Н а Г. И. Ф и л и п п с о н а⟩ («Он прежде мирный был казак...» — стр. 295).— Печатается по записи в дневнике Н. Н. Боборыкина от 5 октября 1861 г., хранящемся в *ПД*. Впервые — в журнале «Каторга и ссылка», 1931, № 12, стр 210.

Вызвана мероприятиями попечителя Петербургского учебного округа Г. И. Филиппсона, в прошлом казачьего атамана, по борьбе со студенческими волнениями 1861 г. Эпиграмма основана на каламбуре: фамилия Филиппсона в дословном переводе с немецкого означает «сын Филиппа»; Александр Великий был сыном Филиппа Македонского.

О т в е т н а а д р е с (стр. 296). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РА*, 1885, вып. 10, стр. 298, под заглавием «Москвичам» и с датой: «1865 г.».

Вызвана адресом московского дворянства о созыве земской думы, поданным Александру II 11 января 1865 г. Эпиграмма Тютчева вызвала анонимный «Ответ москвичей» (см. *Изд. 1939 г.*, стр. 316; ср. Н и к и т е н к о А. В., Дневник, т. 2, Гослитиздат, 1955, стр. 510).

⟨Н а г р а ф а С. Г. С т р о г а н о в а⟩ («Как верно здравый смысл народа...» — стр. 297). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ* с французской пометой перед текстом: «По адресу графа Строганова». Впервые — в *Изд. 1868 г.*, откуда вырезано по требованию автора; вторично — в *Изд. 1900 г.*, стр. 278. Датируется 30 апреля 1865 г. по списку *АБ*.

Вызвана слухами о том, что «уход» Строганова за своим воспитанником вел. кн. Николаем Александровичем пагубно отразился на здоровье последнего и послужил причиной его смерти от туберкулеза.

К н я з ю С у в о р о в у («Два разнородные стремления...» — стр. 298). — Печатается по списку *МА* — рукой М. Ф. Бирилевой,

датированному апрелем 1866 г. Впервые — в *Изд. 1868 г.*, откуда вырезано по требованию автора; вторично — в *Изд. 1900 г.*, стр. 288.

⟨На С. А. Грейга⟩ («Когда расстроенный кредит...» — стр. 299). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в журнале «Былое», 1922, № 19, стр. 72 (в статье Г. И. Чулкова «Тютчев и его эпиграммы»). Датируется 3 июня 1866 г. по списку *АБ*.

Вызвана назначением С. А. Грейга товарищем министра финансов.

⟨На графа П. А. Шувалова⟩ («Над Россией распростертой...» — стр. 300). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в журнале «Былое», 1922, № 19, стр. 72.

Направлена против шефа жандармов гр. П. А. Шувалова. Широкие полномочия, которыми был облечен Шувалов, дали повод петербургскому обществу прозвать его «Петром IV» и «Аракчеевым II» (см. Долгоруков П. В., Петербургские очерки, М., 1934, стр. 270). Г. И. Чулков высказал предположение, что эпиграмма относится к 1867 г., ибо в этом году «определилась роль Шувалова, как временщика» (*Изд. «Academia»*, т. II, стр. 441).

⟨На цензурное ведомство⟩ («Печати русской доброхоты...» — стр. 301).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в журнале «Былое», 1922, № 19, стр. 71.

Вызвана преследованиями цензурой славянофильского органа «Москва» и почти дословно перекликается с письмом Тютчева к брату от 13 апреля 1868 г. (см. стр. 465).

⟨Издателю газеты «Весть»⟩ («Вы не родились поляком...» — стр. 302). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ* — в письме Тютчева к А. Ф. Аксаковой от 18 января 1869 г. Впервые — в *РА*, 1884, вып. 1, стр. 243. Написано в первой половине января 1869 г., так как в письме к А. Ф. Аксаковой Тютчев сообщает, что эти стихи уже ходят по рукам.

Эпиграмма обращена к издателю-редактору ультрареакционного органа «Весть» В. Д. Скарятину.

Всех тех, кому зажали рот! — Имеются в виду славянофилы, против которых выступала «Весть» и которые после закрытия в 1868 г. аксаковской «Москвы» не имели своей газеты.

ПЕРЕВОДЫ И ПЕРЕЛОЖЕНИЯ

Послание Горация к Меценату, в котором приглашает его к сельскому обеду (стр. 305). — Печатается по журналу «Труды Общества любителей российской сло-

весности», 1819, ч. XIV, стр. 32—36, где опубликовано впервые. Первое печатное произведение Тютчева. Было прочитано на заседании Общества любителей российской словесности 8 марта 1819 г.

Источником стихотворения является одна из од Горация («Оды», кн. III, 29). Сохраняя основную мысль латинского подлинника, Тютчев развивает отдельные детали его в самостоятельные картины и описания. Заглавие принадлежит Тютчеву.

Крины (слав.) — лилии.

Брашны (слав.) — кушанья.

Кастальские девы (античн. миф.) — музы.

Пенат (античн. миф.) — божество, покровительствующее домашнему очагу.

Сильван (античн. миф.) — бог-покровитель лесов.

Нептуновы владения (античн. миф.) — море.

Нот (античн. миф.) — южный ветер.

Гектор и Андромаха (стр. 308). — Печатается по журналу «Труды Общества любителей российской словесности», 1822, ч. II, стр. 204—205, где опубликовано впервые. Написано не позднее начала 1822 г.

Перевод стихотворения Шиллера «Hector's Abschied» («Прощание Гектора»). Из русских переводов этого стихотворения наибольшей известностью пользуется перевод Л. А. Мея.

Пергам — город в древней Греции (то же, что Троя).

Стиксовы брега (античн. миф.) — берега реки подземного мира, «обиталища мертвых».

Лета (античн. миф.) — река забвения в подземном царстве.

Одиночество (стр. 309). — Печатается по альманаху «Новые Аониды» на 1823 г., стр. 92—95. Впервые — в ранней редакции — в «Трудах Общества любителей российской словесности», 1822, ч. II, стр. 231—233. Датируется 1821—1822 гг., так как французский подлинник стихотворения Ламартина напечатан в 1820 г., а первоначальная редакция тютчевского перевода написана до 18 марта 1822 г., когда он был прочитан С. В. Смирновым в Обществе любителей российской словесности.

Перевод стихотворения Ламартина «L'isolement» («Уединение») из сборника «Méditations poétiques».

Песнь Радости (стр. 311).—Печатается по *СЛ*, 1827, стр. 30—36, где опубликовано впервые с датой: «Минхен. 1823. Февраль».

Перевод стихотворения «An die Freude» («К Радости») Шиллера.

Хариты (античн. миф.) — богини женской красоты.

Песнь скандинавских воинов (стр. 315). — Печатается по альманаху «Урания» на 1826 г., стр. 70—72, где опубли-

ковано впервые. Датируется не позднее октября 1825 г. (ценз. разреш. «Урании» — 26 ноября 1825 г.).

Перевод «Morgengesang im Kriege» («Утренняя песнь на войне») Гердера («Stimme der Völker», кн. 4, «Nordische Lieder»).

Петел (слав.) — петух.

С чужой стороны (стр. 317). — Печатается по *Изд. 1854 г.*, стр. 121. Впервые — в иной редакции, в основном совпадающей с автографом *ЦГАЛИ*, — в *СЛ*, 1827, стр. 338, с пометой: «Минхен». Написано не ранее 1823 г., когда был напечатан немецкий подлинник, и не позднее середины 1826 г. (ценз. разреш. *СЛ* — 1 ноября 1826 г.).

Перевод стихотворения Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam...» («Книга песен. — Лирическое интермеццо», 33). Перебоями амфибрахия во 2 и 3 строках (а в тексте, напечатанном в *СЛ*, также в 5 и 6 строках) Тютчев стремится передать метрическое своеобразие немецкого подлинника. Это стихотворение переводили также Лермонтов, Майков, Фет, Михайлов и др.

В альбом друзьям (стр. 318). — Печатается по *Изд. 1854 г.*, стр. 120. Впервые — в *СЛ*, 1827, стр. 441, с подзаголовком: «Из л⟨орда⟩ Байрона». Написано не позднее середины 1826 г. (ценз. разреш. *СЛ* — 1 ноября 1826 г.).

Перевод стихотворения Байрона «Lines written in an album at Malta» («Строки, написанные в альбом на Мальте»), переводившегося также Лермонтовым, Козловым и Вяземским. В подлиннике это стихотворение обращено к женщине. Тютчев подвергает его характерному переосмыслению и адресует «друзьям».

Саконтала (стр. 319). — Печатается по *СЛ*, 1827, стр. 430, где опубликовано впервые. Датируется не позднее середины 1826 г. на том же основании, что и предыдущее стихотворение.

Вариация на тему четверостишия Гете «Sakontala», написанного античным пентаметром и входящего в цикл «Antiker Form sich nähernd».

Саконтала (Шакунтала) — героиня одноименной драмы древнеиндийского поэта Калидасы. Четверостишие Гете вызвано переводом этой драмы на немецкий язык Форстера.

«Как порою светлый месяц...» (стр. 320).—Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *Г*, 1830, ч. XII, № 8, стр. 76—77. Датируется, по видимому, не ранее 1827 г. (автограф *ЦГАЛИ* писан на бумаге с водяным знаком: «⟨18⟩27») и не позднее 1829 г. (ценз. разреш. *Г* — 20 февраля 1830 г.).

Перевод стихотворения Гейне «Wie der Mond sich leuchtend drän-

get...» («Книга песен. — Возвращение на родину», 40). Существует перевод этого же стихотворения, принадлежащий Фету.

Приветствие духа (стр. 321). — Печатается по *Г*, 1830, ч. XVIII, № 38, стр. 39, где опубликовано впервые. Черновой автограф *ЦГАЛИ* написан на одном листе с автографом стихотворения «Как порою светлый месяц...», что дает основание относить «Приветствие духа» к 1827—1829 гг.

Перевод стихотворения Гете «Geistesgrusz». Принадлежит к числу лучших переводов Тютчева.

Байрон (стр. 322). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в журнале «Русский современник», 1924, № 1, стр. 162—168.

Перевод отрывка из поэмы Цедлица «Todtenkränze» («Венки мертвым»), вышедшей в 1828 г. Внешний вид автографа (бумага с водяным знаком «1827», почерк) дает основание относить перевод к 1828—1829 гг.

Сия обитель — Ньюстэдское аббатство, родовое имение Байрона.

Камена (античн. миф.) — то же, что муза.

Зачем бежал ты собственного крова... — Разрыв Байрона с реакционными кругами английского общества вынудил его в 1816 г. навсегда покинуть Англию. В поэме Цедлица странствия Байрона по странам Европы и ближнего Востока, относящиеся к этому времени, смешаны с его путешествиями 1809—1811 гг.

Ах, и куда безвременно почивший... — Байрон, с 1823 г. принимавший участие в национально-освободительной борьбе греческого народа, умер в апреле 1824 г. в городе Миссолунги тридцати шести лет от роду.

Титан ли ты... — Имеется в виду античный миф о Прометее.

Страна любви, геройства, приключений... — Испания.

...совершитель тризны благочестной... — Во время своих скитаний по Европе Байрон посетил поле битвы при Ватерлоо.

...как льдистые лавины, Полночные срывалися народы... — древнегерманские племена, вторгавшиеся в Италию со стороны Альп.

...бой... Отчаяния с Силой!.. — война греков за свою независимость от турецкого владычества, начавшаяся в 1821 г.

«Прекрасный будет день, сказал товарищ...» (стр. 328). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *НС*, стр. 90—92.

Перевод 31 главы III части «Reisebilder» («Путевых картин») Гейне, появившейся в конце 1829 г. Внешний вид автографа (бумага с водяным знаком «1827», почерк) дает основание относить перевод к концу 1829—1830 гг.

В своем переводе Тютчев нарушает последовательность подлинника (немецкому тексту соответствовал бы такой порядок строк: 31—50, 1—30, 51—60). Несмотря на то, что поэт переложил прозаический подлинник стихами, его перевод отличается большой точностью.

Ларвы (античн. миф.) — привидения, являющиеся по ночам.

Ерев (античн. миф.) — подземное царство.

1. «Звучит, как древле, пред тобою...», 2. «Кто звал меня?..», 3. «Чего вы от меня хотите?..», 4. «Зачем губить в унынии пустом...», 5. «Державный Дух, ты дал мне, дал мне все...» (стр. 330). — Печатаются по автографам *ЦГАЛИ*. Впервые напечатаны: 1, 3 и 5—в журнале «Искусство», 1927, кн. II и III, стр. 167—169; 2 — в *Изд. 1900 г.*, стр. 412—413; 4 — в *Г*, 1830, ч. XI, № 5, стр. 283—284. В *ЦГАЛИ* имеется второй, черновой автограф отрывка 2. Датируются: отрывок 4 не позднее 1829 г. (ценз. разреш. *Г* — 30 января 1830 г.); отрывки 1, 2, 3 и 5, черновые автографы которых написаны на одном листе со стихотворениями «Ты зрел его в кругу большого света...» и «В толпе людей, в нескромном шуме дня...» (см. стр. 502), — предположительно концом 1829—1830 гг.

Переводы из I части «Фауста» Гете: 1 — отрывок из «Пролога на небе», 2 — диалог Фауста с Духом из сцены «Ночь», 3 — монолог Фауста из сцены «Ночь», 4 — монолог Фауста из сцены «У ворот», 5 — монолог Фауста из сцены «Лес и пещера».

«Едва мы вышли из Трезенских врат...» (стр. 335).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые в *Изд. 1900 г.*, стр. 379—381. Датируется предположительно концом двадцатых годов по почерку автографа.

Перевод рассказа Терамена о гибели Ипполита «A peine nous sortions des portes de Trézène...» из трагедии Расина «Phèdre» («Федра», акт V, сцена 6). Существуют переводы этого монолога, принадлежащие А. П. Сумарокову, Г. Р. Державину, П. А. Катенину, В. Я. Брюсову и др.

«Высокого предчувствия...» (стр. 338). —Печатается по черновому автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *РА*, 1885, № 6, стр. 320—321. Датируется предположительно концом двадцатых годов по почерку автографа.

Перевод отрывка из оды Манцони «Il cinque maggio» («Пятое мая»), посвященной памяти Наполеона, умершего 5 мая 1821 г. Переведенный Тютчевым отрывок составляет 7—16 строфы оды Манцони.

Два раза брошен был во прах и два раза на трон! — Имеются в виду провозглашение Наполеона императором (1804), его отречение

от престола (1814), возвращение к власти на 100 дней (1815) и последующая ссылка на остров св. Елены.

Вопросы (стр. 340). — Печатается по *Г*, 1830, ч. XVIII, № 40, стр. 133—134, где опубликовано впервые. Датируется не ранее 1827 г., когда появился немецкий подлинник, и не позднее 1830 г. (ценз. разреш. *Г* — 12 декабря 1830 г.).

Перевод стихотворения Гейне «Fragen» («Книга песен. — Северное море», II, 7). Существует русский перевод этого стихотворения, принадлежащий М. Л. Михайлову.

1. «Кто с хлебом слез своих не ел...», 2. «Кто хочет миру чуждым быть...» — (стр. 341). — Печатается по альманаху «Сиротка» на 1831 г., стр. 198—199, где опубликовано впервые; пропущенные цензурой строки 5—7 в первом стихотворении восстанавливаются по автографу *ЦГАЛИ*. Датируется 1827—1830 гг. (автограф написан на бумаге с водяным знаком «1827»; ценз. разреш. «Сиротки» — 11 января 1831 г.).

Перевод первой и второй песен арфиста («Wer nie sein Brod mit Tränen asz» и «Wer sich der Einsamkeit ergibt...») из «Ученических годов Вильгельма Мейстера» Гете (кн. II, гл. 13).

«Запад, Норд и Юг в крушенье...» (стр. 343).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *Изд. 1886 г.,* стр. 397—399. Датируется 1827—1830 гг. (автограф вырезан из записной книжки поэта, заполнявшейся не позднее 1830 г.; второй автограф *ЦГАЛИ* на бумаге с водяным знаком «1827»).

Перевод стихотворения Гете «Hegire» («Геджра» — «Западно-восточный диван. — Книга певца», I).

«Закралась в сердце грусть — и смутно...» (стр. 345). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в журнале «Искусство», 1923, № 1, стр. 356. Датируется 1826—1830 гг. (немецкий подлинник стихотворения появился в 1826 г.; автограф *ЦГАЛИ* вырезан из записной книжки поэта, заполнявшейся не позднее 1830 г.).

Перевод стихотворения Гейне «Das Herz ist mir bedrückt, und sehnlich...» («Книга песен. — Возвращение на родину», 39).

Кораблекрушение (стр. 346). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *Изд. 1886 г.*, стр. 407—409. Датируется не ранее 1827 г., когда был напечатан немецкий подлинник, и не позднее 1830 г., так как автограф вырезан из той же записной книжки, что и предыдущее стихотворение.

Перевод стихотворения Гейне «Der Schiffbrüchige» («Книга песен. — Северное море», II, 3).

«Друг, откройся предо мною...» (стр. 348). — Печа-

тается по *Г*, 1830, ч. XVIII, № 41, стр. 196, где помещено впервые. Датируется не ранее 1823 г., когда появился немецкий подлинник, и не позднее 1830 г. (ценз. разреш. *Г* — 17 декабря 1830 г.).

Перевод стихотворения Гейне «Liebste, sollst mir heute sagen...» («Книга песен. — Лирическое интермеццо», 16).

Певец (стр. 349). — Печатается по *Г*, 1830, ч. XVIII, № 42, стр. 226—228, где опубликовано впервые. Написано не позднее 1830 г., так как появилось в последнем номере журнала, вышедшем в декабре этого года.

Перевод баллады Гете «Der Sänger». Эта же баллада переведена К. Аксаковым и Фетом.

Заветный кубок (стр. 351). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *Изд. 1886 г.*, стр. 392—393. Написано не позднее 1830 г. (другой автограф *ЦГАЛИ*, представляющий первоначальную запись перевода, — на одном листе с автографом стихотворения «Певец»).

Перевод баллады Гете «Der König in Thule» («Фульский король»), позднее включенной, в качестве песни Маргариты, в I часть «Фауста» (сцена «Вечер»). Начальные строки первой и последней строф перевода интересны «попыткой сохранить дольники немецкого народного стиха» (Жирмунский В., Гете в русской литературе, Гослитиздат, Л., 1937, стр. 213).

Ночные мысли (стр. 352). — Печатается по журналу «Телескоп», 1832, ч. IX, № 10, стр. 154, где опубликовано впервые. Написано не позднее первой трети 1832 г. (ценз. разреш. «Телескопа» — 5 июля 1832 г.).

Перевод стихотворения Гете «Nachtgedanken».

Оры (античн. миф.) — часы, время.

Весеннее успокоение (стр. 353). — Печатается по журналу «Телескоп», 1832, ч. X, № 15, стр. 297—298, где опубликовано впервые. В *ЦГАЛИ* имеется автограф, совпадающий с печатным текстом, но без заглавия. Написано не позднее первой половины 1832 г. (ценз. разреш. «Телескопа» — 28 августа 1832 г.).

Перевод стихотворения Уланда «Frühlingsruhe».

1. «Любовники, безумцы и поэты...», 2. Песня (стр. 354).— Печатаются по газете «Молва» от 19 января 1833 г., № 8, стр. 29—30, где опубликованы впервые. Написаны не позднее 1832 г.

Перевод из комедии Шекспира «Midsummer night's dream» («Сон в летнюю ночь»): 1 — слова Тезея «The lunatic, the lover and the poet...» из 1 сцены V акта, 2 — отрывок песни Пукка «Now the hungry lion roors...» из 2 сцены V акта.

«Пришлося кончить жизнь в овраге...» (стр. 356). —

Печатается по черновому автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *НС*, стр. 93—94. Текст недоработан. Датируется не ранее 1833 г. (в этом году появился французский подлинник стихотворения) и не позднее апреля 1836 г. (в начале мая оно было послано вместе с другими стихами И. С. Гагарину).

Перевод песни Беранже «Le vieux vagabond» («Старый бродяга»). Существует русский перевод, принадлежащий В. С. Курочкину.

Ир — бродяга (в «Одиссее» Гомера).

«В которую из двух влюбиться...» (стр. 358). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *Изд. 1900 г.*, стр. 433. Написано не ранее 1834 г. (в этом году появился немецкий подлинник) и не позднее апреля 1836 г. (находилось в числе рукописей, посланных Тютчевым И. С. Гагарину в начале мая 1836 г.).

Перевод стихотворения Гейне «In welche soll'ich mich verlieben» («Новые стихотворения.—Иоланта и Мария», 2), напечатанного в I части «Salon» (1834).

...Буриданов друг... — осел. Буридану приписывают парадокс о том, что если бы осел обладал свободой воли и был поставлен между двумя одинаковыми стогами сена, то он погиб бы от голода, ибо ни на одном из них не мог бы остановить своего выбора.

Поминки (стр. 359). — Печатается по *Изд. 1854 г.*, стр. 103—109. Впервые — с перепутанным порядком строф — в сборнике «Раут» на 1851 г., стр. 75—80. В *ЦГАЛИ* имеется черновой автограф. В списке *СТ* Н. В. Сушковым исправлены строки 67 («В небе *суд богов* не дремлет» вместо «В небе *божий суд* не дремлет»), 94 («*От руки ты пал* своей» вместо «*Пал ты от руки* своей») и 151 («*Дым и пар — здесь* все земное» вместо «*Дым, пар дымный* все земное»). Эти поправки вошли в последнюю редакцию «Поминок» (*Изд. 1854 г.*). Датируется 1850 — началом 1851 гг., так как в подстрочном примечании к тексту «Раута» перевод назван «новым» (ценз. разреш. «Раута» — 24 февраля 1851 г.). Этому не противоречит и почерк автографа.

Перевод хоровой песни Шиллера на сюжет, заимствованный из «Илиады» Гомера, — «Das Siegesfest» («Победное торжество»). Это произведение и до Тютчева неоднократно было переведено на русский язык, в том числе Жуковским («Торжество победителей»).

«Ты знаешь край, где мирт и лавр растет...» (стр. 364). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в сборнике «Раут» на 1852 г., стр. 201—202, с заглавием «Kennst du das Land? (Из Гете)». Датируется не позднее конца октября 1851 г., когда было послано Тютчевым Н. В. Сушкову (см. стр. 395).

Перевод песни Миньоны из «Wilhelm Meister's Lehrjahre» («Ученические годы Вильгельма Мейстера») Гете (ч. III, гл. 1). В переводе

Тютчева произведена перестановка второй и третьей строф: у Гете стихотворение заканчивается описанием гор, у Тютчева — описанием дома. Тем самым бурный порыв, которым завершается песня Миньоны, несколько сглаживается. Вместе с тем перевод великолепно передает образную и ритмическую сторону подлинника.

Песня Миньоны многократно переводилась на русский язык. Существуют переводы Жуковского, Мея, Гербеля, Михайлова, А. Майкова и др.

«С озера веет прохлада и нега...» (стр. 365). — Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *С*, 1854, т. XLIV, стр. 50 (*Изд. 1854 г.*, стр. 102), с заглавием: «Из Шиллера». Автограф — на одном листе со стихами «Не остывшая от зною...» и «Ты знаешь край...», что дает основание предположительно относить этот перевод к 1851 г.

Перевод песни сына рыбака из драмы Шиллера «Wilhelm Tell» («Вильгельм Телль»): «Es lächelt der See, er ladet zum Bade...» (акт 1, сцена 1).

«Молчи, прошу — не смей меня будить...» (стр. 366). — Печатается по автографу *ЛБ*. Впервые — в *Изд. 1868 г.*, CXXIV, с заглавием «Сонет Микель-Анджело (перевод)» и датой: «1855 г.».

Перевод четверостишия Микеланджело Буанаротти «Grato m'è sonno e piu l'esser di sasso...». Четверостишие представляет собою ответ Микеланджело на стихи Строцци, навеянные знаменитым изваянием «Ночи» на гробнице Юлиана Медичи во Флоренции.

Выбор данного перевода отражает подавленное настроение, овладевшее Тютчевым под впечатлением событий Крымской войны. Насколько четверостишие Микеланджело было созвучно переживаниям поэта, можно судить по той настойчивости, с какой он добивался максимальной выразительности перевода. Сначала Тютчев перевел итальянские стихи на французский язык (автограф *ЦГАЛИ*):

Oui, le sommeil m'est doux! plus doux — de n'être pas!
Dans ces temps de malheur et de honte suprême
Ne rien voir, rien sentir, c'est la volupté même!
Craignez de m'éveiller... de grâce, parlez bas...

Ранняя редакция русского перевода (автограф *ЦГАЛИ*) значительно отличается от окончательной и читается так:

Ночь M. Angelo

Мне любо спать — отрадней камнем быть.
В сей век стыда и язвы повсеместной
Не чувствовать, не видеть — жребий лестный
Мой сон глубок — не смей меня будить...

Вторая русская редакция близка к окончательной (автограф *ЦГАЛИ*), но в ней 1 и 4 строки занимают места, соответствующие подлиннику, тогда как в окончательной редакции последняя строка переставлена на место первой, а первая на место последней. От этой перестановки четверостишие, несомненно, выиграло в своей трагической силе.

«С временщиком Фортуна в споре...» (стр. 367).— Печатается по автографу *ПБЛ* (в альбоме Н. В. Гербеля), датированному 4 апреля 1857 г. Впервые — в «Полн. собр. соч. Шиллера в переводе русских писателей», т. II, Спб., 1857, стр. 247, с заглавием «Фортуна и Мудрость». В *ПБЛ* имеется второй автограф без третьей строфы.

Перевод стихотворения Шиллера «Das Glück und die Weisheit» («Счастье и Мудрость»).

«Когда что звали мы своим...» (стр. 368).—Печатается по автографу *ЛБ*, датированному 15 августа 1858 г. Впервые — в *РВ*, т. XVI, 1858, август, кн. 1, стр. 719, с заглавием «Успокоение», большим количеством разночтений и лишней строфой после строфы 2:

Одна другой наперерыв
Спешат, бегут струи
На чей-то роковой призыв,
Им слышимый вдали...

Вольный перевод стихотворения Ленау «Blick in den Strom» («Взгляд на поток»).

В Риме (стр. 369). — Печатается по списку *АБ*. Впервые — тот же текст — в *Изд. 1868 г.*, CLXXV, под заглавием «В альбом княгини Т.» и с датой: «декабря 1866 г.» Автограф первоначальной редакции *ЦГАЛИ*, с такой же пометой рукой М. Ф. Бирилевой, написан на обороте печатного приглашения на торжественное собрание Академии наук 29 декабря, что дает основание относить стихи к двадцатым числам декабря 1866 г. Стихотворение было вписано 13 января 1867 г. в альбом кн. Е. Э. Трубецкой; однако из предшествующих стихотворению строк Тютчева, обращенных к владелице альбома, явствует, что оно было написано раньше (см. *РА*, 1911, вып. 6, стр. 274).

Французский источник стихотворения не установлен.

Мотив Гейне («Если смерть есть ночь, если жизнь есть день...» — стр. 370). — Печатается по журналу «Заря», 1869, февраль, стр. 118, где опубликовано впервые.

Вольный перевод стихотворения Гейне «Der Tod, das ist die kühle Nacht...» («Книга песен. — Возвращение на родину», 87).

«Радость и горе в живом упоенье...» (стр. 371).— Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Впервые — в *Изд. 1886 г.*, стр. 391. Датируется февралем 1870 г. по списку *АБ*.

Перевод песни Клары из драмы Гете «Эгмонт» (акт III, сцена 2) — «Freudvoll und leidvoll...»

ПИСЬМА

Значительное место в литературном наследии Тютчева занимают письма. В настоящее время учтено около тысячи двухсот писем поэта к разным корреспондентам. Частью неизданные, частью рассеянные по разным периодическим изданиям и сборникам, до сих пор они оставались доступны сравнительно узкому кругу читателей. Полное их издание потребовало бы нескольких объемистых томов. Единственной попыткой познакомить широкие круги читателей с образцами эпистолярного наследия поэта было включение тридцати пяти писем (преимущественно в отрывках) в издание стихотворений Тютчева, выпущенное в 1935 г. Гослитиздатом под редакцией Г. И. Чулкова.

Несмотря на указанную выше большую цифру дошедших до нас писем Тютчева, в эпистолярном наследии поэта имеются существенные пробелы: почти совершенно отсутствуют, например, письма до 1836 г., а также, за редкими исключениями, утрачены письма к Тютчеву его корреспондентов (повидимому, сам поэт их не хранил).

На первое место в ряду писем Тютчева как по количеству, так и по значительности своего содержания должны быть поставлены его письма к второй жене: «Нет в мире существа умнее тебя, — писал он ей однажды. — Я слишком отчетливо сознаю это теперь: мне не с кем больше поговорить... мне, говорящему со всеми». В своих письмах Тютчев делится с женой не только занимательными подробностями повседневной жизни, но и самыми заветными раздумьями своими по вопросам истории и политики, тонкими и подчас очень едкими наблюдениями над окружающей средой и над самим собой. Даже те письма, в которых поэт передает светские новости, нередко заключают яркий материал для раскрытия его собственного внутреннего облика.

В своих письмах Тютчев не выступает летописцем русской литературной жизни, русского литературного быта, хотя отдельные его оценки литературных явлений представляют несомненный интерес. Преимущественное внимание уделяет он вопросам политики, в особенности внешней. Но и внутренняя общественно-политическая жизнь страны находит в Тютчеве острого и зоркого наблюдателя.

Несмотря на историческую ограниченность мировоззрения Тютчева, сказавшуюся на его высказываниях, оценках и прогнозах, кри-

тика поэтом современной ему действительности была суровой, нелицеприятной и подкупающей в своей искренности. В своих саркастических суждениях о правительственных кругах, в своем разоблачении умственного убожества представителей власти Тютчев отразил историческую обреченность социально-политического строя, которому он был призван служить как дипломат, публицист и цензор.

Письма Тютчева являются не только очень ценным документом эпохи, но и выдающимся памятником историко-литературного значения. Поэт начал свою литературную деятельность в такое время, когда эпистолярный стиль в России достиг блестящего развития. Русские писатели показали себя подлинными мастерами эпистолярной прозы как на языке отечественном, так и на широко распространенном в дворянской среде французском языке (Пушкин, Вяземский, Чаадаев, А. Тургенев). Большинство писем Тютчева написано по-французски, что не мешает им быть произведением русской мысли, подлинным достоянием русской культуры. Но не случайно, что в дни тяжелых личных переживаний Тютчев обращается к родному языку и пишет, быть может самые сильные по остроте чувства, самые безыскусственные из всех тех писем, которые ему доводилось писать (Жуковскому после смерти первой жены, Полонскому и Георгиевскому после смерти Е. А. Денисьевой).

Письма Тютчева нередко вызывают ассоциации с его стихами о природе, с его психологической (в частности, любовной) лирикой. Чрезвычайно ярко выступает в них и Тютчев-собеседник, — тот «жемчужноуст», которым восхищались современники, мастер тонкой шутки, отточенного афоризма, острого каламбура.

В настоящем издании печатается семьдесят писем Тютчева, дающих более или менее разностороннее представление об эпистолярном наследии поэта.

Одним из основных недостатков многих предшествующих публикаций тютчевских писем было то, что они печатались в извлечениях (так были изданы, например, письма Тютчева к второй жене). Между тем, как справедливо отмечалось в свое время печатью, «пропущенные места, может быть, содержат факты мелко-биографические, но без этих фраз нельзя представить себе письмо, как целое, нельзя вполне почувствовать тон» («Русская мысль», 1916, кн. III, стр. 16).

В настоящем сборнике все тексты даются без каких бы то ни было сокращений.

Письма печатаются: 1 — по фотокопии с автографа Славянской библиотеки в Париже; 2, 4, 7—10, 13, 14, 30, 35, 36, 38—41, 43, 46, 48—50, 52—55, 58, 59, 61—67, 69 — по автографам *ЦГАЛИ*; 3, 42, 47, 56 — по автографам *ПД*; 5 — по фотокопии с автографа Нацио-

нального музея в Праге; 6, 11, 12, 15—29, 32, 34, 37, 44, 45, 51, 57, 68 — по автографам *ЛБ*; 31 — по автографу из собрания К. В. Пигарева; 33 — по автографу Архива внешней политики России; 60 — по автографу Государственного исторического музея.

Письма 2, 4, 10, 31, 35, 36, 41, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 66, 67 печатаются впервые. Остальные письма с различной степенью полноты и точности были опубликованы в следующих изданиях:

А, *1874 г.*, столбцы 41—42, 293, 301—302, 311—317, 320, 324—328, 387 — письма 7, 15, 16, 19, 23, 25—27, 29, 32, 70.

ЛН, вып. 19—21, 1935, стр. 216, 219—220, 239, 244—245, 383—384, 584—585 — письма 33, 40, 49, 53, 64; вып. 31—32, 1937, стр. 755—757, 762 — письма 62, 63, 65.

«Московский понедельник» от 26 июня 1922 г. — письмо 42.

«Мурановский сборник», вып. 1, 1928, стр. 19—20, 49, 50 — письма 8, 13, 14, 30.

Пигарев К. Мураново, «Московский рабочий», 1957, стр. 138—139 — письмо 69.

«Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель», Варшава, 1905, стр. 1129—1130 — письмо 5.

РА, 1879, кн. II, вып. 5, стр. 121—123 — письмо 1; 1898, кн. III, вып. 12, стр. 556—557, 565—566 — письма 11, 15; 1899, кн. 1, вып. 2, стр. 269—272, 274—276, 278—279, 280 — письма 19—23; вып. 3, стр. 505—507, 509—511, 514—518 — письма 24—27; вып. 4, стр. 653—654 — письмо 29; кн. II, вып. 5, стр. 92—93 — письмо 32; вып. 6, стр. 270—272 — письмо 34; кн. III, вып. 9, стр. 156—157, 168—169 — письма 45, 59; 1900, кн. III, вып. 11 стр. 411—414 — письмо 12; 1903, кн. III, вып. 12, стр. 642 — 643 — письмо 3.

СН, кн. 18, 1914, стр. 6—7, 14—15, 55—письма 6, 11, 15; кн. 19, 1915, стр. 108—110, 115—120, 124—126, 129—130, 132—135, 137—139, 143—145, 147—148, 154—155, 160—162, 170—173—письма 16—29; 32; кн. 21, 1916, стр. 155—156, 223—224, 227—229, 241—242 — письма 34, 44, 45, 51; кн. 22, 1917, стр. 256—257, 275—276 — письма 59, 68.

Тютчев Ф. И., Стихотворения, Гослитиздат, М., 1935 — письма 11, 15, 16, 22—24, 38, 39, 42—44.

«Тютчевиана. Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева», «Костры», М., 1922, стр. 38—39 — письмо 58.

«Тютчевский сборник», «Былое», П., 1923, стр. 20—26 — письма 38, 39, 42, 43.

«Урания. Тютчевский альманах», «Прибой», Л., 1928, стр. 115—116, 172—174, 201—202— письма 9, 47, 55.

Чулков Георгий, Последняя любовь Тютчева, М., 1928, стр. 44—45, 50—52, 55—57 — письма 38, 39, 42, 43.

Все письма, кроме писем 3, 5, 10, 14, 37—40, 42, 43, 55, 60, написаны по-французски и даются в переводе. Цитаты из литературных произведений и иноязычные слова, встречающиеся во французских письмах Тютчева, оставляются в тексте без перевода и поясняются в подстрочных примечаниях. В переводе передаются некоторые особенности языка и стиля русских писем Тютчева (например, «особливо» вместо «особенно», «простите» вместо «прощайте», в письмах тридцатых — сороковых годов — «Минхен» вместо «Мюнхен» (в пятидесятых годах Тютчев писал «Мюнхен»).

Переводы выполнены Е. И. и К. В. Пигаревыми; некоторые письма печатаются в заново отредактированных старых переводах. В редактировании писем принимала участие Л. Л. Слонимская.

1. И. С. Гагарину.

Адресовано в Петербург [1].

Ваше последнее письмо... — Письмо от 12/24 июня 1836 г. с сообщением о положительной оценке, которую стихи Тютчева, посланные им Гагарину в начале мая 1836 г., получили со стороны Вяземского, Жуковского и Пушкина, и о том, что предполагается выпустить их отдельным изданием (см. *РА*, 1879, вып. 5, стр. 120—121).

...прочитал три повести Павлова... — «Три повести» Н. Ф. Павлова вышли в 1835 г. В последней из них, «Ятаган», особенно понравившейся Тютчеву, резко обличаются жестокие порядки, царившие в николаевской армии. Второе издание «Трех повестей» было запрещено цензурой. «Истинно занимательные рассказы» Павлова сочувственно отметил Пушкин. Однако в первой повести — «Именины» — и в третьей — «Ятаган» — он указал на «несообразности» и, в частности, на неестественность развязки «Ятагана». Достоинством повестей Павлова Пушкин считал то, что «все лица живы и действуют и говорят каждый, как ему свойственно говорить и действовать» (Пушкин, Полн. собр. соч., изд-во АН СССР, т. 12, 1949, стр. 9).

По моем возвращении из Греции... — В августе 1833 г. Тютчев ездил с дипломатическим поручением в Грецию, откуда вернулся в Мюнхен в конце того же года.

...о пожаре Александрийской библиотеки. — Знаменитая Александрийская библиотека в Египте — величайшее из древних книгохранилищ — была уничтожена христианами-фанатиками в 341 г.

---

[1] Указание на то, куда адресовано письмо, отсутствует в тех случаях, когда адресат находился в том же городе, где и Тютчев.

«Бабочка». — Тютчев ошибочно называет «Бабочкой» издававшийся Раичем в 1829—1830 гг. журнал «Галатея».

...о нашей прекрасной Есфири... — Под «Есфирью» и «Мардохеем» (Библия, книга «Есфирь») Тютчев имеет в виду А. М. и А. С. Крюденеров, уподобляя, повидимому, положение А. М. Крюденер в петербургском придворном кругу роли Есфири при дворе Артаксеркса. Однако смысл намека не вполне ясен.

...в новом его положении. — Речь идет о переходе А. С. Крюденера на службу в министерство иностранных дел.

Как тщательно будет он зашифровывать... — А. С. Крюденер, который был известен Тютчеву по совместной службе при русской миссии в Мюнхене, отличался пристрастием к составлению шифрованных дипломатических депеш.

Ваш дядюшка — Г. И. Гагарин.

Моя жена еще не вернулась. — Эл. Тютчева с детьми находилась в Фарнбахе близ Нюрнберга.

Принц Карл уже принялся молиться...—Смысл всей фразы не ясен.

...покушение Алибо. — 25 июня 1836 г. Алибо совершил покушение на французского короля Луи Филиппа.

2. П. А. Вяземскому.

...не имея положительно никаких местных знакомств... — Летом 1837 г. Тютчев впервые после многолетнего перерыва приезжал из Мюнхена в Петербург.

...замогильная книга, как говорил Шатобриан... — Подразумевается заглавие книги Шатобриана «Mémoires d'outre tombe» («Замогильные записки»). Мемуары Шатобриана начали печататься в 1836 г. Тютчев называет первый том «Современника» за 1837 г. (пятый по общему счету) «замогильной книгой» потому, что в нем были посмертно напечатаны многие произведения Пушкина: «Медный всадник», «Герой», «Д. В. Давыдову», «Лицейская годовщина» («Была пора: наш праздник молодой...»), «Молитва» («Отцы пустынники и жены непорочны...»), «Отрывок» («Вновь я посетил...»), «Сцены из рыцарских времен», «Последний из родственников Иоанны д'Арк» и «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного Рая».

3. В. А. Жуковскому.

Адресовано в Комо, где в это время находился В. А. Жуковский, путешествовавший за границей в свите вел. кн. Александра Николаевича.

Некогда... я пользовался вашею благосклонностию. — Тютчев в ранней юности познакомился с Жуковским, который посещал дом его родителей.

...о моем несчастии... — 27 августа 1838 г. в Турине умерла Элеонора Тютчева, первая жена поэта.

...рассказывая мне про свою тамошнюю жизнь... — Осень 1837 г. и зиму 1837—1838 гг., после отъезда Тютчева из Петербурга в Турин, жена поэта провела в России.

...в жизни много прекрасного и кроме счастия. — Выраженная в этой фразе мысль неоднократно встречается в произведениях Жуковского (см., например, «Теон и Эсхин»).

4. И. Н. и Е. Л. Тютчевым.

Адресовано в Минск, где И. Н. и Е. Л. Тютчевы гостили у дочери Д. И. Сушковой, муж которой был в то время минским губернатором.

Моя жена... — 17/29 июля 1839 г. Тютчев вступил во второй брак с Э. Дёрнберг.

...к детям... — Тютчев имеет в виду своих трех дочерей от первого брака: Анну, Дарью и Екатерину.

...мы взяли их к себе... — После смерти матери дети Тютчева находились в Мюнхене на попечении ее тетки баронессы Ганштейн.

...положение Нести... — беременность Э. Ф. Тютчевой.

...эти воспоминания кровоточат... — Очевидно, имеются в виду смерть в 1838 г. старшего сына Д. И. Сушковой Ивана и первой жены поэта.

Николушка уже, должно быть, от вас уехал. — Н. И. Тютчев, будучи офицером Генерального штаба, служил в это время в Варшаве.

...тетка Клотильды... — тетка К. Мальтиц, баронесса Ганштейн.

5. Вацлаву Ганке.

Адресовано в Прагу.

...драгоценный подарок — новое, четвертое издание «Краледворской рукописи» — «Rukopis Kralodvorsky..., Vidanie čtverte Vaceslava Hanky..., v Praze, 1843». Это произведение Ганки, впервые изданное в 1819 г. в качестве подлинного собрания эпических и лирических песен чешского народа, как впоследствии выяснилось, было написано им на основе летописного и легендарного материала. Обнародование книги оказало влияние на развитие чешского народного самосознания.

...я снова очутился в Праге... — Тютчев впервые был в Праге в 1841 г., когда познакомился с Ганкой и написал ему в альбом стихотворение «Вековать ли нам в разлуке...» (см. стр. 142).

...Urbi et orbi — формула папского благословения. Выражение это употребляется также в смысле повсеместного оглашения известия.

6. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Мюнхен и относится ко времени поездки Тютчева в Россию в 1843 г. Поездка эта была предпринята поэтом с целью подготовки своего окончательного возвращения на родину.

Беру в свидетели самого господина де Кюстина... — В третьем томе своей книги «La Russie en 1839» («Россия в 1839 году»), содержащей резкую критику николаевской России, Кюстин с восхищением описывает московский Кремль.

Это единственное во всем мире зрелище. — О своих впечатлениях от Москвы Тютчев пишет и в других письмах к жене. Например: «Больше всего мне хотелось бы показать тебе самый город, город в его огромном разнообразии. Чего бы только ты, умеющая все разглядеть, не высмотрела здесь! Как ты наитием почуяла бы то, что древние называли *гением места*; он реет над этим величественным нагромождением разнообразнейших, живописнейших вещей. Нечто мощное и невозмутимое разлито над этим городом» (письмо от 27 июля 1843 г.; *ЛБ*).

...дом, который принадлежал некогда моему отцу... — дом № 11 в Армянском переулке. Был продан И. Н. Тютчевым в конце тридцатых годов.

...учитель русского языка... — вероятно, С. Е. Раич.

Брат — Н. И. Тютчев.

...он погубил себя во мнении правительства...— В 1841 г. Н. В. Сушков оставил должность минского губернатора.

7. И. Н. и Е. Л. Тютчевым.

Адресовано в Москву.

...как бы ни сложились обстоятельства... — В сентябре 1844 г. Тютчев с женой и двумя детьми от второго брака — Марией и Дмитрием — переехал из Мюнхена в Петербург и хлопотал о зачислении вновь на государственную службу.

Вице-канцлер — К. В. Нессельроде.

...делом, которое я перед ним отстаиваю. — В 1843—1844 гг. Тютчев был занят мыслью о создании за границей печатного органа на немецком языке, выражающего интересы русской внешней политики. Осенью 1843 г. он вел в Мюнхене переговоры на эту тему с немецким публицистом Я. Ф. Фалльмерайером. Проект Тютчева осуществлен не был.

8. П. А. Вяземскому.

Письмо не датировано. В подлиннике перед текстом помета рукой Вяземского по-французски: «Статья в журнале «Revue des deux Mondes» — от 1 ноября 1845 г. «Греко-славянский мир» Сиприена Робера». Вяземский ошибся годом: указанная статья помещена в «Revue des deux Mondes» от 1 ноября 1844 г., стр. 427—464. Письмо Тютчева, оче-

видно, написано во второй половине ноября или декабре того же года. Естественно, что статья С. Робера заинтересовала Тютчева. Автор рассматривает «греко-славянские» страны как «особый мир», отдельные части которого внутренне объединены крепкими историческими связями. Национально-освободительное движение должно, по мнению Робера, еще больше сплотить славянские народы друг с другом и обеспечить в будущем их национальную самостоятельность.

...в неизувеченном виде. — Нередко в иностранных журналах русская цензура замазывала типографской краской или вырезывала предосудительные с ее точки зрения места.

Можно предполагать, что в указываемых Тютчевым разделах статьи таким «увечьям» подверглись выпады автора против русского абсолютизма и сочувственные высказывания о Польше—«великой жертве королей и дипломатии». Ненависть к русскому абсолютизму заставляет Робера рассматривать «русскую национальность... как единственную из греко-славянских национальностей, представляющих угрозу для спокойствия Европы».

... поэтический и, однакоже, столь верный очерк карты России... —Статья Робера открывается обзором географического расположения «греко-славянского мира»; в этом обзоре большое внимание уделено России.

...один или два тома Гоголя... — из четырехтомного собрания сочинений Н. В. Гоголя, вышедшего в 1842 г.

...заметка о Крылове — составленное Вяземским объявление о подписке на сооружение памятника Крылову. Оно было опубликовано в разных периодических изданиях в начале 1845 г. См., например, «Северная пчела» от 8 января 1845 г.; ср. «Остафьевский архив», т. IV, Спб., 1899, стр. 308.

9. А. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Мюнхен. Датируется летом 1845 г., так как написано до переезда дочерей поэта в Россию.

...в одном казенном институте... — В сентябре 1845 г. Дарья и Екатерина Тютчевы были помещены, при посредстве вел. кн. Марии Николаевны, в Смольный институт.

...твоим дядям Ботмер. — У первой жены Тютчева было шесть братьев. Кого из них имеет в виду Тютчев, не известно.

10. Е. Л. Тютчевой.

Адресовано в Москву.

...пишу вам из его кабинета... — из кабинета отца. И. Н. Тютчев умер в Овстуге 23 апреля 1846 г.

11. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Петербург.

...не удалось остановиться в Калуге и повидаться с госпожой Смирновой... — В 1845—1851 гг. муж А. О. Смирновой был губернатором в Калуге.

12. П. Я. Чаадаеву.

Адресовано в Москву.

С П. Я. Чаадаевым Тютчева связывала тесная дружба. М. И. Жихарев в своей статье о Чаадаеве приводит слова, сказанные о нем Тютчевым: «Человек, с которым я согласен менее, чем с кем бы то ни было, и которого, однако, люблю больше всех» («Вестник Европы», 1871, т. V, кн. 9, стр. 41). По собственному признанию Чаадаева, дружба с поэтом, к которому он чувствовал «глубокую привязанность», составляла одно из его «самых отрадных утешений» (*ЛН*, вып. 19—21, 1935, стр. 588—589). Ответ Чаадаева на комментируемое письмо см. там же, стр. 587—593.

...в моих руках прекрасный подарок... — Местонахождение портрета, присланного Чаадаевым Тютчеву, не известно.

«Переписка» Гоголя. — «Выбранные места из переписки с друзьями» (книга вышла в начале 1847 г.).

«Московский сборник» — изданный славянофилами в 1847 г.

13. П. А. Вяземскому.

Письмо может быть отнесено к началу января 1851 г., т. к. в нем идет речь о стихотворении Вяземского «Послание к графу Д. Н. Блудову», написанном по случаю пятидесятилетия литературной деятельности Блудова. Юбилей этот праздновался 8 января 1851 г. «Послание» Вяземского было опубликовано в брошюре «Осьмое января 1851 года». Перепечатано в «Полном собрании сочинений князя П. А. Вяземского», т. IV, Спб., 1880, стр. 368—369. За исключением цитат и выделенных курсивом слов письмо написано по-французски.

Предложенное Тютчевым исправление пятого стиха пятой строфы «И нет конца твоим стрелам» было принято Вяземским, так же как и первый вариант 3—6 строк последней строфы.

14. Н. В. Сушкову.

Адресовано в Москву.

...от кедра до исопа... — выражение, заимствованное из библии: «И говорил он (Соломон — *К. П.*) о деревах, от кедра, что в Ливане, до исопа, вырастающего из стены» («Третья книга царств», XXIV, 33).

...до моих стихов-подкидышей... — Повидимому, в письме к Тютчеву Н. В. Сушков сообщал ему о своем намерении выпустить отдельное издание его стихов (см. стр. 494).

...52-й год ознаменуется новым раутом. — В 1851—1852 гг. Н. В. Сушковым были изданы две книги литературного сборника «Раут».

...приношу вам мою лепту... — стихотворения: «Ночь в дороге» («Не остывшая от зною...»), «Kennst du das Land? (Из Гете)», «Первый лист», «Волна и дума» и «Графине Е. П. Ростопчиной» («Как под сугробом снежным лени...»), помещенные в «Рауте» 1852 г.

Поручение ваше касательно Попова...— В чем оно состояло, не известно.

От князя Вяземского... трудно будет добиться стихов... — П. А. Вяземский в августе 1851 г. уехал лечиться за границу.

15. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Мюнхен, куда Э. Ф. Тютчева ездила к брату и где оставалась до весны 1854 г. Датируется по тексту письма («сегодня 3/15 октября»).

...будем ли мы воевать, или нет... — Писано незадолго до начала Крымской войны.

...требование очистить княжества... — В мае 1853 г., в результате отказа турецкого правительства признать права греческой церкви в отношении «святых мест» в Палестине и привилегии православного населения в самой Турции, произошел разрыв русско-турецких дипломатических отношений. 14 июня того же года русские войска под командованием кн. М. Д. Горчакова заняли дунайские княжества Молдавию и Валахию. 27 сентября Турция потребовала от России очищения княжеств, а 4 октября объявила ей войну.

Я вернулся из Царского, куда ездил за новостями... — Тютчев ездил к дочери Анне, бывшей с декабря 1852 г. фрейлиной при вел. кн. Марии Александровне.

...подробности... о вертящихся и пишущих столах... — Увлечение «столоверчением» (спиритизмом) было очень распространено в светских и придворных кругах того времени (см. стихотворение Тютчева «1856»).

16. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Мюнхен.

...низкой гнусностью Франции, воплотившейся в авантюристе... — Имеется в виду Наполеон III.

...именно Красный и спасет нас... — В начале Крымской войны Тютчев высказывал надежду, что революционный взрыв на Западе парализует вооруженную коалицию западно-европейских стран против России. Хотя Тютчев и смотрит на завязывающуюся борьбу между Западом и Россией с панславистской точки зрения, а роль международного жандарма, которую Россия играла в период Священного союза, истолковывает как «охрану интересов чужих», — тем не менее комментируемое письмо представляет большой интерес открытым признанием той силы, олицетворением которой является для Тютчева «Красный».

17. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Мюнхен.

...через четыре недели мы ожидаем... англичан и французов... — Объявление Англией и Францией войны России последовало раньше, чем предполагал Тютчев (15 марта — Англией, 16 марта — Францией).

18. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Овстуг. Год письма определяется по его содержанию (упоминание о возвращении Э. Ф. Тютчевой из Мюнхена и о смерти А. Н. Карамзина).

...несчастия, постигшего бедную госпожу Аврору... — 16 мая 1854 г., в бою с турками близ г. Каракала в Румынии, погиб А. Н. Карамзин. 17 июля 1854 г. Тютчев писал жене: «Завтра, 18-го, мы приглашены на печальную церемонию, похороны бедного Андрея Карамзина, тело которого, однажды уже погребенное и отрытое, только что прибыло сюда. А я вижу, словно это было вчера, как он — в военной шинели — расстается с нами на вокзале и я говорю ему на прощание: *воротитесь*. И вот как он вернулся!» (*СН*, кн. 19, П., 1915, стр. 124; автограф в *ЛБ*).

19. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Овстуг.

...она ожидает Вяземских... — из-за границы, где с 1851 г. лечился П. А. Вяземский.

Катастрофа — смерть брата... — См. письмо 18.

С прошлого понедельника оба флота стоят в виду Кронштадта. — Англо-французские военные суда стали на якорь вблизи Кронштадта 14 июня 1854 г. Ср. стихотворение Некрасова «Великих зрелищ, мировых судеб...», напечатанное в июльском номере «Современника» с датой: «14 июня 1854 г. (В день появления соединенного флота вблизи Кронштадта)» и с эпиграфом из Пушкина: «Вы грозны на словах, попробуйте на деле!» (Некрасов Н. А., Полн. собр. соч. и писем, т. 1, Гослитиздат, М., 1948, стр. 106, 551—552).

...войны с Австрией не хотят... — Несмотря на резко обострившиеся в ходе Крымской войны дипломатические отношения России с Австрией, разрыва с нею, как известно, не произошло.

20. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Овстуг.

...кое-какие неприятности в министерстве... — С 1848 по 1858 гг. Тютчев занимал должность старшего цензора при министерстве иностранных дел. В чем заключались неприятности, о которых упоминает поэт в комментируемом письме, не известно.

...ввести свои войска в княжества. — В июле 1854 г. русским войскам был дан приказ очистить княжества Молдавию и Валахию, заня-

тые ими в июне 1853 г. (ср. комментарии к письму 15). Узнав об этом решении, австрийское правительство, с согласия Турции, ввело в Молдавию и Валахию свои войска.

...развязка последует совсем с другой стороны...—намек на революционное брожение в западно-европейских странах (ср. комментарии к письму 16).

То, что произошло теперь в Испании... — Клерикально-абсолютистские тенденции испанского правительства привели в июле 1854 г. к восстанию в Мадриде, прекратившемуся после того, как генералу Эспартеро, который возглавил движение «прогрессистов», поручено было сформировать новый кабинет.

Петергоф с его бьющими фонтанами был великолепен и весь полон шума вод,—казалось, будто идет дождь. — Это же сравнение встречается в стихотворном приветствии Тютчева П. А. Вяземскому, посланном ко дню его именин 29 июня 1865 г. Поручая телеграфу «окрылить» его приветствие, поэт говорит:

Пусть умчит его, играя,
В дивный, светлый угол тот,
Где весь день, не умолкая,
Словно буря дождевая
В купах зелени поет.

(Изд. 1939 г., стр. 174.)

21. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Овстуг.

...после новых сокращений.— Семья Тютчева состояла из трех детей от первого брака и трех от второго, но из них в это время старшая дочь Анна находилась при дворе, а сын Дмитрий жил в пансионе Тами́. В момент, когда Тютчев писал комментируемое письмо, ожидалось назначение фрейлиной ко двору второй дочери поэта Дарьи. Кроме того, намечался переезд с осени 1854 г. третьей дочери Тютчева Екатерины в Москву к тетке Д. И. Сушковой.

...письмо твоего брата... — К. Пфеффеля.

На меня повеяло от него не только прошлым летом... — Летом 1853 г. Тютчев ездил за границу.

...ты привела меня в эту страну... — В начале сороковых годов Э. Ф. Тютчева энергично поддерживала поэта в его намерении переехать из Мюнхена в Россию.

...сияющий вид канцлера... — К. В. Нессельроде.

Дятьковичи — имение Э. Ф. Тютчевой в Брянском уезде Орловской губернии, близ Овстуга.

22. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Овстуг.

...покоя, покоя...! Все царства мира за каплю покоя.—Ср. в

трагедии Шекспира «Ричард III»: «A horse! a horse! my kingdom for a horse» («Коня, коня! Все царство за коня! — V, 4).

...об окончательном занятии Аландских островов...—27 июля 1854 г. англо-французские войска высадились на Аландских островах и приступили к осаде крепости Бомарзунд. 5 августа 1854 г. Тютчев писал жене: «Итак, значит, на Аландских островах после сорокалетнего перерыва суждено было возобновиться прерванной в Париже борьбе между Францией и Россией... Я уверен, что... не победой оружия восторжествует Россия над своими врагами. Вся эта вавилонская башня, восставшая против нее, должна сокрушиться сама собою, под тяжестью собственного безумия. Мы также, я знаю, понесем нашу долю наказания, и, конечно, справедливую и законную долю. Но наказание, ниспосланное нам, будет лишь исправительной мерой, тогда как их кара будет окончательной и бесповоротной» (*СН*, кн. 19, 1915, стр. 88). В письме к жене от 11 августа 1854 г. Тютчев сообщает: «Еще нет определенных известий о том, что произошло за последние дни на Аландских островах, где 1800 человек, лишенных всякой возможности помощи, сражаются против 12 тысяч французов» (Там же, стр. 30). Тютчев еще не знал, что 4 августа 1854 г. гарнизон Бомарзунда сдался неприятелю.

...флагелланты — католическая секта XI—XVIII вв.

...что касается Вяземских. — См. примечания к письму 19.

...относительно возможного назначения Дарьи. — См. примечания к письму 21.

Риги-Кульм — гора в Швейцарии.

...про бедного Яковлева... — С. Ф. Яковлев потерял зрение.

23. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Овстуг. Год письма определяется по его содержанию.

...статья твоего брата... — К. Пфеффель переслал Э. Ф. Тютчевой при письме от 17 ноября 1854 г. (*МА*) копию своего письма к Лоренси, в надежде, что оно сможет быть напечатано в России. Рукопись не сохранилась.

Кавдинские вилы (Furculae Caudinae), или Кавдинское ущелье — название двух лесистых горных проходов близ г. Каудиума. Во вторую самнитскую войну (321 г. до н. э.) в Кавдинском ущелье потерпели поражение четыре римских легиона. Побежденные вынуждены были подвергнуться унизительному обычаю прохождения под игом.

Известия, которые ты сообщаешь мне о Гатчине... — Повидимому, речь идет о болезни императрицы, жены Николая I. Двор в это время находился в Гатчине.

Путешествие Китти... — из Овстуга в Москву (см. комментарии к письму 21).

С верой евангельского расслабленного... — Имеется в виду евангельская легенда о расслабленном, долгое время ожидавшем исцеления (Иоанн, V, 1—15).

24. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Овстуг.

...для принесения пресловутой присяги... — императору Александру II, вступившему на престол 19 февраля 1855 г.

...известие о взятии Керчи... — Занятие Керчи англо-французскими войсками произошло 13 мая 1855 г.

...этот отъезд должен был весьма жестоко напомнить другой — отъезд на войну брата В. Н. Карамзина Андрея, убитого в 1854 г. (см. письмо 18).

...кое-как привел в порядок его работу... — По просьбе гр. Д. Н. Блудова Тютчев неоднократно переводил на французский язык его статьи и составленные им официальные документы.

25. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Овстуг.

...о возвращении четы Вяземских — из заграницы.

«Allgemeine» — «Allgemeine Zeitung» («Всеобщая газета») — газета, издававшаяся в Аугсбурге.

«Journal de St.-Pétersbourg» — («С.-Петербургская газета») — орган русского министерства иностранных дел, издававшийся на французском языке в Петербурге.

...как в видении Иéзекииля. — В библейской книге пророка Иезекииля (гл. 37) повествуется о воскрешении человеческих костей, которыми усеяно было обширное поле.

26. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Овстуг.

...о моем путешествии... — 3 сентября 1855 г. Тютчев приехал в Москву из Овстуга, где он провел с семьей большую часть августа.

...ошеломляющее впечатление севастопольской катастрофы.—27 августа 1855 г. был взят французами Малахов курган, после чего русские войска оставили Севастополь. Героическая оборона Севастополя продолжалась одиннадцать месяцев.

Обитаемый Кремль... — Имеется в виду пребывание Александра II и двора в Москве.

Великая империя основана... — Эти строки указывают на то, что, несмотря на разочарования, пережитые Тютчевым в связи с Крымской войной, он не отказался от своих панславистских утопий.

Брат г-жи Смирновой — А. О. Россет.

...вдовствующая королева... собирается приехать... в Россию... — Об опасениях, вызванных при дворе предстоящим приездом королевы нидерландской Анны Павловны, имевшей тяжелый и неуживчивый характер, рассказывает в своем дневнике А. Ф. Тютчева («При дворе двух императоров», вып. II, М., 1929, стр. 51).

27. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Овстуг. Год устанавливается по связи этого письма с предыдущим.

...путешествие по ту сторону Москвы... — Тютчев имеет в виду свое путешествие из Овстуга в Москву.

...тотчас примкнет вся Германия... — Подразумевается договор о наступательно-оборонительном союзе между Австрией и Пруссией, подписанный 20 апреля (нов. ст.) 1854 г. и приглашавший все германские государства примкнуть к их союзу.

...чудовищная тупость этого злосчастного человека...— Николая I.

...тревогам твоего брата... — В письме к Э. Ф. Тютчевой от 2 сентября (нов. ст.) 1855 г. К. Пфеффель выражал опасение, как бы затянувшаяся война не отразилась на судьбе его капитала (*МА*).

Императрица-мать — Александра Федоровна, вдова Николая I.

...государь возвращается 29-го. — Александр II в то время находился в Николаеве.

28. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Аренсбург, где лечилась Э. Ф. Тютчева.

...среди празднеств и официальных поздравлений... — 22 июля был день именин императрицы Марии Александровны.

...о внезапной и жестокой смерти бедного С. Мещерского. — С. В. Мещерский скоропостижно умер на острове Эзель.

...попаду к сроку... — Имеется в виду предстоящая коронация Александра II.

29. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Петербург. Год определяется по содержанию письма.

Ах, до чего мне это надоело... — Речь идет о торжествах по случаю коронации Александра II, состоявшейся 26 августа 1855 г.

30. П. А. Вяземскому.

Год письма определяется его содержанием, связанным с выходом в свет в 1857 г. сборника стихотворений Л. А. Мея, в котором было впервые напечатано одно из упомянутых в письме стихотворений; 9 июля приходилось на вторник также в 1857 году.

...два стихотворения Мея... — Стихотворение «Вихорь» написано Меем в 1856 г. и включено в первое отдельное издание его стихов. Установить, какое второе стихотворение послал Тютчев Вяземскому, не пред-

ставляется возможным, так как текстов стихов при письме не сохранилось.

«Домовой» — Тютчев ошибочно называет так стихотворение Мея «Хозяин» (1849).

12 июля — день рождения Вяземского.

31. А. Д. Блудовой.

Год письма определяется его содержанием: суждения по поводу предстоящей реформы указывают на то, что оно относится к концу пятидесятых годов; 28 сентября приходилось на субботу в 1857 г.

...ваш дневник... — Содержание его не известно.

...не в обиду будь сказано официальной формуле... — Тютчев имеет в виду формулу, которой начинались царские манифесты: «Мы, божиею милостию...». Письмо представляет большой интерес: Тютчев, еще не так давно противопоставлявший самодержавную Россию как «христианскую империю» «безбожному» Западу (статья «Россия и Революция» 1848 г.), теперь пишет о лжи и лицемерии «официальной формулы», придающей российской монархии некий религиозно-мистический ореол. Несомненной политической дальновидностью отличается высказывание Тютчева о том, что крепостное право будет заменено «произволом», облеченным «во внешние формы законности».

32. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Овстуг.

...весьма реальное беспокойство... — В этих строках Тютчев подразумевает крестьянское движение, хотя и пишет о «тишине, господствующей в стране». С 1858 г. число крестьянских волнений стало возрастать: в 1858 г. их было зарегистрировано 86, в 1859 г. — 90, в 1860 г. — 108.

...что происходит в комитетах... — губернских комитетах по выработке проекта крестьянской реформы.

...временно выслан в Пермь. — Н. Ф. Павлов игрой в карты расстроил состояние своей жены, поэтессы К. К. Павловой. В 1852 г. она подала на него жалобу московскому генерал-губернатору Закревскому. Павлов был посажен в долговое отделение тюрьмы, а так как у него были найдены «запрещенные издания», то был обвинен и в «вольнодумстве» и выслан в Пермь.

...он чувствует себя призванным основать политико-литературный журнал... — С 1860 г. Павлов начал издавать газету «Наше время».

...в программе праздника... — В письме к жене от 29 мая 1858 г. Тютчев сообщал о том, что должен принимать участие в церемонии освящения Исаакиевского собора. Сообщение это проникнуто той же иронией, с которой поэт обычно рассказывает о своих придворных обязанностях: «Завтра, в пятницу, приблизительно в этом же часу, жителям

Петербурга посчастливится узреть в одной из золоченых карет процессии вполне смехотворную фигуру, т.е. меня. Ввиду того, что я был вновь назначен дежурным в числе других четырех камергеров, которые должны участвовать в этой церемонии, и живо представив себе, как бы ты была ⟨...⟩[1] видеть меня привлеченным к этому торжеству, я мужественно покорился из любви к тебе и послушно принял выпавшее на мою долю позорище. Итак, завтра в 9 $^1/_2$ часов я обязан прибыть в Зимний дворец. Там мы сядем в одну из золоченых карет и торжественно двинемся, соответственно нашему чину, перед тысячами зевак, столпившихся, чтобы поглазеть на нас. Нам обещают пять часов такого приятного времяпрепровождения» (*ЛБ*).

33. А. М. Горчакову.

...курьерская экспедиция...— Просьба Тютчева была удовлетворена. 9 мая 1859 г. поэт выехал в Берлин. Отпуск был дан ему на три месяца, затем продлен на шесть недель. Из Берлина Тютчев, как и предполагал, поехал в Мюнхен, где пробыл около недели (с 22 по 29 мая), а оттуда направился лечиться в Вильдбад.

...перед лицом настоящего положения...— Письмо писано накануне войны между Францией и Австрией. В течение предшествующих лет, путем дипломатических переговоров с Францией, Сардиния стремилась склонить ее к активному вмешательству в австро-сардинские отношения с целью разрешения итальянского вопроса. В феврале 1859 г. Россия выступила с предложением обсудить его на общеевропейском конгрессе. Однако Австрия была против участия Сардинии в конгрессе, а в апреле предъявила ей ультиматум, требовавший немедленного разоружения. Отказ Сардинского правительства выполнить это требование послужил непосредственным поводом к войне, вспыхнувшей 29 апреля (нов. ст.) 1859 г. Вмешательство России в войну между Сардинией и Францией, с одной стороны, и Австрией, с другой, выразилось в циркулярной ноте министра иностранных дел Горчакова немецким дворам, предостерегавшей их от враждебных выступлений против Франции, с которой Россия была связана соглашением о дружественном нейтралитете. В течение мая — июня 1859 г. франко-сардинские войска одержали ряд крупных побед над австрийцами, но уже 11 июля (нов. ст.) Наполеон III подписал Виллафранкский мирный договор с Австрией. Это одностороннее решение было вызвано страхом Наполеона перед деятельным вооружением государств Германского союза и перед широким размахом революционно-освободительного движения в Италии.

...союз с Австрией еще раз сделается формулой для всех этих устремлений...—Любопытные данные об австрофильских настроениях русских придворно-правительственных кругов этого времени содержатся в днев-

[1] Пропуск в подлиннике (*ред.*).

нике А. Ф. Тютчевой «При дворе двух императоров», вып. II, 1929, стр. 193.

Они не простят вам разрушения системы... — До назначения Горчакова министром иностранных дел русская внешняя политика носила ярко выраженный австрофильский характер, тесно связанный с принципами Священного союза. Горчаков выступил инициатором нового курса русской внешней политики, свободного от традиции Священного союза и имевшего своей конечной целью добиться отмены тяжелых для России условий Парижского мирного договора 1856 г. Союзу России с немецкими державами Горчаков противопоставил идею сближения с Францией.

Я еду... в Москву. — Тютчев приехал в Москву 24 или 25 апреля 1859 г. и вернулся в Петербург 1 мая.

Я увижу кое-кого из этих господ... — В настоящем письме Тютчев предлагает Горчакову свои услуги в качестве посредника между министерством иностранных дел и печатью. Под «просвещенным национальным мнением» поэт подразумевает прежде всего журнал «Русский вестник» — в то время умеренно либеральный орган, возглавлявшийся М. Н. Катковым.

34. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Петербург.

...уверенность в несомненности шестого числа... — По всей вероятности, на 6 мая намечался отъезд Э. Ф. Тютчевой в Овстуг.

...неуверенность в моем... отъезде... — за границу — см. письмо 33.

...заседании некоего литературного общества... — Тютчев имеет в виду Общество любителей российской словесности при Московском университете. Основанное в 1811 г., оно пришло в упадок к тридцатым годам и прекратило свою деятельность около 1844 г. Общество вновь открылось в 1858 г., а в марте 1859 г. после тридцатилетнего перерыва возобновило свои публичные чтения. Тютчев был избран членом-сотрудником Общества 30 марта 1818 г., действительным членом — 21 января 1859 г. Описываемое им собрание было вторым публичным заседанием Общества по его возобновлении. Речь А. С. Хомякова была посвящена «причинам учреждения Общества любителей российской словесности в Москве». В письме Тютчева не без иронии отмечается излюбленная славянофилами «вечная» тема о значении Москвы и Петербурга, которую затронул в своей речи Хомяков. После него С. П. Шевырев прочел свое стихотворение «К Италии», Н. Ф. Павлов выступил на тему «о несправедливых нападениях на литературу» и огласил стихотворение Вяземского «Желание», Н. П. Гиляров-Платонов познакомил публику с отрывком из повести Л. Н. Толстого «Семейное счастие». Хомяков

заключил заседание чтением своих стихов «Подражание пророчеству Иезекииля». Характерно, что Тютчев отмечает «злободневный» интерес выступления Павлова. На этом заседании Павлов огласил свою статью «Статский — армейцу», написанную в защиту «Военного сборника», в редактировании которого принимал участие Н. Г. Чернышевский, против нападок на него со стороны газеты «Русский инвалид». Статья Павлова, предназначавшаяся для «Отечественных записок», была запрещена цензурой, вышла в 1860 г. отдельной брошюрой за границей и лишь в 1898 г. появилась в русской печати («Русское обозрение», 1898, март, стр. 86—103).

...*к грозным событиям, готовящимся за рубежом* — см. письмо 33.

...*редактор «Русского вестника»* — М. Н. Катков.

35. Е. Ф. Т ю т ч е в о й.

Адресовано в Москву. Датируется концом ноября 1859 г., т. к. под «сердечным вниманием» дочери Тютчев, очевидно, имеет в виду ее поздравление ко дню его рождения — 23 ноября.

А когда мы увидим нашу милую Дарью? — Д. Ф. Тютчева находилась в это время за границей.

...*дяде и тетке*... — Н. В. и Д. И. Сушковым.

36. А. Ф. Т ю т ч е в о й.

Адресовано в Ливадию.

...*среда, в которую ты была поставлена судьбой*... — Тютчев имеет в виду придворный круг.

...*не немая, как та, в комедии.*— Вероятно, намек на комедию Мольера «Le médecin malgré lui» («Лекарь поневоле», акт II, сцена 6).

37. М. И. Ж и х а р е в у.

Адресовано в Москву.

...*драгоценный подарок* — фотографический снимок с картины художника К. Бодри, изображающей кабинет Чаадаева в Москве. В настоящее время этот снимок хранится в Музее-усадьбе Мураново имени Ф. И. Тютчева.

...*кем-то сказанное слово*... — В своей статье о Чаадаеве Жихарев пишет: «С течением времени квартира, никогда не бывшая прочно отделанною, очень состарилась; пришедши почти в ветхость, сделалась для житья не совсем удобною, и про нее-то пустил в свет Жуковский в то время довольно известную шутку, что она «давным-давно уже держится не на столбах, а одним только духом» («Вестник Европы», 1871, кн. 9, стр. 21).

38. А. И. Г е о р г и е в с к о м у.

Адресовано в Москву. Год письма определяется по содержанию: 4 августа 1864 г. умерла Е. А. Денисьева, о похоронах которой Тютчев сообщает А. И. Георгиевскому.

39. А. И. Георгиевскому.

Адресовано в Москву. Год письма определяется по содержанию.

...*детей ваших.*— У А. И. и М. А. Георгиевских было два сына — Владимир и Лев.

40. Я. П. Полонскому.

...*увезти себя за границу...* — Я. П. Полонский не смог сопровождать Тютчева, который во второй половине августа 1864 г. выехал за границу один.

41. Д. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Ниццу.

...*будто я слышу отзвук другого голоса...* — Е. А. Денисьевой.

42. Я. П. Полонскому.

Адресовано в Петербург.

...*не живется...*— Ср. отрывок из письма Тютчева к неизвестному лицу: «Мое душевное состояние ужасно. Я изнываю день за днем все больше и больше в мрачной бездонной пропасти... Смысл моей жизни утрачен, и для меня ничего больше не существует... То, что я чувствую, невозможно передать словами, и если бы настал мой последний день, то я приветствовал бы его, как день освобождения... Дорогой друг мой, жизнь здесь на земле невозможна для меня. И если «она» где-нибудь существует, «она» должна сжалиться надо мной и взять меня к себе» («Исторический вестник», 1903, июль, стр. 200—201).

...*часть этого вы на себе самом испытали...* — В 1860 г. умерла первая жена Полонского.

...*именем нашего комитета...*—Комитета цензуры иностранной.

43. А. И. Георгиевскому.

Адресовано в Петербург. Год письма определяется по содержанию.

...*бедные, ничтожные вирши...* — При этом письме Тютчев послал А. И. Георгиевскому автографы стихотворений: «Утихла биза... Легче дышит...», «О, этот юг! о, эта Ницца!..» и «Весь день она лежала в забытьи...» (хранятся в *ЛБ*). В не дошедшем до нас ответном письме А. И. Георгиевский, повидимому, высказывал какие-то сомнения в уместности появления этих стихов в печати. В письме к Георгиевскому от 3/15 февраля 1865 г. из Ниццы поэт пишет: «Что же до *стихов*, о которых вы упоминаете, то вот вам мое последнее слово: те, которые бы ими оскорбились, те еще бы пуще оскорбили меня. При жизни ее я много спускал потому только, признаюсь, что все, что не *она*, так мало имело значения в глазах моих; теперь *не то*, далеко не то. Итак, я желаю, чтобы стихи были напечатаны, как они есть. Вчера я отправил в редакцию новую пьесу, искаженную в «Дне». Она будет третьею, а четвертою та, кото-

рая непосредственно к ней (т. е. к Е. А. Денисьевой — *К. П.*) относится. *Полного* моего имени выставлять не нужно, только букву Т. Я не *прячусь*, но и выставлять себя напоказ перед толпою не хочу. Для сочувствующих одного намека довольно» (Чулков Г., Последняя любовь Тютчева, М., 1928, стр. 58; письмо хранится в *ЦГАЛИ*). «Пьеса, искаженная в «Дне» — стихотворение «Как хорошо ты, о море ночное...». Все четыре стихотворения напечатаны в февральской книжке «Русского вестника» за 1865 г.

44. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Петербург.

...свадьба Анны... — 12 января 1866 г. А. Ф. Тютчева вышла замуж за И. С. Аксакова.

...как и в прошлом году. — 5 февраля 1865 г. М. Ф. Тютчева вышла замуж за Н. А. Бирилева; свадьба состоялась в Ницце.

45. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Овстуг. Год письма определяется по содержанию.

...письмо твоего брата. — Письмо К. Пфеффеля.

Война только прервана... — Австро-прусская война, спровоцированная Бисмарком с тем, чтобы добиться от Австрии выхода ее из Германского союза и согласия на образование нового Северо-Германского союза под главенством Пруссии, началась 16 июня (нов. ст.) 1866 г. и прекратилась после разгрома австрийской армии при Садовой (3 июля 1866 г.). 22 июля было заключено перемирие, а через четыре дня в Никольсбурге подписаны предварительные мирные условия, соответствовавшие планам Бисмарка. Тютчев с большой проницательностью рассматривал австро-прусскую войну как «прелюдию» будущего столкновения между Пруссией и Францией.

...будет обязана политике Наполеона III... — Перед началом австро-прусской войны Бисмарк склонил Наполеона III не препятствовать заключению военного союза между Италией и Пруссией. Вступление Италии в войну на стороне Пруссии вынудило Австрию сражаться на два фронта. В письме к жене от 9 июля 1866 г. Тютчев писал: «С минуты на минуту ожидают известия о сражении под стенами Вены, и, если таковое будет проиграно австрийцами, оно окажется, я полагаю, последним. Это послужит сигналом к полному распадению Австрии. По крайней мере таково мнение императора Луи Наполеона, который в оправдание себе сказал намедни, говоря об Австрии, что не может же он заключать союзы с трупом; это почище больного человека, о котором говорил император Николай (имея в виду Турцию. — *К. П.*). Но и положение самого Наполеона представляется мне серьезно скомпрометированным; видно, Франция очень низко пала, если она простит ему невероятные последствия его политики. В конце концов оказывает-

ся, что с чрезвычайной ловкостью и ценой многочисленных жертв он создал у границ Франции два могущественных национальных единства, оба враждебно расположенные к нему и в настоящее время уже подавшие друг другу руку, чтобы действовать против Франции. Если подобный результат не приведет во Франции к революции, то это послужит доказательством того, что она так же отреклась от себя, как и Австрия» (*СН*, кн. 21, П., 1916, стр. 226—227; автограф в *ЛБ*).

...моего милейшего приятеля князя... — А. М. Горчакова.

Малютка — полугодовалая дочь Н. А. и М. Ф. Бирилевых.

...Данилову... порученное... дело... — О чем идет речь, установить не удалось.

46. А. Ф. Аксаковой.

Адресовано в Москву.

«Москва» — еженедельная газета славянофильского направления, издававшаяся зятем Тютчева И. С. Аксаковым с 1 января 1867 по октябрь 1868 г.

...человек, только что назначенный его товарищем... — Сообщение Тютчева о назначении Н. В. Левашова товарищем министра внутренних дел П. А. Валуева не подтвердилось.

...ломать копья с Шуваловым... — В январе 1867 г. газета «Москва» получила первое предостережение за передовую статью от 11 января 1867 г., содержавшую «резкие суждения о существующих у нас отношениях между церковью и правительством». 22 января Тютчев писал дочери А. Ф. Аксаковой: «Имею причины предполагать, что главнейшая обида усмотрена в слишком бесцеремонном упоминании 3-го Отделения, а ведь 3-е Отделение — это власть, которая вполне основательно считает свое название за ругательство» (*ЦГАЛИ*). В статье от 28 января, о которой упоминает Тютчев в комментируемом письме, речь идет о «степени политической зрелости в... правительстве, которая состоит... в том, чтобы уметь различить действительную опасность от мнимой» (намек на недавнее предостережение, объявленное «Москве»).

Вчера, наконец, г. Юркевич... — Издатель газеты «Народный голос» П. А. Юркевич-Литвинов пользовался поддержкой Александра II и, повидимому, был связан с 3-м Отделением. Еще в начале 1866 г. он обратился к Александру II с письмом, предупреждая о готовящемся на него покушении Каракозова. В дальнейшем Юркевич называл себя «беспосредственным корреспондентом его императорского величества» (см. дневник В. Ф. Одоевского от 1 января 1867 г. — *ЛН*, вып. 22—24, 1935, стр. 227). Тютчев иронически относился к Юркевичу и к его газете. 13 февраля 1867 г. он писал А. Ф. Аксаковой: «...эта газета, такая как есть, имеет хорошие стороны, и было бы, право, недурно, если бы она

выражала в действительности сокровенную мысль его величества. Но ничего этого нет. Самое большее, что она выражает, это — каприз, — все равно, как если бы Милорд (любимая собака Александра II — *К. П.*) сделался издателем газеты. Я уверен, что это издание пользовалось бы большой дозой свободы и потому самому, хорошо направленное, могло бы даже принести немалую пользу» (*ЦГАЛИ*). Газета «Народный голос» получила три предостережения и была приостановлена на четыре месяца, после чего прекратила свое существование.

47. Е. Э. Трубецкой.

Год письма устанавливается по содержанию.

Бедная моя дочь... — М. Ф. Бирилева, у которой в апреле 1867 г. умерла дочь.

...осужден на затворничество... — Тютчев в это время был болен.

Остается только раскрыть объятия... — Подразумевается предстоявшая поездка Александра II на Парижскую выставку, вызвавшая недовольство придворных, в особенности Горчакова (см. Никитенко А. В., Дневник, т. 3, Гослитиздат, 1956, стр. 82). Позднее, когда эта поездка все же состоялась, Тютчев писал А. Ф. Аксаковой, что «Парижский визит... не возымеет никакого непосредственного влияния на подготовляющиеся события, несущие с собою всякого рода кризисы и бедствия и которые когда-нибудь выкажут в столь странном свете все эти вавилонские празднества, им предшествовавшие... Провидение, действуя, как великий артист, готовит нам тут один из самых поразительных театральных эффектов... Под общество подведена мина, и вот за счет этой уже заряженной мины разыгрываются все эти подтасовки торжествующего в своей цивилизации и обнимающегося в мире и братстве человечества» (письмо от 21 июня 1867 г. — *ЛН*, вып. 19—21, стр. 234—235).

...этих несчастных народностей... — Имеются в виду восточные славяне.

48. А. Ф. Аксаковой.

Адресовано в Москву.

...ma fille Anna... — Слегка переиначенная цитата из сказки Шарля Перро «La barbe bleue» («Синяя борода»): «ma *soeur* Anna, ne vois-tu rien venir?». В письме Тютчева этот вопрос связан с затянувшейся беременностью дочери Анны.

...отвратить угрозу второго предостережения... — 30 марта 1867 г. газета И. С. Аксакова «Москва» была приостановлена на три месяца. 1 июля Аксаков возобновил издание газеты. Сообщая об этом жене в письме от 2 июля, Тютчев пишет: «...Я не буду удивлен, если уже этот первый номер вызовет предостережение, вследствие нескольких

предварительных слов благодарности своим подписчикам за то, что они остались ему верны, — слов, выражающих самое нескрываемое презрение к поразившей его власти» (*СН*, кн. 21, П., 1916, стр. 236; автограф в *ЛБ*). Тютчев не ошибся: в номере «Москвы» от 9 июля было опубликовано предостережение, объявленное издателю именно за эту статью. «...Эти пререкания заставляют,— писал поэт 6 июля 1867 г. по этому поводу жене, — лишь ярче выступать все, что есть отталкивающего в некоторых преобладающих влияниях, которые теперь господствуют у власти» (*СН*, кн. 21, П., 1916, стр. 236). Из письма Тютчева к жене от 13 августа 1867 г. мы узнаем, что накануне поэт посетил Лобанова-Ростовского, управлявшего министерством внутренних дел ввиду отъезда Валуева, и нашел его «очень дурно расположенным к газете Аксакова». По этому поводу Тютчев высказал Лобанову-Ростовскому «несколько горьких истин об управлении печатью, не обладающем ни умом, ни честностью» (*СН*, кн. 21, стр. 23).

...одна из последних статей по поводу дополнительного указа о печати. — Имеется в виду статья в № 103 «Москвы» за 1867 г. В цензурных материалах отмечено, что эта статья, «говоря о новом законе касательно порядка печатания постановлений земских и других сословных собраний, дозволяет себе резкие против него выходки, называет его репрессивным и мертвящим жизнь наших провинций» («Материалы, собранные особою комиссиею, высочайше утвержденною 2 ноября 1869 года, для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати», ч. 2, Спб., 1870, стр. 9).

...ливрея обязывает, так же как и благородное происхождение... — перефразировка известной французской поговорки: «Noblesse oblige» («Благородное происхождение обязывает»).

Катков — с одной стороны... — Имеются в виду неоднократные предостережения «Московским ведомостям».

«Весть» — реакционно-помещичья газета, выходившая в Петербурге с 1863 по 1870 г. Ср. стихотворение Тютчева «Издателю газеты «Весть».

...статья в «Биржевых ведомостях»... — 6 сентября 1867 г. умеренно-либеральной газете «Биржевые ведомости» было объявлено первое предостережение за передовые статьи в №№ 147, 149, 155, 166, 167 и 225, содержавшие «предосудительное охуждение правительственных мер по части финансов» и выпады лично против министра финансов («Материалы... о цензуре и печати», ч. 2, Спб., 1870, стр. 141). Очевидно, одну из этих статей и имеет в виду Тютчев.

49. М. Ф. Бирилевой.

Адресовано в Овстуг. Датируется второй половиной августа 1867 г., так как написано в ответ на письмо М. Ф. Бирилевой от 9 августа 1867 г. из Овстуга. На подлиннике письма М. Ф. Бирилевой — приписка поэта на французском языке, обращенная к А. Ф. Аксаковой: «Посылаю тебе письмо Мари́, содержание коего, в части местных подробностей, могло бы заинтересовать твоего мужа. *Ф. Т.*»

...факты, отмечаемые тобою в Брянском уезде... — Письмо М. Ф. Бирилевой к отцу написано через несколько дней после празднования пятидесятилетия церковно-административной деятельности московского митрополита Филарета. Приводим отрывок, вызвавший ответ Тютчева: «...вчера вечером я получила «Москву» от 5-го числа. Аксаков прав, предоставляя богу и истории судить о достоинствах этого патриарха. Я сама расположена чтить его в молчании, но не мог ли бы он сделать что-нибудь для духовенства, а именно для деревенского духовенства? Деморализация увеличивается с каждым годом. Здесь нет больше ни одного священника, который не проводил бы три четверти своего времени в пьянстве, наш (увы!) в том числе. Мне его очень жалко, ибо в результате одиночества, скуки и нужды дошел он до состояния такого отупения... Никогда еще народ и духовенство не представали передо мной в таком безобразном свете; спрашиваешь себя, как и чем это кончится? Суждено ли им, подобно Навуходоносору, стать животными в полном смысле слова, или же произойдет благоприятный кризис, ибо предоставленные самим себе пастыри и овцы с каждым годом становятся все более отталкивающими. Впрочем, может быть, это — особенность, присущая Брянскому уезду, и к тому же — «в Россию можно только верить». Далее М. Ф. Бирилева сообщает, что каждый день на сельском кладбище хоронят «детей, гибнущих из-за недостатка ухода» *(ЦГАЛИ)*.

...что-то прогнило в королевстве датском. — Цитата из трагедии Шекспира «Гамлет» (акт I, сцена 5). Тютчев ошибается, приписывая эти слова Гамлету: их произносит Марцелло.

Фуад-паша приезжал в Ливадию... — В августе 1867 г. Фуад-паша приезжал во главе чрезвычайного посольства приветствовать Александра II в Крыму. При приеме присутствовал русский посол в Константинополе Н. П. Игнатьев.

...наш меморандум. — В 1866—1867 гг. христианское население острова Крита восстало против турецкого владычества. Критяне пользовались поддержкой греков. В связи с этим в апреле 1867 г. Россия, Франция, Северо-Германский союз и Италия обратились к турецкому правительству с предложением предоставить критянам возмож-

ность высказаться путем плебисцита относительно будущего положения острова, так как считали желательной уступку Крита Греции. Ответ Турции последовал лишь 23 августа (4 сентября) 1867 г. и был отрицательным (ср. стихотворение «Ты долго ль будешь за туманом...»).

50. Е. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Биарриц.

...от Старого Пимена...— Е. Ф. Тютчева жила в Москве в Старо-Пименовском переулке.

...благодаря присутствию императорского сфинкса... — Наполеона III. В стихотворении, написанном в конце 1872 г. на смерть Наполеона, Тютчев говорит: «Ты — сфинкс, разгаданный и пошлою толпой...» *(Изд. 1939 г.*, стр. 246).

51. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Овстуг. Год определяется по содержанию письма (свадьба греческого короля; беременность А. Ф. Аксаковой).

...свадьба короля эллинов. — 15 октября 1867 г. в Петербурге состоялась свадьба короля Георга I с вел. княжной Ольгой Константиновной.

...Наполеон, поставленный в безвыходное положение... — В результате австро-прусской войны 1866 г., после которой Венецианская область вошла в состав итальянского королевства, Италии для полного объединения недоставало только Рима, находившегося вместе с окружающей его территорией в составе Папской области. Между тем французское клерикально-консервативное правительство намеревалось и впредь поддерживать светскую власть папы, а итальянское правительство не решалось выступать против папы. Гарибальди открыто призывал итальянских патриотов идти на Рим и «разорить это гнездо гадюк». По требованию Наполеона Гарибальди был арестован и выслан на остров Капреру. Тем временем войска итальянских патриотов 28 сентября (нов. ст.) 1867 г. вторглись в Папскую область. В октябре их возглавил бежавший из-под стражи Гарибальди. Тогда же французские войска в свою очередь вступили на территорию Папской области. В декабре правительство Наполеона III провозгласило с трибуны Законодательного корпуса: «Италия не владеет Римом», чем безнадежно скомпрометировало себя в глазах итальянского народа. Тютчев считал, что, защищая светскую власть папы, Наполеон III отстаивает исторически обреченное дело.

...любовная интрига бедного канцлера... — А. М. Горчаков был влюблен в свою внучатную племянницу Н. С. Акинфиеву, развод которой с мужем в течение нескольких лет являлся пищей для светских пересудов. Однако Акинфиева не стала «канцлершей» и вышла замуж за герцога Н. М. Лейхтенбергского.

...известие об Анне, чей status quo продолжает сохраняться... — Имеется в виду беременность А. Ф. Аксаковой. 25 октября 1867 г. А. Ф. Аксакова родила мертвого ребенка.

Я видел вас троих... — Э. Ф. Тютчеву, М. Ф. и Н. А. Бирилевых.

52. А. Ф. Аксаковой.

Адресовано в Москву. Год письма определяется по содержанию.

...акт гражданского мужества... — В ответ на второе предостережение, полученное газетой «Москва» по ее возобновлении, Аксаков поместил в номере от 28 ноября 1867 г. передовую статью, начинавшуюся словами: «Дающая предостережения рука не оскудевает», за что «Москва» была вновь приостановлена на четыре месяца.

...мучительная развязка... — вероятно, приостановка «Москвы».

53. Е. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Москву.

...испытать на себе истину изречения... — Слегка измененная цитата из евангелия (Матфей, X, 36).

...издании сборника виршей... — Речь идет о втором отдельном издании стихотворений Тютчева, выпущенном в 1868 г. в Москве сыном поэта И. Ф. Тютчевым и зятем И. С. Аксаковым.

...несколько строк по адресу князя Вяземского... — Имеется в виду стихотворение «Когда дряхлеющие силы...». Вследствие требования поэта оно было вырезано из сборника вместе с тремя другими: «Как верно здравый смысл народа...», «Два разнородные стремленья...» и «К N. N. при получении от него в подарок очков» (последнее см. в *Изд. 1939 г.*, стр. 169), а оглавление было перепечатано.

...после выхода первого номера его «Москвы»... — С 3 апреля 1868 г., после четырехмесячного перерыва, Аксаков возобновил издание газеты «Москва».

...книга о покойном Филарете... — «Записки о жизни и времени святителя Филарета, митрополита московского, составлены Н. В. Сушковым», М. 1868.

54. Д. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Вюрцбург.

...при приближении годовщины дня... — 12 апреля, дня рождения Д. Ф. Тютчевой.

55. Н. И. Тютчеву.

Адресовано в Москву.

Предстоящий брак... — 14 июня 1868 г. старший сын поэта Д. Ф. Тютчев женился на О. А. Мельниковой, бывшей на одиннадцать лет старше его. Слова Тютчева о «няне» объясняются тем, что Д. Ф. Тютчев страдал болезнью сердца.

...предостережение состоялось. — Предостережение газете «Москва» было объявлено за передовую статью от 3 апреля 1868 г.

...тошнота наша никогда не доходит до рвоты. — Эта фраза перекликается с эпиграммой, написанной, повидимому, тогда же («Печати русской доброхоты...»).

56. Д. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Вюрцбург.

Alas, poor Jorick! — Цитата из «Гамлета» Шекспира (акт V, сцена 1).

...сопровождать мама́ и Мари́ до Москвы... — Э. Ф. Тютчева с дочерью собирались в это время ехать на лето в Овстуг.

57. Е. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Москву. Год письма определяется по сообщению о предстоящей публикации статьи Вяземского.

...послание, которое повез им Ваня... — В конце октября 1868 г. газета И. С. Аксакова «Москва» была приостановлена на шесть месяцев, и министр внутренних дел обратился в первый департамент сената с представлением об окончательном прекращении газеты. В связи с этим 2 января 1869 г. Тютчев писал И. С. Аксакову о необходимости его приезда в Петербург. Письмо было доставлено Аксакову И. Ф. Тютчевым.

Весь свадебный поезд... — В начале января 1869 г. принц Е. М. Романовский, сын вел. кн. Марии Николаевны, женился на Д. К. Опочининой.

...нам прочли статью... по поводу романа Толстого... — Статья П. А. Вяземского «Воспоминания о 1812 годе», по поводу «Войны и мира» Толстого, напечатана впервые в журнале «Русский архив», 1869 г., вып. 1, столбцы 182—016.

...поблагодари его... за его щедрость ко мне. — Что имеет в виду Тютчев, не ясно. Произведений его в «Русском архиве» Бартенева за 1868 г. не появлялось. В 1867 г. там было опубликовано стихотворение «1856» (см. стр. 528—529).

58. Е. К. Зыбиной

Куда адресовано письмо, не установлено. Относится к 1869 г., так как в этом году 28 апреля приходилось в понедельник.

Благодаря нескольким прекрасным стихам... — На тетради стихов Зыбиной Тютчев однажды написал четверостишие:

Тут целый мир живой, разнообразный
Волшебных звуков и волшебных слов, —
О, этот мир, так молодо-прекрасный, —
Он стоит тысячи миров.

(Изд. 1939 г., стр. 183.)

О каком стихотворении Зыбиной идет речь в настоящем письме, установить не удалось.

...вашей матушке... — С. А. Зыбиной.

59. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Овстуг. Помета «Курск» позволяет уточнить дату письма: в Курске Тютчев был в июле 1869 г. проездом в Киев.

...ожидать ответа от В. Карамзина... — О чем идет речь — не известно.

...бедный больной — Н. А. Бирилев, страдавший нервнопсихическим заболеванием.

60. М. Н. Похвисневу.

Адресовано в Петербург. Дата, отсутствующая в подлиннике, установлена по письму Тютчева к А. Н. Майкову от 12 августа 1869 г.: «Сейчас... писал к Похвисневу» («Урания. Тютчевский альманах», Л. 1928, стр. 219).

Я только что воротился из Киева... — В письме к А. Н. Майкову Тютчев сообщает свои впечатления от пребывания в Киеве: «Да, я Киевом остался совершенно доволен. Он оказался принадлежащим к той редкой категории впечатлений, оправдывающих чаемое. Да, замечательная местность, закрепленная великим прошедшим и, очевидно, предназначенная для еще более великого будущего. Тут бьет ключом один из самых богатых родников истории» («Урания», стр. 220).

...по случаю 30 августа... — дня именин Александра II. К этому дню приурочивались правительственные награды и повышения.

61. А. Ф. Аксаковой.

Адресовано в Москву.

...славянские живые картины... — 1 апреля 1870 г. в Петербурге состоялся вечер живых картин, данный в пользу Славянского благотворительного комитета. Для этого вечера, в качестве текста к живой картине, Тютчевым было написано стихотворение «Гус на костре» (см. стр. 281 настоящего издания).

E pur si muove — знаменитая фраза, приписываемая Галилею.

...другое имя... — Кого имеет в виду Тютчев, не установлено.

62. А. Ф. Аксаковой.

Адресовано в Москву. Год письма определяется по содержанию.

Война началась... — 19 июля (нов. ст.) 1870 г. Франция объявила войну Пруссии. Тютчевская оценка катастрофического положения Второй империи в первые же дни войны была оправдана дальнейшим ходом событий. 2 сентября 1870 г. Наполеон III с восьмидесятидвухтысячной армией сдался в плен при Седане, а 4 сентября в Париже уже было

образовано правительство Национальной обороны, провозгласившее республику.

...не лучше австрийцев... — Тютчев намекает на разгром австрийских войск во время австро-прусской войны 1866 г.

...императрица Евгения...вызывается взять на себя спасение Франции. — В 1870 г., в связи с отъездом Наполеона III в армию, его жена назначена была регентшей государства.

...Сто дней Наполеона III... — Тютчев сравнивает положение империи Наполеона III с кратковременным периодом («Сто дней») царствования Наполеона I после его возвращения с острова Эльбы и до изгнания на остров св. Елены.

...пробуждения легендарного Фридриха Барбароссы... — Согласно легенде, Фридрих Барбаросса не умер, а спит в пещере и выйдет из нее тогда, когда это потребуется его родине. В объединении Германии под гегемонией милитаристской Пруссии Тютчев усматривал серьезную угрозу для России и других славянских стран (ср. стихотворение «Два единства»).

63. Д. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Швейцарию. Год письма определяется по содержанию.

...подробности, которые ты у меня просила — о последних днях Д. Ф. Тютчева, умершего от болезни сердца 11 июля 1870 г. в Петербурге.

64. А. Ф. Аксаковой.

Адресовано в Москву.

...я совершенно был удовлетворен адресом... — 3 ноября 1870 г. была обнародована декларация канцлера Горчакова о расторжении 14 статьи Парижского трактата 1856 г., ограничивавшей права России на Черном море (см. стихотворения «Да, вы сдержали ваше слово» и «Черное море»). Адрес, поданный Московской городской думой Александру II, приветствуя декларацию, содержал пожелание, чтобы правительство довершило свои «благие начинания», даровав «простор мнению и печатному слову», «свободу церковную» и свободу совести. Составленный И. С. Аксаковым адрес был подписан ста десятью гласными Московской городской думы и 18 ноября отправлен в Петербург, но не был принят, так как в нем были усмотрены «стремления конституционные и революционные» (см. Тютчева А. Ф., При дворе двух императоров, вып. II, 1929, стр. 207—219; Пигарев К., Тютчев и проблемы внешней политики царской России — *ЛН*, вып. 19—21, 1935, стр. 212—215, 253—256).

...тогдашняя война... — Война Австрии с Пруссией.

Мы заявим на конференции... — Конференция для рассмотре-

ния спорных статей Парижского трактата была созвана главным образом по требованию Англии и Австрии. Заседания конференции открылись в Лондоне 17 января (нов. ст.) 1871 г.

65. А. Ф. Аксаковой.

Адресовано в Москву. Год письма определяется по содержанию.

Благодарю... за твою искреннюю заботу о ребенке. — Сын поэта и Е. А. Денисьевой Ф. Ф. Тютчев после смерти матери находился на попечении А. Ф. Аксаковой. Осенью 1870 г. он был помещен в Катковский лицей; на каникулы приезжал в Петербург и там заболел.

...я добился минутной передышки... — Поэт был болен подагрой.

...настоящей социальной войной.— Написанные за два месяца до провозглашения Парижской Коммуны, эти строки свидетельствуют об остроте и проницательности тютчевской оценки обстановки на Западе.

66. Е. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Москву. Дата устанавливается по содержанию: праздник пасхи в 1871 г. был 28 марта; следовательно, письмо написано 27-го.

...всей семье — Сушковых.

67. А. Ф. Аксаковой.

Адресовано в Москву. Год письма определяется по сообщению о смерти Н. В. Сушкова (умер в Москве 7 июля 1871 г.).

...моя жена пишет мне из Липецка... — Э. Ф. Тютчева сопровождала в Липецк свою дочь М. Ф. Бирилеву, которой врачи предписали лечение кумысом.

Первая часть процесса... — Тютчев имеет в виду процесс участников общества «Народная расправа», основанного в 1869 г. С. Г. Нечаевым (отсюда название — «Нечаевский процесс», хотя сам Нечаев, скрывшийся за границу, на нем отсутствовал). При всем интересе высказывания Тютчева очевидно, что поэт был склонен ошибочно видеть в «нечаевщине» характерное проявление самой сути революционного движения. В действительности же анархистские и провокационные методы борьбы, входившие в тактику «Народной расправы» и чуждые духу подлинных борцов за социализм, были осуждены Марксом и Энгельсом (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, ч. 2, стр. 594—629; т. 24, стр. 305—351; т. 26, стр. 208). Дело «нечаевцев» разбиралось Петербургской судебной палатой. Из восьмидесяти семи обвиняемых четверо были приговорены к каторжной работе, двое — к ссылке на поселение, двадцать семь — к тюремному заключению, остальные — оправданы, но большая часть их подверглась административной высылке.

... новые судебные установления... —Подразумеваются судебные

уставы 1864 г., изменившие прежний порядок судопроизводства в России. Введены были суд присяжных, несменяемость судей, гласность суда; обвиняемые получили право иметь защитников. Буржуазные по своей форме, новые уставы, однако, удержали ряд черт сословного дореформенного суда (например, сохранили особые суды для крестьян).

That is the question — цитата из «Гамлета» Шекспира (акт III, сцена 1).

68. Э. Ф. Тютчевой.

Адресовано в Овстуг. Год письма определяется по сообщению о смерти А. И. Карамзиной и конгрессе старо-католиков в Мюнхене.

...от имени съезда старо-католиков...— 18 июля (нов. ст.) 1870 г. Ватиканский собор, созванный Пием IX в целях восстановления поколебленного авторитета папской власти, провозгласил догмат «непогрешимости» папы. Группа немецких богословов заявила свой протест против этого догмата, в ответ на что папа отлучил от церкви инициаторов протеста. В сентябре 1871 г. на конгрессе в Мюнхене была образована независимая от Ватикана церковная организация «старо-католиков». Движение старо-католиков сначала получило довольно широкое распространение и было из политических соображений поддержано Бисмарком. Но попытки слияния старо-католиков с англиканской и православной церквами остались безрезультатными.

...наш приятель Осинин.— И. Т. Осинин присутствовал на конгрессе старо-католиков в Мюнхене, где был принят как делегат православной церкви, хотя официально таковым не являлся.

Отец Алексей — Преображенский. О нем идет речь в письме М. Ф. Бирилевой к Тютчеву от 9 августа 1867 г. (см. стр. 580).

...но я забываю, что это Варшавский вокзал. — В это время Тютчевы жили в Петербурге на Надеждинской улице, недалеко от Николаевского вокзала.

69. Д. Ф. Тютчевой.

Одна из последних собственноручных записок Тютчева. Датируется на основании записи в дневнике Э. Ф. Тютчевой от 31 марта 1873 г. о посещении в этот день больного поэта графиней А. М. Адлерберг.

70. А. Ф. Аксаковой.

Письмо продиктовано поэтом дочери, Д. Ф. Тютчевой. Датируется по упоминанию публикации записки Тютчева «О цензуре в России» (*РА*, 1873, вып. 4, столбцы 607—632), написанной в 1857 г.

...его превосходный русский перевод... — На самом деле перевод принадлежал не И. С. Аксакову, а Ф. И. Тимирязеву.

...*монолог Фигаро о свободе слова.* — См. комедию Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (акт V, сцена 3). В этом монологе Фигаро рассказывает о своих неудачных попытках заниматься литературой, — попытках, пресекавшихся цензурой. В Мадриде, иронизирует Фигаро, существует «система свободной продажи всего, чего угодно, даже — произведений печати», но при этом запрещено «касаться власти, религии, политики, морали и должностных лиц, обществ, пользующихся доверием, оперы, других спектаклей, никого, кто имеет отношение к чему-либо...». Новый закон о печати, смысл которого Тютчев в общем точно передает в своем письме, был обнародован в 1873 г. и предоставил административным органам право широкого вмешательства в дела повременных изданий.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

---

[1] Курсивом выделены страницы текста вступительной статьи и примечаний. Не включены в указатель мифологические и легендарные имена, а также имена персонажей литературных произведений. Имена авторов цитируемых работ, книгоиздателей и т. п. не раскрываются.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ЭПИГРАММЫ

ПЕРЕВОДЫ И ПЕРЕЛОЖЕНИЯ

ПИСЬМА

Федор Иванович
Тютчев

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПИСЬМА

Редактор М. Блинчевская
Художник Е. Ракузин
Художественный редактор И. Жихарев
Технический редактор Г. Каунина
Корректоры
М. Фридкина и Н. Манушина

*

Сдано в набор 7/VIII 1956 г.
Подписано к печати 1/II 1957 г.
Бумага 84 × 108¹/₃₂ — 19,6 печ. л. = 32,14
усл. печ. л.=24,53 *уч.-изд. л.+10 вкл.*=25,03.
Тираж 150 000 экз. Заказ № 650.
Цена 8 р. 65 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Н.-Басманная, 19.

*

Книжно-журнальная фабрика
г. Киев, ул. Воровского, 24

ОПЕЧАТКИ

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
31	7—6 сн.	воспоминания, М. 1890,	воспоминания, ч. I, М. 1890,
31	5—4 сн.	Гослитиздат, 1955, ч. I,	Гослитиздат, 1955,
551	13 св.	пропущенные	непропущенные
592	2 ст. 5 св.	поэт XVI в.	поэт XIV в.
612	1 ст. 28 св.	261	161

Ф. И. Тютчев. Стихотворения. Письма.

8 руб. 65 коп.